

ЗВЕЗДА

ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

1941

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

№ 2

171960.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Вс. Иванов.</i> Пархоменко	3
<i>Михаил Дудин.</i> 1. Письмо. 2. Землянка. 3. Олег Кочерыгин. 4. «Весь лагерь спит, песок прохладой дышит...». Стихи	39
<i>Алексей Недогонов.</i> Дорога. Стихи	42
<i>Александр Зонин.</i> Воспитание моряка. Роман	44
<i>Бор. Колоколов.</i> В голубых снегах	101
<i>Д. Грибакин.</i> Старшина Степан Дыбин. Рассказ	110
<i>Е. Лаганский.</i> «Личный интерес» интенданта Кузнецова	115
<i>Вадим Шефнер.</i> 1. Она гаджет. 2. Взморье. 3. Жара. Стихи	122
<i>Ольга Бергольц.</i> Путь в Петроград	123
<i>Л. Фридланд.</i> Месть. Рассказ	130
—	
<i>Юр. Юрьев.</i> Записки. Часть вторая. II. К. А. Варламов. III. В. Н. Давыдов. IV. Аполлонский, Дальский, Далматов	136
—	
<i>Адам Мицкевич.</i> Аккерманские степи. Перевод с польского <i>Сергея Советова</i>	159
—	
<i>И. Лежнев.</i> Мелеховщина	160

БИБЛИОГРАФИЯ

<i>Г. Блок.</i> А. Хилков. «Обнаженные корни»	171
<i>И. Гринберг.</i> Мих. Зоценко. «Хитрые и умные»	173
<i>Сергей Спасский.</i> Дм. Кедрин. «Свидетели»	174

ВОЛОГОДСКАЯ

Вологодская областная универсальная научная библиотека

www.booksite.ru

<i>Сергей Спасский.</i> Алексей Сурков. «Так мы росли»	176
<i>Сергей Спасский.</i> В. Азаров. «Город моей юности»	177
—	
<i>Р. Миллер-Будницкая.</i> Мартин Андерсен Нексе. «Конец пути» . .	178
—	
<i>Л. Гинзбург.</i> М. Ю. Лермонтов. «Стихотворения»	180
<i>А. Зонин.</i> Денис Давыдов. «Военные записки»	182
—	
<i>Б. Бухитаб.</i> Георгий Шенгели. «Техника стиха»	183
—	
<i>И. Эвентов.</i> Корней Чуковский. «Репин. Горький. Маяковский. Брюсов. Воспоминания»	185
<i>И. Березарк.</i> Георг Гоян. «Гликерия Федотова»	186
<i>Е. Карпинская.</i> Н. С. Ашукин, В. Н. Всеволодский-Гернгросс и Ю. В. Соболев. «Хрестоматия по истории русского театра XVIII — XIX веков»	187

Вс. Иванов

ПАРХОМЕНКО

ПЬЕСА В 4 ДЕЙСТВИЯХ И 13 КАРТИНАХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Пархоменко, Александр Яковлевич, начдив 14.	Колоколов, военспец.
Харитина Григорьевна, его жена.	Быков, Владимир Михалыч, офицер генерального штаба.
Ваня, их сын.	Вера Николаевна, его жена.
Ламычев, Терентий Саввич, донской казак.	Махно, Нестор.
Лиза, его дочь.	Барнацкий, польский генерал.
Гайворон, Семен Ефаныч, украинский крестьянин.	Зубов, из белогвардейцев.
Гайворон, Василь, его сын.	Портниха, Комендант тюрьмы в Ростове-на-Дону, Старичок в вицмундире, Часовой при тюрьме.
Нечай, луганский рабочий.	Деникинские офицеры, махновские «бабки» и рядовые махновцы, польские солдаты, анархисты.

Действие в 1918—1921 годах.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Лето 1918 года на берегу Дона. Бронепоезд, захваченный анархистами. Черные флаги. За бронепоездом видна степь, мост через Дон и над мостом — далекий красный флажок. Внутри бронепоезда несколько анархистов играют в карты. Слышны возгласы играющих: «Перебор... Дай еще... По банку... Наберись...»

Василь Гайворон (*отходит от амбразуры*). Тошно мне, хлопцы! Мне на Украину пора. Ой, как пора! Ведь месяц уже, как наш батальон решил: «Пора на Украину». И — пошли мы... Идем, идем, а оглянемся — разве что сто верст отошли. Фронта не пускают... А поля у нас, братцы, широкие, теплые...

Первый анархист. Ничего, твой поля и немец уберет!

Второй анархист. Какой губернии, попутчик?

Василь. Э Киевщины. А вы?

Второй анархист. Я — рядом. Пермской!

Хохот.

Василь. Вот и подсел к вам... Мне ж на Украину пора... Поездов иньших нема. Сказали, что вы на Украину пробьетесь. Ох! Подошли к Дону, к мосту, а тут — не пускают. Кто он такой, этот Ворошилов, шо, мост закрыл?

Вошел Начальник бронепоезда, длинноволосый мужчина в длинном френче, кавалерийских брюках, длинноногий, босой. Он хмуро слушает Василя.

Начальник. А кто посадил к нам этого дурака?

Хохот. Где-то близко разорвался снаряд. Вагон бронепоезда засыпало осколками, которые с лязгом пронесли по обшивке. Анархисты инстинктивно наклоняют головы, а Начальник присел.

К орудиям, смена! Отвечать по мосту, живо-с!

Первый анархист. А ты на нас не кричи! Мы — свободные личности. Я анархист с тысяча девятьсот шестого года. А ты кто такой, что приказываешь? Что ты с Махной целовался, так я этого Махну тоже по загривку бил.

Хохот

Начальник. А ты что орешь, сука? Ты что, в командиры баллотироваться хочешь?

Первый анархист. И буду баллотироваться, поскольку ты не выполняешь лозунгов! Обещал довести нас через Дон на Украину, а сам застрелял возле моста.

Второй анархист. А ты какой выкидываешь лозунг?

Начальник (примирительно). Ну, вот что, хлопцы! Кто хочет водки, иди к орудиям.

Два-три анархиста встали, пошли. Пошел и Василь.

А ты куда, попутчик?

Василь. А мне ж тошно, начальник! Я хоть посмотрю, как другие веселятся. (Ушел).

Начальник. Мост? Разве это затруднение? Что, нас не пропустят, свободных людей? Помню, у меня и Махно был такой случай. Идем мы мимо магазина. Он говорит: «Орел или решка? Кому орел — тот берет в свое бюро этот магазин». Мечем!..

Дверь снаружи открывается.

Часовой. Парламентер! Пропустить?

Начальник (смотрит в амбразуру). А чего он с тыла идет, а не от моста? (К анархистам) Я ж говорил, большевики нас пропустят.

Из-за вагона выходит Старичок-крестьянин, босой, с котомкой, седенький и сильно поношенный жизнью. Это Семен Ефаныч Гайворон. Он низко, но с достоинством кланяется и снимает с клюки белую рубаху, которую до того держал высоко, как флаг.

Семен Ефаныч. Василя моего здесь нет ли?

Начальник (изумленно). Кого?

Семен Ефаныч. Василя. Сына моего.

Начальник. Чего?

Семен Ефаныч. Села Причепы мы. Я сына ищу. Потерялся, видишь ты. Из Астрахани он писал, из Гурьева писал, а как перебрался в Царицын — так и молчит. Старуха моя больна, говорит: «Иди, Семен Ефаныч, в Царицын, отпуск ему попроси!» Прихожу. «Уже как с месяц, — говорят, — ушел из батальона».

Первый анархист. Как зовут сына-то?

Семен Ефаныч. Василь. Фамилия наша — Гайворон.

Второй анархист. Нету такого.

Третий анархист. Помер он! (Хочет).

Первый анархист (Третьему). Ты у меня подури еще! Врет он, дед.

Начальник. А флаг белый зачем выкинул, старик?

Семен Ефаныч. То не флаг, то рубаха. Я ее ношу, милый, ношу, как же! Солнце-то жжет, страсть, я ее и ношу. Ну, а как вижу, — люди бьются, я ее и на палку. Я это, мол, как это, нейтральная часть, иду мимо...

Начальник. Шпион!

Семен Ефаныч. Во-во, все так и говорят! Посмотрят мне в глаза и говорят: «Иди с богом, милый шпион, иди!»

Начальник. Дать ему сорок нагаек!

Первый анархист (угрюмо). Это ты напрасно про нагайки. Мы — свободные индивидуумы, а не городовые.

Входит Василь.

Начальник. Эй ты, попутчик! Тебе вместо покупки билета поручается: дать этому старику сорок нагаек!

Василь. Этому? (Бросается к старику). Это я ж, Василь! Отец!

Семен Ефаныч. Сынку? Василь! (Обнимаются). Сынку мой!

Василь. А я к тебе шел, отец, степью...

Семен Ефаныч. Да и я ж тоже степью к тебе шел, а фронты-то, они, будто канавы, перерыли всю степь.

Первый анархист (угирая слезы). Вот что значит свободный человек: он всегда друг друга отыщет!

Начальник. Высадить их к чортовой матери! Что они тут воду льют?

Василь (рассердившись). Кого высадить? Нет, уж раз я сел да еще с отцом, я доеду до Украины.

Начальник. Поедешь ты к богу!

Василь (*сердито*). Чего?

Часовой (*в дверях*). Парламентер со стороны моста!

Анархисты бросаются к амбразурам. Василь и его отец стоят в стороне.

Семен Ефаныч. Брось ты его, Василь! Меня уж человек полтора года обещало расстрелять, да пули дороги, что ли, не получается. (*На ухо*) Пора домой, Василь! Я достоверно знаю: немец скоро уйдет с Украины. Помещичью землю скоро будем делить.

Василь (*на ухо отцу*). Так я ж потому к тебе навстречу и шел.

Семен Ефаныч. Идем, сынку! У меня рубаха крепкая, будем подымать: мы нейтральные, мол!

В бронепоезд входит Александр Яковлевич Пархоменко. На плечах, поверх гимнастерки, накинута кожаная куртка. Он обмахивает лицо большим белым платком и, улыбаясь, оглядывается.

Пархоменко. Здравствуйте! Вот что, граждане! Почему вы тут между кадетами и нами застряли? Мы мост через Дон возобновляем, пробиваемся к Царицыну, а вы мешаете.

Начальник подходит к нему вплотную.

Убери руки! Анархии не признаю. Кто у вас тут начальник?

Начальник. Командир здесь я.

Пархоменко. Слушайте, командир, мне некогда! У меня другое поручение есть. Сдавайте оружие!

Начальник. Мы?

Пархоменко. Вы.

Начальник. А через мост в Донбасс не пропустите?

Пархоменко. Мы тебе не белые. Это они тебя почему-то через свой фронт пропустили...

Начальник наставил на Пархоменко револьвер.

Пархоменко скинул куртку и, смеясь, наставил на Начальника два револьвера, прислонившись к стенке купе. Под сиденье тем временем подлез какой-то анархист, схватил его за руки. Повалялся. Начальник хохочет. Семен Ефаныч и Василь неодобрительно качают головами.

Начальник. Нас на конвульсию не возьмешь!

Пархоменко связали, бросили на скамейку.

Начальник. Пропустите в Донбасс?

Пархоменко (*хохочет*). Попробуй, пробейся, раз ты к нам через белый фронт пробился!

Второй анархист. А этот супчик, по разговору судя, важный чин. За него контрибуцию можно востребовать.

Третий анархист. Мильон! И пять вагонов мануфактуры!

Пархоменко (*улыбаясь*). Большевики — не буржуи, контрибуции не платят.

Начальник. Пропустите?

Пархоменко. Ой, не шути с Ворошиловым, начальник, будет туго!

Начальник. А вот я покажу, как мне будет туго! (*В телефон*) Огонь по мосту! Огонь, я приказал. Что? А вот я вам покажу, как заело! (*Побежал. Пархоменко хохочет ему вслед. Он яростно обернулся*). Расстрелять! (*Убежал*).

Пархоменко. Да, ему трудно! Что это за командир, когда во время боя орудия не действуют? Ха-ха... Заело! Ха-ха! Да он что, из попов, что ли?

Второй анархист (*вставляя в винтовку обойму*). Ты свою агитацию брось!

Пархоменко. По волосам вижу, духовный. Дьякон?

Третий анархист. Фельдшер. Анархист. На каторге был.

Пархоменко. В монастыре он был, а не на каторге.

Василь. Поп, поп, ей-богу! Он на карачках возле этого ящика с пранатами стоял, молился, когда сказали, что Сталин в Царицын приехал и велит догнать бронепоезд.

Пархоменко. Так, стало быть, правда, что Сталин в Царицыне?

Василь. А как же? Они ж от того Сталина и удрали.

Пархоменко. Давно Сталин в Царицыне?

Второй анархист. А ты не радуешься, все равно тебе смерть! Вставай!

Пархоменко. Смерть так смерть. А только что ж вы меня, семьдесят человек, с пушками, с пулеметами и связанного на смерть ведете? Неужели анархисты так меня боятся?

Первый анархист. Мы? Свободные люди? А мы никого не боимся.

Пархоменко. Так что ж, значит агитации моей боитесь?

Первый анархист. Мы? Свободные люди? (*Разрезает ножом веревки*). Агитируй!

Третий анархист. Давай твою хитрость!

Достаёт кисет, крутит папироску, передает табак Пархоменко. Тот тоже крутит и закуривает.

Пархоменко. Некогда мне вас агитировать. Мне в степь надо идти, у меня другое поручение. Да вы и сами понимаете, что вы изменники и трусы. Вам и самим стыдно на себя смотреть.

Четвертый анархист. А с чего это нам стыдно?

Пархоменко. А с того, что бежали вы из Царицына. И от кого бежали? От рабочих. И пропускают вас через фронт. Кто? Кадеты. И куда? На Дон. Зачем? А затем, чтобы пробиться через Пятую революционную украинскую армию, попробовать ее разложить, чтобы попасть опять-таки к кадетам.

Пятый анархист. Мы на родину пробиваемся. На Донбасс.

Пархоменко. Заморочили вам голову. Донбасс у белых же! Мы оттуда пришли, донецкие рабочие и украинские крестьяне, и мы пробиваемся к Царицыну. Вот нас кадеты не пропускают, а вашего начальника пропустили. Отчего это так? Э, да что говорить! Порядочные люди теряют кровь, жизнь, чтобы побороть буржуазию, а вы в это время за мануфактуру душу продали. И — точка!

Молчание.

Второй анархист. Да ты кто такой, что всю анархию хочешь сконфузить?

Пархоменко. А я командир Красной Армии, коммунист Пархоменко.

Василь. Ха-ха-ха! Кто? Ты Пархоменко? Ха-ха-ха! Да ты знаешь, как этот Пархоменко известен по Украине? Он девятнадцати лет в девятьсот пятом году на Макаровом Яре вел восстание против помещика — и победил! А сила? Он кулаком так ударит, что никто, даже я, на ногах не устоит. А ты мне — Пархоменко? Тьфу!

Василь петушится и грудью напирает на Пархоменко.

Пархоменко (улыбаясь). Так, значит, тьфу?

Василь. Конечно, мне за такие слова на тебя тьфу!

Пархоменко. А, значит, тьфу?

Пархоменко, добродушно и громко смеясь, ударил вдруг Василя кулаком в плечо. Тот, тяжело охнув, отлетел в самый конец вагона и оттуда, сплевывая кровь, восторженно закричал.

Василь. Хлопцы! Я его узнал! Это Пархоменко!

Начальник (вбегает). Где там Пархоменко?

Пархоменко. А это он здесь, Пархоменко.

И Пархоменко, воспользовавшись коротким замешательством, выхватил гранату у близстоящего анархиста, подбежал к ящику с бомбами и приподнял над ним гранату. Все отшатнулись в страхе.

Вот что. Остается вам либо принять мой ультиматум, либо я брошу гранату в этот ящик с бомбами. Даю на соображение полминуты.

Начальник (ласково). Какие твои условия, товарищ Пархоменко?

Пархоменко. Всем заблудившимся солдатам от имени советской власти объявляю амнистию. Кто вписывается в Красную Армию?

Василь. А я вписываюсь.

Семен Ефаныч. И я, господин начальник. Я так вижу, что на Украину без вас не доехать.

Первый анархист. Прошу вписать и меня.

Начальник. А вот я тебе сейчас впишу!

Начальник поднимает револьвер. Пархоменко быстро выхватывает револьвер у стоящего рядом анархиста, выстрелил. Начальник упал. Пархоменко передал револьвер Гайворону.

Пархоменко. Запись продолжается. Еще кто желает?

К бронепоезду подходят Ламычев, Нечай и Лиза. Часовой повис у амбразуры и смотрит во внутрь бронепоезда.

Ламычев. Эй, часовой!

Часовой отмахивается.

Часовой!

Часовой (неохотно). Ну, чего тебе?

Ламычев. За Пархоменко беспокоимся. Если не выпустите, — мы батарею сюда переправили, — прямой наводкой буду бить.

Часовой. Да ты кто такой?

Ламычев (гордо). Начальник арбеггарда Пятой армии, заслуженный командир Ламычев. Чего Пархоменко держите?

Часовой. Да мы его не держим. Это он нас держит.

Выходит Пархоменко. За ним анархисты. Василь, Семен Ефаныч.

Пархоменко. А, Терентий Саввич! Принимай бронепоезд! Лиза, вам для лазаретов тут спирт есть. Нечай, достал?

Нечай. Достал, Александр Яковлевич. Боюсь, тесен в плечах.

Передает Пархоменко вещевой мешок. Пархоменко отходит в сторону, вынимает отуда

КАРТИНА ВТОРАЯ

мундир казачьего офицера, затем достает из кармана бумагу и пишет. В стороне разговаривают Семен Ефаныч и Василь, который смотрит на Лизу.

Василь. Гордая дивчина, отец, а?

Отец молчит.

А много, отец, помещицкой земли?

Семен Ефаныч. Ой много, сынку! Так много, что сердце замирает.

Василь. И без жены мне не управиться?

Семен Ефаныч. Где там управиться, сынку! Где там без жены!

Василь. И надо такую жену привезти в Причепы, чтобы наше село было самое красивое на Украине. Кажись, заболело у меня сердце, отец...

Пархоменко подходит к Ламычеву, держа в руках вещевой мешок. Он передает записку.

Пархоменко. Ну, нам пора дальше, Терентий Саввич! Прощай! *(Обнимает Ламычева)*. Передай записку Клименту Ефремычу. Я тут написал все, а на словах скажи, что подтвердилось: Сталин в Царицыне. Нечай, поехали! *(Он оглядывается, и взор его останавливается на Гайвороне)*. Гайворон!

Василь. Так точно, товарищ особуполномоченный!

Пархоменко. Хочешь со мной поехать?

Гайворон. Хочу.

Пархоменко. А куда я еду, знаешь?

Василь. Никак нет, товарищ особуполномоченный. Но подозреваю, что в важное место.

Пархоменко. Дать ему коня! До свиданья, товарищи, скоро увидимся!

Уходят в степь. Ламычев задумчиво смотрит им вслед.

Ламычев. Тяжелая, опасная дорога! Если сравнить, так перед такой дорогой бронепоезд одному взять — пустяковое дело, Лиза.

Лиза. Какая дорога, отец? Куда они?

Ламычев. Через кадетский фронт они пойдут. К Царицыну. К Сталину, с письмом от всей Пятой украинской армии.

Лиза. До свиданья, товарищи, счастливого пути-и!

Василь *(издалека)*. До свиданья, дивчина-а!

Окраина Царицына. Дождь. Тускло светит фонарь у аптеки, еле-еле освещая вывеску «Третья советская царицынская аптека». Тишина. Входят три старичка-рабочих — красногвардейский патруль.

Первый старичок. Ох, ноги ноют! У меня всегда в дождь ноги ноют. Хотя в лето, а все равно ноют. *(Всматривается)*. Никак, прабитель? Стой!

Второй старичок. Офицерье шмыгает. Их Сталин сильно прижал, им дышать теперь трудно, а то распустили было крылья. Мы, дескать, в Царицыне — так царицыны сыны. Сукины вы сыны, хоть и царицыны!

Третий старичок. Как сынок-то твой на фронте, Емельян Егорыч?

Второй старичок. Велел ему держаться. Держитесь, мол, а мы, старики, уж город покараулим.

Первый старичок. Да вот ноги ноют и ноют! Кабы не ноги, я бы сам на фронт.

Комиссар *(входит)*. Емельян Егорыч?

Второй старичок. Здесь!

Комиссар. Емельян Егорыч, тут в одежде казачьего офицера придет товарищ. Пропусти его! Он к Сталину через кадетский фронт проехал. Революционер Пархоменко.

Второй старичок. С Луганска? Слышал. Да и видал. Пропущу.

Уходят.

С чемоданом в руке, подняв воротник, осторожно входит Быков. За ним его жена, Вера Николаевна. Они подходят к аптеке.

Быков. Стучать равномерно три раза. Верочка!

Вера Николаевна. Да. Три раза. *(Стучит. Молчание)*. Ну, что я говорила? Конечно же, он все знает. *(Стучит)*.

Быков *(подходит, стучит три раза)*. Федя, Федя! Это я, Быков.

Молчание.

А все это твой поклонник виноват, полячишка Барнацкий. Гонор такой же длинный, как и нос, лезет, суетится, и вот — пожалуйста! *(Стучит)*. Поручик, откройте, это я, чорт вас побери!

Вера Николаевна. Что ты кричишь, Быков? Ты где? Барнацкий хоть тем хорош, что не попал в Чека.

Быков. Ну, и меня, милая, трудно взять! (Стучит).

В окне аптеки показывается свет. Видна фигура Аптекаря в халате, со свечкой. Аптекарь не спеша влазит на подоконник и открывает форточку.

Аптекарь. Граждане, спирт из аптеки ни по каким рецептам не отпускается.

Быков. Федя! Арестовали отца жены. Барнацкий вырвался с трудом.

Аптекарь. Милостивый государь. Я вас не знаю и не знал.

Форточка захлопнулась. Огонь в аптеке погас.

Быков. Да-а-с! Что же поделаешь, придется, как ни грустно, разбитым возвращаться в Москву.

Быков безмолвно берет чемодан, поднимает воротник пальто, нахлобучивает шляпу, идет. Едва супруги отошли от фонаря, как сзади на них кидаются грабители. Полузаглушенный крик Быкова. Возня.

Первый грабитель. Ах, ты кушаться? Митька, финкой его!

Быков. Спасите-е!

Второй грабитель. Господи, благослови-и! (Замахивается ножом).

Из переулка, в сопровождении Нечая и Гайворона, выезжает верхом Пархоменко. На плечи его накинут дождевик.

Пархоменко. Грабить? В Царицыне? А ну, подними лапки!

Гайворон и Нечай бросаются к грабителям.

Второй грабитель бьет ножом Нечая.

Нечай. А-а-а!

Пархоменко (выхватывая револьвер). А ну, подними лапки, пока жив!

Грабители нехотя, медленно отходят от Быковых и поднимают руки.

Первый грабитель (Второму). Митька, переворот, что ли?

Второй грабитель. А кто их разберет!

От резкого движения намокший и тяжелый от дождя плащ свалился с плеч Пархоменко. Во всю ширину их сверкают погоны казачьего офицера. Быков изумленно приглядывается, смотрит на жену. Та пожимает плечами. Пархоменко тем временем прыгнул с коня, смотрит на руку Нечая.

Пархоменко. Пустяки, руку оцарапал, гадюка! Сейчас перевяжем.

Он идет к аптеке и стучит, случайно конечно, три раза. Быков смотрит на жену. Та пожимает плечами.

Быков. Наш? (К Пархоменко, однако же не выходя из тьмы) Не стучите только, коллега, три раза!

Пархоменко (не оборачиваясь). А что?

Быков. Тогда он не откроет. И вообще, коллега, здесь, в Царицыне, теперь стучать тщетно.

Пархоменко (кое-что понял. Не оборачиваясь, осторожно). А что?

Быков. Десять дней уже здесь работает Сталин.

Пархоменко. А где он, кстати, Сталин?

Быков. На вокзале... И конечно, если вам поручено... увидеть его...

Пархоменко (прислушиваясь и не оборачиваясь, чтобы не спугнуть). Да, мне поручено увидеть его. А что?

Вера Николаевна (дергая мужа и всматриваясь в Пархоменко, который стоит к ним спиной и тихо стучит в аптеку). Быков, осторожно!

Быков (отталкивая жену). Эка беда, если одной офицерской душой будет меньше! Казалось бы, можно попробовать? Но я вам обязан жизнью, коллега, и буду помнить это вечно. Сегодня этого нельзя.

Пархоменко. А что?

Вере Николаевне кажется подозрительным голос Пархоменко. Она опять дергает мужа за рукав и шепчет.

Вера Николаевна. Это комиссар.

Быков молчит. Пауза. Пархоменко одной рукой держит руку Нечая, который присел на скамейку, другой стучит в аптеку. Гайворон, охранявший грабителей, понял, что надо задержать Быковых. Он осторожно приближается к ним, завязывая разговор и наблюдая за движениями Пархоменко.

Василь (обходя Быкова). А разрешите спросить, гражданин, как вы думаете, способен человек погибнуть не только от ножа грабителя, но и от внезапной любви?

Быков (оглядываясь беспокойно). Способен.

Пархоменко. А что происходит на вокзале, коллега?

Быков молчит.

Василь (обходя). Я тоже думаю, способен погибнуть. Ну, а если он хочет жениться?

Быков. А тогда тем более! Например, слушайте следующее...

Пархоменко резко поворачивается к нему, а Гайворон кидается на него. Быков отскочил, ударил чемоданом в фонарь. Звон стекла. Фонарь гаснет. Крики, свист, топот в темноте.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Москва. Тверской бульвар, решетка, скамейки, круглые тумбы, заклеенные афишами, воззваниями и прокламациями. Через дорогу виден дом, тоже весь в плакатах, вывеска, у которой можно прочесть только последние слова: «...стов-индивидуалистов». По ту сторону бульвара — серый дом. Это Управление по снабжению фронтов. В Страстном монастыре тихо звонят колокола. На скамейке, опустив голову, сидит мрачный Барнацкий.

Барнацкий. Ужасно, ужасно, отвратительно!

К нему подходит Семен Ефаныч. Он весь сияет. В руках у него сверток.

Семен Ефаныч. Пархоменку не видали?

Барнацкий поднимает на него голову.

Пархоменку? Из Царицына приехал. Такой высокий, бравоый мужчина!

Барнацкий. Нет, не знаю.

Семен Ефаныч. Красиво все-таки! Москва и есть Москва! Хотя ей и далеко до нашего Киева. У нас в Киево-Печерской лавре одних мощей, слава тебе господи, полторы тысячи! Но купцов в Москве больше. Да и дворян тоже. Правда, спасибо Миколу-угоднику, мы их много перебили...

Барнацкий. Вам чего, собственно, от меня нужно?

Семен Ефаныч. Василя моего здесь не видали?

Барнацкий. Какого Василя?

Семен Ефаныч. А сына моего. Он с Пархоменкой приехал вместе. Да и меня в одной команде привез. Нас сорок человек, команды-то! Поезда повезем, со снарядами, в Царицын.

Барнацкий. Зачем тебе, старик, снаряды?

Семен Ефаныч. А мы на Украину пробиваемся, милай, как же! Пробираемся. Ему, видишь, нашему Пархоменку, выдал сам Сталин мандат. «Если, — говорит, — хочешь пробиться на Украину, так вези снаряды из Москвы! И вот тебе мандат, и вот тебе письмо аж к самому Ленину, и вот тебе команда в сорок человек». Видишь, как! Нам бы в Причепы, а мы в Москву. А тут еще — любовь...

Барнацкий. Какая любовь?

Семен Ефаныч. Сын у меня полюбил. Сразу. А тут, на беду, отец-то у нее, у Лизы, прославился и за бой часы получил от Сталина. Награду! И — загордел! Ка-ак загордел! Я уже против его гордо-

сти здесь в трех монастырях молебны служил: и Прову-великомученику, и Григорию-богослову, и...

Барнацкий закурил.

Папиросочки нету?

Барнацкий. Нет.

Семен Ефаныч. Ну, тогда я хоть дым понюхаю. *(Подсел ближе. Барнацкий плюнул и ушел)*. Хе-хе-хе! Католик! Я его по дыму понял. Не нравится пану православная вера. Ишь, как далеко плюет, шагов на семь, не меньше. Василь!

Входит Василь.

Василь *(сидится с отцом, берет узелок, ест)*. Ух, тяжело, отец. Гоняют Александра Яковлевича уж! То от одного чина, то к другому чину... А снарядов нет и нет!

Семен Ефаныч *(грустно)*. Нисколько нет?

Василь. Нисколько! *(Показывает на дом)*. Мы уж к этим украинским анархистам-индивидуалистам с Нечаем заходили. Как так? Партия, и чтобы у них оружия не было?

Семен Ефаныч. Да здешние анархисты смиренные, сынок!

Василь. Смирные, что их в перечницу сунули! Вот я тебя просил, отец: сходи в Андрониковский монастырь!

Семен Ефаныч. Был я, сынок.

Василь. Ну, как у них?

Семен Ефаныч. Хорошие они, монахи! Мне их жалко. Но только я говорю им: «Нам, на Причепях, без пулеметов нельзя. Скот пасти — как без пулемета? На рыбалку — как без пулемета? Мы бы вам продовольствие за пулемет дали».

Василь. А они?

Семен Ефаныч. А они спрашивают: «Маслом или салом?» — «Маслом, мол». А они спрашивают: «А гранат вам не требуется?»

Василь. Требуются! Отец! Пойдем сюда, в Отдел снабжения. Мне здесь приказано Быкова дежурить. Мы позволим Александру Яковлевичу, скажем насчет монастыря, а потом пойдем, отец, опять к этим анархистам.

Семен Ефаныч. Да они ж смиренные!

Василь. Какой ни на есть смиренный человек, но раз он рычит на нас, должно быть у него оружие. *(Уходит)*.

Входят Вера Николаевна и Барнацкий. Они поспешно подходят к скамейке.

Вера Николаевна. Ни Быкова, ни Аршинова, ни Махно...

Барнацкий. Они сейчас придут. Разрешите мне сказать перед отъездом несколько прощальных слов вам, Вера Николаевна.

Вера Николаевна. Не нужно говорить о любви, Барнацкий.

Барнацкий. Какое у вас красивое имя: Вера!

Вера Николаевна. Я не могу сейчас думать о любви, Барнацкий, и не уверена, что и вы так уж постоянно о ней думаете. Вы — славянин, поляк, горячий и пылкий, увлекающийся одной идеей, в данное время — идеей освобождения родины. Вы — друг Пилсудского. Есть ли у вас время думать о любви? Будем вместе думать об идее! У меня есть тоже родина, и я тоже славянка.

Барнацкий. Однако...

Вера Николаевна. Прекратим этот разговор, Барнацкий!

Входит поспешно Быков. Он садится на скамейку.

Быков. У-у, запарился! Приехал какой-то человек с царицынского фронта и гоняется за мной. Я — в столовую, он — за мной. Я — на склады, он — за мной. Я, извините, — умываться, а он — в коридоре.

Вера Николаевна. Что ему нужно?

Быков. Снаряды, снаряды, снаряды! А я ему, через секретаря, конечно, — учреждения, учреждения, учреждения! Хе-хе-хе! Но он настойчив, просто даже любопытно его посмотреть.

Вера Николаевна. Кто он такой?

Быков. Один из помощников Ворошилова. Я его в глаза не видел. Ну-с, пан Барнацкий, давайте поскорее! Видели вы Махно?

Барнацкий. Да.

Быков. Сговорились?

Барнацкий. Нет. Он пошел совещаться со своими украинскими анархистами.

Быков. В этот дом?

Барнацкий. Не знаю.

Быков. Этот дом с минуты на минуту займут чекисты. Вообще в городе неспокойно.

Вера Николаевна. Я начинаю забывать, когда в нем было спокойно.

Быков. Махно сказал, что скоро вернется?

Барнацкий. Да. Он торопится вернуться на Украину. (Встал). Разрешите мне уйти, полковник? Все, что вы прикажете, я сделаю для Махно. Но мне противно его видеть. Он ужасен. А кроме того, я не верю в его силу.

Быков. Напрасно! Но, раз не верите, идите! Верочка, а ты понаблюдай! Хотя в Москве никто Махно не знает, а все же...

Барнацкий. Кстати, Махно просил вас передать, что адъютанты Пархоменко приходили в Дом анархистов. Может быть, они действительно хотят на Украину, а может быть, и другое. Словом, Махно говорит, что это мешает работе его комиссии.

Быков. Фамилии их?

Барнацкий. Гайворон и Нечай.

Быков. Я уберу их.

Вера Николаевна. Идемте, Барнацкий!

Ушли.

Быков прислонился к дереву и напевает: «Любви все возрасты покорны...» Входит Пархоменко, сбоку.

Пархоменко. Мягкий у вас голос! Знакомый!

Быков вздрогнул и ошеломленно поглядел на Пархоменко. Вспомнились мгновенно улица, аптека, дождь, фонарь, грабители и всадник в казачьем мундире. «Нет, не он, не может быть, чудилось», — подумал Быков и мгновенно пришел в себя.

Быков. Кто вы такой?

Пархоменко. Пархоменко.

Быков. Это вы — особоуполномоченный царицынского фронта с письмом Сталина к Ленину?

Пархоменко. А это вы — заведующий снабжением фронтов, скрывающийся от меня?

Быков. Да, я.

Короткое молчание.

Я! Мне стыдно, и я скрывался. Да! При современном состоянии военной промышленности в России требования вашего фронта превышают любую норму.

Пархоменко. Они и должны превышать.

Быков. Почему это?

Пархоменко. А потому это, что не может существовать никакой нормы снабжения для фронта, спасающего всю страну.

Быков. Каждый фронт спасает страну.

Пархоменко. Следовательно...

Быков. Мы не можем удовлетворить

ваше требование. Недели через две, через три... А самолеты у вас есть?

Пархоменко. Так, вроде спичечных коробок.

Быков. Но в случае окружения города вы сможете вывезти командование?

Пархоменко. Что? Так говорить — подлость!

Быков. Я так и знал, что вы на меня закричите. Мне, сударь, надоела ваша истерика. Бегают по учреждениям, кричат, честных работников называют «саботажниками», а что творится под носом — не видят.

Пархоменко. А что у меня творится под носом?

Быков. Да вот хоть, к примеру, возьмем ваших адъютантов! Зачем им ходить в Дом украинских анархистов и выспрашивать, как попасть на Украину? Где, так сказать, достать визы. Что они, не верят, что вы им достанете визу на Украину? И эти люди, Гайворон и Нечай, близки вам, кажется?

Пархоменко. Гайворон и Нечай у анархистов? Визы на Украину?

Быков. Да-с! Да ведь всех этих анархистов-индивидуалистов с минуты на минуту в Чека посадят! Предупредите этих Гайворона и Нечая: их тоже могут посадить. А там хлопочи! Ну вот видите, нос у вас не так уж длинен, Пархоменко, а все-таки вы многое не видите.

Пархоменко (*растерявшись на секунду*). Как же так? Как же? (*Решительно*) Не верю! Не верю!

Быков (*делает под козырек*). Так, значит, недельки через две заходите! Надеюсь, ситуация со снарядами изменится.

Быков идет. Навстречу ему Гайворон, Семен Ефаныч и его сын Василь, Нечай.

Василь. Александр Яковлевич, а мы всех телефонных барышень замучили, вас искали!

Быков ушел. Василь садится по одну сторону Пархоменко, Нечай — по другую, Семен Ефаныч — напротив. Они говорят поперебивку, стараясь утешить начальника, видимо загрузившего.

Семен Ефаныч. Мы тут стали рассуждать!

Нечай. Начальник достает для Царькова оружие!

Семен Ефаныч. А мы что ж, спим для народа?

Василь. Давай нюхать!

Нечай. Пошли в Клуб анархистов!

Семен Ефаныч. Нет, говорят, мы безоружные!

Василь. Только на дворе склад дров, а в дровах — пулеметы!

Семен Ефаныч. И еще есть в Андрониковском монастыре горная батарея спрятана. Шо, нам батарея на фронте помешает?

Василь. Только, Александр Яковлевич, чекистам не надо говорить. Дзержинскому — боже избави! Отберет и — себе!

Пархоменко (*счастливо смеясь, кладет им руки на плечи*). Хорошие вы, мои друзья! Слушайте! Можно разрушить дома, заводы, целые города уничтожить — и все это опять-таки можно быстро выстроить. И разрушения эти не страшны. Но вот смотрю я, как нам сопротивляется враг, и вижу, что он будет стремиться разрушить в человеке самое важное — доверие друг к другу. И чем ожесточеннее будет борьба, тем сильнее будут враги разрушать в нас это доверие. Клевету, сплетню, воровство, убийство — все подлости будут делать они сами, но валить на беззащитных, простых и доверчивых людей. И, может быть, вам, друзья, когда-нибудь покажется, что вы уже совсем утратили доверие к людям. Но вы яростно гоните от себя эти мысли! Гоните самыми гневными словами! Человеку надо верить! Это великое и благородное существо — человек! Ему можно простить ошибки, какие-то неразумные слова, какие-то, может быть иногда и нехорошие, поступки и ему надо непрестанно, неуклонно верить и уважать его. У-у-у, как надо уважать человека! Выше всего на свете, чище всего на свете, яростней всего на свете! И тогда вы победите, друзья! Вместо соломенных хат — в селах у вас будут большие кирпичные дома. Вместо жировика и светильни — вы зажжете электричество. И вместо сохи — по вашим нивам машины потащат плуги, и вокруг вас вырастут горы зерна, и всюду будут бегать и веселиться здоровые и сильные дети, и весь мир будет трепетать от уважения и любви к вам.

Василь. Весь мир, Александр Яковлевич?

Пархоменко. Весь мир, Василь.

Василь (*робко*). И она будет трепетать?

Пархоменко (*улыбаясь*). Лиза? Милый мой Василь! Она уже давно трепещет, только ты сам трепещешь и потому не за-

мечаешь. *(Помолчав)* Нечай, пойди в Отдел снабжения, подойди к первому попавшемуся телефону и позвони в секретариат Ленина. Вызови секретаря. И скажи: Пархоменко ждет в Отделе снабжения. И — точка. Верю. *(Встал)*. Верю!

Нечай. Слушаю-с, товарищ начальник. *(Ушел)*.

Пархоменко. Завез я письмо Сталина. И как увидел дверь кабинета, и за нею — Ленин, такая меня охватила робость, что, думаю, ни слова мне не сказать, погублю лучше царицынцев, пойду, сам попытаюсь достать снаряды. И пошел. О Гайворон! Много мы с тобой ходили под пулеметами, через окопы, через фронты, через пожары, но труднее всего перешагнуть через этот часток. Пойдем! *(Встал. Идут)*.

Василь *(робко)*. Александр Яковлевич! А если она все-таки не трепещет?

Пархоменко. А ты думаешь, любовь легко завоевать? Вот я, например, за своей женой шесть лет ухаживал. Зато уж так полюбили, что всегда встречаемся, будто нам все еще по семнадцати лет.

Нечай *(распахнул окно, кричит)*. Александр Яковлевич! Я по телефону! *(Захлопнул окно)*.

Пархоменко. Что это с Нечаем? Иди! *(Идут к дому)*. Так вот, вчера мы встретились с женой, и Ваня, старший сын, бежит по коридору, кричит: «Мама, смотри, отец-то какой стал высокий!»

Нечай *(выбегает на порог дома)*. Александр Яковлевич! Я — по телефону, а мне: «Мы его уже три часа по городу разыскиваем».

Пархоменко. Кто?

Нечай *(чрезвычайно взволнованный)*. И он берет трубку. Он стоит у трубки, и я его дыхание слышу. Товарищи, понимаете, я его дыхание слышу! Он говорит: «Позовите немедленно Пархоменку». И я слышу, он дышит у телефона. И так мне стало сладко на душе, что я говорю ему: «Слушаю-с, Владимир Ильич».

Пархоменко. Ленин?

Нечай. Ленин стоит у телефона!

Пархоменко. Иду. Ух, боязно! Как я ему все скажу? Но я скажу. Я скажу... *(Уходит)*.

К скамейке подходят Быков и Вера Николаевна. Он смотрит на часы, закуривает.

Быков. Ну, что же он запаздывает? Обеденный перерыв кончается. Мне пора

на службу. Верочка, пойдешь скажи секретарше, что я задержусь здесь на десять минут. Нужно решить это дело сегодня же.

Вера Николаевна *(идет)*. Хорошо, я скажу.

Быков. Верочка, а ты в Киев не хочешь съездить?

Вера Николаевна. Я? Нет.

Быков. Нам необходима связь. Впрочем, как хочешь. Это в порядке размышлений.

Вера Николаевна ушла. Быков сидит и чертит по земле палочкой. К будке подошел расклейщик афиш — Махно, поставил ведро, обмокнул кисть и не спеша стал наклеивать на столб афишу. Быков не смотрит на него. Подошел Аршинов, оглянулся, подсел.

Я не могу торчать на бульваре целый день! Аршинов, где Махно?

Махно *(поворачивается)*. А шо вы ко мне пристаєте, Быков?

Быков *(встал)*. Здравствуйте, Нестор Иванович!

Махно. Быков, а вы за границей бывали?

Быков. Бывал.

Махно. А в Нью-Йорке бывали?

Быков. Случалось.

Махно. И в Лондоне?

Быков. Живал. Зачем вам это?

Махно. Лондон — большой город?

Быков. Миллионов на восемь. Зачем вам это, Нестор?

Махно *(ухмыляясь)*. Вот бы хорошо зажечь!

Быков *(сухо)*. Бросьте, Нестор! Этим вы цену себе не поднимете. В Нью-Йорке вас посадили бы как гангстера на электрический стул, в Лондоне били бы плетью как хулигана, а в Париже бы гильотинировали, и только в России... в России с вами почтительно разговаривает офицер генерального штаба Быков, предки которого служили еще при дворе Алексея Михайловича.

Махно *(садится на скамейку)*. Шо мне цену поднимать? Мне цена давно поднята. Меня все украинские собственники поддерживают. Они все за анархию. Я им разрешаю то, что вы никогда не разрешите.

Быков. Кто «мы»?

Махно. А коммунисты!

Быков. Ну, какой же я коммунист, Нестор Иванович?

Махно. Так шо ж вы торгуетесь? Шо ж вы мне оружие не даете и деньги?

Быков. Оружие я вам дам через Барнацкого, через Польшу.

Махно. Какую Польшу?

Быков. Франция тотчас же после войны создаст Польшу.

Махно (*пренебрежительно*). Э-э! А сейчас что вы мне даете?

Аршинов. Коротко: сколько вы прибавите, Быков?

Быков. Оружия вам пока достаточно. Что же касается денег, то вы очень требовательны. Я боюсь сказать — жадны.

Махно. Ха-а! Я жаден? Мне золото нужно? Да оно мне нужно как залог, чтоб я знал, шо с деловыми людьми разговариваю и шо я тоже кое-что сделаю. Шо это за договор без финансов?

Быков (*сердито*). Нестор Иваныч!

Аршинов. А что вы кричите, Быков, на абсолютно свободную индивидуальность?

Махно. Он кричит на меня! Он думает, что я не знаю, кто дал ему деньги и оружие! Вот войду и сам буду с тем французом говорить!

Быков. Мне, господа, скучно смотреть на вас. Что такое? Мы сообщаем вам пункты, куда будет направлен удар Красной Армии, когда она пойдет освобождать Украину от немцев. Вы имеееее возмож-

ность, таким образом, прийти в эти пункты заранее, когда немцы только что начнут отступление, и прийти спасителями. А вы торгуетесь!

Подходит Вера Николаевна. Голос ее срывается.

Вера Николаевна. Быков, там...

Быков (*остро взглянул в ее лицо, повернулся к Махно*). Мы согласны на ваши условия, Нестор Иваныч. До свиданья! Но не входите в Дом анархистов!

Махно. А шо я дурак к ним лезть? Я в Замоскворечьи поселился. (*Посмотрел на Веру Николаевну*). Это твоя баба? Острая! (*Ушел*).

Быков. Что произошло, Верочка?

Вера Николаевна. Приказано удовлетворить все требования царицынского фронта.

Быков. Кто приказал? Не подчинюсь!

Вера Николаевна. Кроме того, секретарь твой просил передать: позвони, что ты снят с работы.

Быков. Я? Я снят с работы? Но я приглашен Троцким. Я обжалую. Кем я снят? По чьему распоряжению?

Вера Николаевна. По личному распоряжению председателя Совнаркома Ленина.

Быков (*с ненавистью*). Пархоменко-с!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Терраса примыкает к большому залу с колоннами и спускается в старинный сад. Вдали — большой город. На террасе — Пархоменко и Нечай.

Пархоменко. А по-моему, Нечай, самое слабое место у деникинцев — Стрешневка. Туда надо бить.

Нечай. Быков посылал разведчиков. Говорит, что Стрешневка сильно укреплена.

Пархоменко. Быков, Быков! Пять дней, как приехал, а все уже запутал, всех перепугал, перессорил. А попробуй протестовать — сейчас его «приемный отец» — Троцкий — вой поднимет: Пархоменко — шовинист. Быков! «У меня, — кричит, — директивы!» Эх, Сталина бы сюда на южный фронт. Он бы сразу разбил все эти «директивы»... Слушай, Ламычев свадьбу устраивает, и никто не удивится, если

кони понесут и вынесут невесту, предположим, к... деникинским позициям. Лиза уже раз исполняла такое поручение. Пойдем в Особый отдел!

Ушли. Доносится песня. Входят Вера Николаевна в крестьянском платье и Быков.

Быков (*держит жену за руку*). Сюда, сюда, Верочка! Как я по тебе соскучился! Трудно там, да? А ты соскучилась по мне?

Вера Николаевна. Махно на тебя сердится, Быков. Он требует, чтоб ты сдал город ему, а не Деникину.

Быков. Голубка, я с удовольствием! Я — за использование крестьянской стихии, чтобы стереть коммунистов. Но вот французы не верят в силу Махно.

Вера Николаевна. Что, мы не доказали нашей силы?

Быков. Конечно, конечно, доказали! И вообще мое положение как начальника штаба фронта неважно. Пархоменко,

командующий фронтом, относится ко мне отрицательно.

Вера Николаевна. Кстати, о Пархоменко. Мы его сегодня уберем. Мы приехали, чтобы поднять восстание в Шестом полку и захватить город.

Быков. Однако же, Верочка, я должен сдать город Деникину.

Вера Николаевна. Да? Сенченко!

Входит Солдат с палочкой.

Сенченко, вот наш будущий начальник штаба! Он заверяет тебя: как только ты уберешь Пархоменко, ты будешь назначен командиром Шестого полка.

Солдат с палочкой. Убрать — уберем. А командовать — глоткой я слаб, хозяйка. Мне бы кашеваром или казначеем!

Слышна приближающаяся песня.

Быков. Это Ламычев справляет свадьбу. Целое село привезли. И вообще хохлы удивительно беспечный народ. Решено сдать город, а к Пархоменко едет его семья: жена, двое детей...

Вера Николаевна идет в сад. Быков за ней.

Позволь, однако, Верочка, заметить тебе... (Ушли).

Песня девушек. Входят из сада в сопровождении друзей: Василь — в костюме молодого и Лиза — невестой. Портниха выходит навстречу из дверей, держа в руках платье.

Портниха. Лизавета Терентьевна, приказано Александром Яковлевичем одеть вас побогаче. Пожалуйста, Лизавета Терентьевна!

Лиза. Ну, какая я Лизавета да еще Терентьевна? Я — Лиза.

Она идет за Портнихой. Василь идет в противоположные двери.

Василь (задержавшись на пороге). Лиза!

Лиза (останавливаясь). Василь?

Бегут друг к другу.

А мне что-то показалось, что ты сегодня на меня холодно смотришь.

Василь. Нет, ты чем-то недовольна!

Лиза. Василь, ты меня любишь?

Василь. Это ты меня разлюбила!

Лиза. Может быть, ты меня успеешь поцеловать?

Василь (целует). Не разлюбила?

Лиза. На всю жизнь! А ты не разлюбишь?

Василь. Как можно тебя разлюбить, Лиза?

Из сада доносятся голоса. Лиза и Василь скрылись. Входят, с небольшими мешками в руках, Ламычев и Семен Ефаныч. Они становятся у стола и начинают выкладывать закуски, ревниво поглядывая друг на друга.

Семен Ефаныч. С нашей стороны — колбаса.

Терентий Саввич. А масло у вас есть?

Семен Ефаныч. С нашей стороны — гусь.

Терентий Саввич. А мы его поросенком!

Издали доносится песня девушек.

Семен Ефаныч. Со стороны нашей деревни — песню привезли. Вот!

Терентий Саввич. А какая песня без водки? (Достаёт бутылку). И вообще... (Достаёт большие серебряные часы и с треском их раскрывает). Ты со мной не тягайся, Семен Ефаныч! Я не люблю гордых родственников. Мне часы товарищ Сталин за боевые заслуги подарил, я и то не горжусь. У нас, на Дону, такому человеку, как я, надо бы свадьбу своей дочери справлять недели три, а я на три дня согласился.

Входит Быков.

Быков (собирая бумаги). Что слышно на фронте?

Ламычев. Деникинцы два раза парламентаров присылали. Мы их всё отгоняли, а теперь Пархоменко велел их принять.

Быков. Принять?

Ламычев. Принять. Расстрелять он их хочет, что ли, не знаю.

Песня приближается. Уже можно разобрать слова.

Быков. Ну, я не буду мешать свадьбе! (Уходит).

Хор (выходит и поет):

Ой, зацвела калинонька з ожиною,
Прихав Василь з дружиною,
Прихав над ворота, сканявся,
Батенкови в ниженьки вклонявся...

Ламычев. Хорошо поют, а дочь все-таки отдавать жалко! (Наливает водки). Надо огорченье залить!

Семен Ефаныч. Так я ж за сына тоже огорчаюсь. (Пьет).

Пархоменко (входит). Где невеста?

Ламычев указывает на дверь: рот его забит закуской. Вдали еще один оружейный выстрел.

Семен Ефаныч. Опять палат!

Ламычев. То мы последнюю перед перемирьем! (*Передает Пархоменко бумагу*). Разведчики доносят. Похоже, брешут.

Пархоменко. То-то что брешут! А правда где?

Входят Лиза. Она переделалась в платье со шлейфом, фату.

Семен Ефаныч (*восторженно*). Просто купчиха!

Пархоменко (*Старичку-эксперту в вицмундире, указывая на невесту*). Ну как, все в порядке?

Старичок в вицмундире. Ботинки надо более высокие, в ручках оза должна держать шелковый платок, духов— беспощадно, на плечи— шубу.

Пархоменко. Соболью?

Старичок в вицмундире. Соболью! Непременно соболью, Александр Яковлевич.

Пархоменко (*Ламычеву*). Достать соболью шубу!

Ламычев. Откуда у меня средства, Александр Яковлевич?

Лиза. И зачем мне шубу? Мне и эти тряпки не нравятся. Я хочу просто. А то фата, цветы! Тьфу! Рядом— война, голод, лазарет вон виден, раненые, а меня по городу в тройке хотят везти. Я не хочу!

Пархоменко (*посмеиваясь*). Горяча невеста! (*Старичку в вицмундире*) Сколько за такой невестой может быть приданого?

Старичок в вицмундире (*осматривая Лизу*). Приданого? Три пятиэтажных и наличными золотом тысяч до ста.

Пархоменко. Благодарю. (*хору, Старичку в вицмундире, Портнихе*) Идем к воротам невесту провожать! (*Гайворону, когда хор ушел*) А как моя жена? Не приехала еще?

Василь. С минуты на минуту ждем Харитину Григорьевну.

Лиза. Товарищ начгарнизона! Я не хочу на тройке.

Пархоменко (*подходит к Лизе*). Кучером будет Петрошук.

Василь. Из Особого отдела?

Пархоменко (*Лизе*). Петрошук разгонит коней, они понесутся... мимо церкви... мимо... на шоссе... заставы вас пропустят... и выскочит невеста к Стрешневке и подкатит прямо к штабу деникинцев. (*Ламычеву*) Ни черта разведка не стоит, самим приходится все делать. (*Лизе*) Надо узнать, сколько в Стрешневке

войска, орудий и можно ли оттуда подойти к тылу противника. Узнаете, Лиза?

Лиза. Попытаюсь.

Пархоменко. Обо всем немедленно сообщайте Петрошuku. Он нам передаст.

Входит Нечай.

Ну как?

Нечай. Если деникинцев задержать, то успеем перебросить.

Пархоменко. Попытаемся задержать. (*Ламычеву*) Четвертый, Седьмой и Девятый полки перебросить и поставить против Стрешневки. Туда же всю артиллерию и конницу. Есть намеки, Стрешневка— самое слабо укрепленное и значит уязвимое место деникинцев.

Обнимает Ламычева и Семена Ефаныча за плечи, и все что-то напевая, уходят. Входит Быков и за ним Маймород.

Быков. Кутят... (*Маймороду*) Я приложу все усилия, но что я могу сделать, если махновцы поднимут восстание в городе? Никанор Ильич, я не меньше вашего сочувствую деникинцам, но Махно тоже завоевывает себе престиж.

Маймород. И вы ему немножко помогаете?

Быков. У меня есть директивы. Еще недавно Ворошилов и Пархоменко с небольшими отрядами харьковских рабочих уничтожили махновского друга, атамана Григорьева.

Маймород. Нам это известно.

Быков. А у атамана было пятьдесят тысяч войска, триста пушек и семьсот пулеметов. Пархоменко, проскочив в Екатеринослав, в центре укрепленного города застрелил командующего фронтом, батьку Максюту.

Маймород. И это я знаю. Быков, не крутите! Сейчас Пархоменко согласился на переговоры с деникинцами, и вы настаивайте на сдаче!

Колоколов (*вбегает*). Владимир Михалыч! Командующий фронтом просит вас привести к нему делегацию деникинцев.

Быков. Слушаю.

Колоколов ушел. Быков и Маймород подходят к краю террасы и смотрят в сад.

Смотрите, какие красавцы приехали! А вы говорите, что я хочу сдать город махновцам. (*Ушли*).

Входят Ламычев, Нечай, Гайворон и Пархоменко.

Пархоменко (*осматривая стол*). Да вот и стол пригодится!

Терентий Саввич, помню, ты свиное сало к свадьбе припасал?

Ламычев (*угрюмо*). Чтобы да я деникинских офицеров своим салом кормил?

Пархоменко смотрит на него. Ламычев, вздохнув, достает из мешка сало и кладет на тарелку. Вносят большой кипящий самовар.

Пархоменко. Нечай! По телефону мне о перебросках не звонить! А вот... в коридоре лежат словари, и вот полка! Каждая книга будет батальон. Четыре книги — полк. Батарея — книга без корешка. А ты, Гайворон, пока не получишь удовлетворительных сведений через Лизу, на глаза ко мне не показывайся!

Гайворон. Слушаю-с, не показываться.

Трое, звякнув шпорами, уходят. В дверях они сталкиваются с деникинскими офицерами, которых привели Быков и Колоколов. Офицеры — рослые, красивые на подбор, в великолепных английских френчах, с чуть обветренными и запыленными лицами.

Офицер постарше. Господин командующий гарнизоном и командующий фронтом?

Пархоменко. Я. Пархоменко. Садитесь, пожалуйста!

Все чинно усаживаются.

Вы как любите чай: покрепче или послабее?

Офицер постарше. Покрепче.

Пархоменко. С сахаром?

Офицер постарше. Да. Благодарю вас! (*Принял стакан*).

Все прихлебывают чай. Молчание.

(*Отставляя стакан*) Его превосходительство генерал-лейтенант Деникин, командующий...

Пархоменко (*любезно*). Главнокомандующий.

Офицер постарше. Главнокомандующий поручил мне передать вам, господин начальник гарнизона, что ваше сопротивление бесполезно.

Быков прислушивается. За окном начался какой-то шум, и он думает, что это идет Шестой полк. Пархоменко берет стакан у Офицера постарше, наливает чай, передает, затем заваривает чай, ставит чайник на самовар, и все это не спеша, лениво и беспечно, при полном молчании присутствующих. Пархоменко развалился, налил чай на блюдечко и, с наслаждением выпив, смотрит на офицеров.

Пархоменко. Продолжайте, я вас слушаю!

Офицер. На фронте у вас развал.

Восстала бригада. К нам перебежал командующий Девятой армией.

Пархоменко. Видите ли, господин полковник, мы создаем социализм. Дело это нелегкое и не каждому по плечу. Кто нам не сочувствует, тот или бежит, или изменяет, или, что чаще всего, умирает...

Шум за садом увеличивается. Это началась усиленная переброска войск. Офицеры привстают и готовы подойти к дверям веранды.

Что? Солнце мешает? (*Опустил штору*).

Офицер. В городе грохот, как будто двигается армия.

Быков (*не сдержавшись*). Или ворвались махновцы.

Пархоменко. И махновцы не ворвутся, и никто не ворвется! Это, наверно, бюрократы архивы вывозят. У нас очень архивы уважают. Садитесь, пожалуйста! Я вас слушаю. Чаю? Покрепче?

Офицер постарше. Благодарю вас! Я пью слабый.

Вошел Нечай с книгами. Он с силой поставил их на полку.

Пархоменко. Осторожней, Нечай! Разговаривать мешаете.

Нечай. Извиняюсь. (*Ушел на цыпочках*).

Офицер постарше (*решительно*). Но, господин командующий, мы вас взяли в кольцо, обошли...

Офицер помоложе. Атаковали!

Офицер совсем молодой. И очень успешно.

Пархоменко (*спокойно*). Обошли? Взяли в кольцо? Атаковали? И даже очень успешно? Возможно! Но вы, — а это самое главное, — вы не подавили нас всей своей силой. Мы же, не имея пока численного превосходства, возможно, попробуем создать искусственное.

Офицер постарше (*насмешливо улыбаясь*). Каким образом?

Пархоменко. Самым простым. Средоточим все средства удара на важнейшем пункте сражения.

Офицер постарше. Вы уже упустили этот момент.

Пархоменко. Еще неизвестно.

Нечай вносит восемь книг. Он ставит их на полку. Одна книга разорвана пополам.

Неумело передвигаете книги, Нечай! Где вторая половина книги?

Нечай. Сейчас подтянем. (*Уходит на цыпочках*).

Пархоменко (*к офицерам*). Извини-

те, пожалуйста, это я сейчас теорию изучаю. Итак, вы настаиваете, что мы упустили момент? Разрешите тогда напомнить вам пример из истории военного искусства. Вся неудача союзников при Аустерлице состояла в том, что план их атаки был основан на ложном предположении, будто французы стоят неподвижно на своей позиции.

Нечай вносит книги. Пархоменко принимает их у него.

Все?

Нечай. Осталось, товарищ командующий, два...

Пархоменко. Два тома? Неси скорей! Мне-то они и нужны *(К офицерам)* Итак, Аустерлиц. Мало того, что союзники думали, будто Наполеон неподвижен, они даже полагали, что он готовится к отступлению. Союзники и думать забыли, что французы могут перейти к атаке.

Офицер. Этот факт оспаривается, господин командующий.

Пархоменко. Оспаривается? Сейчас мой помощник доставит два тома, и я вам докажу, что факт этот неоспорим. Ну, а пока возьмем другой пример. Сражение при Риволи в 1797 году...

Офицер помоложе. Это устарело.

Пархоменко. Не беспокойтесь, господин ротмистр, мы приблизимся и к современности.

Он берет книгу, разворачивает план сражения, и в это время Нечай вносит последние две книги и ставит их торжественно на полку.

Нечай. Все, товарищ командующий!

Пархоменко. Благодарю.

За дверями шум, смех. Вбегает, в сопровождении подруг, Лиза и останавливается у порога.

Ничего, ничего, Лиза! *(К офицерам)* У нас свадьба. Это невеста.

Офицеры встают, раскланиваются.

Можно вас поздравить с законным браком, Лиза?

Лиза *(смеясь)*. Ну то-то, что свадьбы не получилось, Александр Яковлевич!

Пархоменко. Как так?

Лиза. Кони — только к церкви и как понесут! И за город! И прямо к окопам!

Пархоменко. Да что вы?

Лиза. И прямо через окопы. И прямо в Стрешневку! Спасибо, у самого штаба *(показывает на офицеров)* ихнего еле задержали. Но ничего, посмеялись штабные, говорят: поезжайте к жениху, он наверно

перепуган. Я и поехала. Все в порядке, Александр Яковлевич.

Пархоменко. Как же свадьба? Ну, отложим на денек-другой! На этот раз, Лиза, на конях вас не пустим, а пойдем все пешком.

Лиза, смеясь, убегает.

Хорошая девушка, смелая!

Офицер постарше. Приятная девица!

Входит Гайворон и непринужденно садится у входа, положив ногу на ногу. Пархоменко вопросительно взглянул на него. Гайворон незаметно кивнул головой: дескать, все сделано. Предположения ваши подтвердились. Тогда Пархоменко обращается к офицерам.

Пархоменко. Вам, вижу, не нравятся старинные примеры? Хорошо! Перейдем к современности. Быков, сядьте! Что вы суетитесь? Что предлагает мне Деникин?

Офицер постарше. Мы гарантируем вам жизнь и имущество.

Пархоменко. Жизнь? Имущество? Значит, сдать?

Офицер. Да, надо сдать город, господин начальник гарнизона.

Пархоменко. Ладно!

Василь. Как ладно?

Пархоменко. Извольте выйти вон, товарищ Гайворон!

Василь *(идет)*. Слушаю-с. *(Вышел, но дверь за собой закрыл плохо и все время выглядывает в нее)*.

Быков. Нужно сдать!

Пархоменко *(к Быкову)*. Еще бы! *(Молоденькому офицеру)* Пишите ответ!

Офицер поспешно берет блокнот. Пархоменко диктует.

«Нами руководит могущественная партия большевиков во главе с товарищем Лениным, и мы победим. И мы не сдадимся никому!»

Офицер остановился. Пархоменко построжал. Голос его звенит.

Пишите, милостивый государь! *(Раздельно диктует, а Офицер послушно пишет)*. «А тобой, Деникин, руководит смерть, и ведет она тебя к поражению и гибели и к проклятию народа». Ясно? И — точка! *(Берет блокнот, подписывает)* «Пархоменко, начальник гарнизона и командующий фронтом». Быков, проводите господ офицеров к машине.

Пархоменко взял под козырек. Офицеры молча выходят. Пархоменко схватил трубку телефона.

Фронт? Штаб? Говорит Пархоменко. Приказание мое получено? И уже начали наступление? Одобряю! И — точка. Сейчас гриеду сам. Вперед! (Положил трубку).

Вбегает Колоколов.

Чего бледный, товарищ Колоколов?

Колоколов. Я согласен с вами, товарищ Пархоменко. Я там с ним спорил, с Быковым. Город надо защищать... Кроме того, если говорить правду, я дал слово дворянина, что буду до последней капли крови защищать Россию от иноземцев и предателей.

Пархоменко. А вы от спора так побледнели?

Колоколов. Взбунтовался Шестой полк. А тут подъехала ваша жена с детьми... По-моему, надо на крышу пулеметы выставить.

Пархоменко. Жена? Дети? Где они?

Колоколов. Пулеметы надо выставить!

Пархоменко. А, какие там пулеметы! Где Тина? Тина! Тина!

Бежит к дверям, в которых в это время показывается Харитина Григорьевна с двумя детьми, старшему из которых, Ване, лет восемь-девять.

Колоколов. Они подняли черное знамя махновцев, подлецы!

Пархоменко (оборачиваясь). Просто в Шестом полку плохое командование. (Обнимает жену). Тинушка, здравствуй! У, как ты загорела! (Сыну) Здравствуй, Иван Александрович! Какой ты у меня громадный!

Харитина Григорьевна. В отца! И такой стал говорун, не остановишь!

Пархоменко. Время, Тина, время как раз для разговоров!

Колоколов вышел на веранду, всматривается.

Ваня, а знаешь, здесь есть река, и глубокая. И рыба там — прямо с сажень. Хочешь, рыбу пойдем удить?

Ваня. Я на лодке хочу плавать.

Пархоменко. Можно и на лодке плавать, можно и рыбу удить. Все, брат Ваня, можно! А вот что руки не моешь, это плохо! (Целует сына).

Колоколов. Кажется, идут, Александр Яковлевич!

Пархоменко. Ага! (Харитине Григорьевне) А теперь, Тина, идите! Мы тут немножко позаседаем. Комнату вам там приготовили. Только извини, насчет пищи у нас даже плохо

Харитина Григорьевна. Как-нибудь проживем, Саша. (Пошла. Ваня не отходит от отца). Ваня, пойдем!

Ваня. А я тут останусь! Тут книги.

Харитина Григорьевна. Отцу мешаешь, Ваня. Пойдем!

Пархоменко. Пускай остается!

Харитина Григорьевна пошла было. Но в саду слышатся крики. Она остановилась.

Харитина Григорьевна. Не оставляю.

Пархоменко. Тина...

Харитина Григорьевна. Не оставляю. Ты что задумал?

Пархоменко. Картинки ему показать.

Харитина Григорьевна. Ты что задумал, Саша?

Пархоменко. Тина! Иди, иди, милая! Смотри, какая ты стала взволнованная! Иди! Через полчаса я его приведу. Иди! (Проводил жену до дверей. Взял книгу и сел возле сына. Колоколов стоит на веранде). Хочешь, войну, Ваня, покажу?

Ваня. Хочу.

Пархоменко. Только на войне, Ваня, надо быть смелым, иначе тебя все время бить будут. Вот, смотри: «Офицер Седьмого гусарского ее величества королевского полка». Ишь, какой важный! Грудь-то какая, а? А вот эти, в красном...

Ваня. Матросы.

Пархоменко. Нет, сынок! Это будут «нижние чины инженерных войск». Хочешь быть инженером, Ваня?

Ваня. Нет.

Пархоменко. Кем же ты хочешь быть?

Ваня. Командующим.

Крики рядом, в саду. Несколько солдат уже ввалилось на террасу.

Колоколов. Куда вы, негодяи?

Колоколова отбросили. Показалось черное знамя. Сбоку всех — Солдат с палочкой. Толпа заполняет веранду, зал. Пархоменко, обняв сына за плечи, продолжает перелистывать книгу.

Крики:

— Бей коммунистов!

— Хай живе батько Махно!

— Бей комиссаров!

Пархоменко. Кто тут кричит за Махно? (Встал, спокойный, оглядел всех, всех). Кто кричал за Махно? Пусть тот считает себя расстрелянным!

К р и к и:

— Сами расстреляем!

— Зерно в деревне забрали!

— А вместо товаров комиссара посадили!

— Смотри, как жрете!

Пархоменко (*берет сына на руки и вспрыгивает вместе с ним на стол*). Ну, бейте! Я и есть тот комиссар, о котором вы кричите, Шестой полк. Да мало того, не один! А вот еще и сына рядом ставлю, тоже впоследствии комиссаром будет, как и ваши дети.

Голоса: Не будут!

Пархоменко. Нет, будут! А откуда я в комиссары вышел? Отец у меня батрак, сам я с семи лет в поле работал, так же как и вы, Шестой полк. С матерью и братьями полел я просо у помещика за пятнадцать копеек в день. А когда подрос — волов гонял, а оттуда, из погонщиков, — на завод. У, тяжело мне было, Шестой полк, тяжело! С той тяжелой жизни, поняв, что народу так жить нельзя, пошел я семнадцати лет в революцию, комиссаром.

К р и к и: Знаем! Махно тоже революционер!

Пархоменко. Революционер? Махно? (*Оглядел внимательно толпу. Острый взгляд его увидел Солдата с палочкой, который держит наготове наган под шинелью*) Махно революционер? А скажите мне, селяне из Шестого полка, с чего это тогда Махно выступил против нас, рабочих и крестьян-бедняков, вместе с Деникиным, Шкуро и другими помещиками? Зачем это они революционеров вешают и убивают?

К р и к и: Нет! Не убивают они революционеров!

Пархоменко. Не убивают? А вон там, за вашими спинами, кто стоит, готова на меня пулю?

И Пархоменко указал на Солдата с палочкой, который в это время целился в него.

А ну, стреляй тогда, махновская шкура!

От крика Пархоменко махновец растерялся и опустил револьвер. Раздался насмешливый хохот. Махновец побежал через террасу в сад.

Вслед ему несугся крики и свист.

Голоса:

— А он парень смелый, этот Пархоменко!

— И оратор неплохой чтобы!

Пархоменко. Нет, не за Деники-

ным тебе идти, Шестой полк, не за Шкуро или Мамонтовым и не за анархистами. А идти придется-таки с нами, а?

Молчание.

А вы помолчите, селяне, подумайте! Я вас криком не зову. (*Кладет руки на плечи сына*). Вглядись, Ваня! Народ думает. Вот, селяне, перед вами молодое дитя Украины и мое дитя. Так я его жизнью и своей клянусь, что буду биться с врагами народными до тех пор, пока не рассветет. И пусть меня убивают десять раз, — все равно десять раз поднимусь, Украина, и буду биться, моя маты! Не отдам казаккую Украину врагу. Наша будет Украина, Украина того Тараса Шевченки, тех народных восстаний, той Запорожской Сечи, тех покойных наших братьев, шо бились за нее, того Кармелюка, Кривоноса и других...

Крик олобрения, шум.

И никаким деникиным, никаким махновцам не убить ни меня, ни большевистской правды! Будет жива наша родина, светла и радостна. И, светлая и радостная, она скажет не раз: «А хорошие хлопцы дрались за мою волю с помещиками и махновцами!»

К р и к и:

— Слава, Украина!

— Ура, Пархоменко!

Пархоменко (*показывая на черное знамя*). Снять! Где полковая ячейка?

Голоса: А мы ее в подполье угнали!

Пархоменко. Да вы-то кто будете?

Голоса: А мы те, которые по твоему приказу, товарищ Пархоменко, расстреляны. Прости!

Выходят несколько человек и низко кланяются.

Появляется Гайворон.

Пархоменко. Гайворон, дай красное знамя! Знаменосцы, вперед! Слушать Шестому полку приказ командующего! Сего числа назначаю командиром полка Колоколова, Константина Петровича. Прими полк, товарищ Колоколов! Шестой полк! Искупить свой поступок и завоевать народную славу!

Колоколов (*подходит к красному знамени*). Равнение на командующего фронтом, смирно!

Пархоменко. В бой!

Колоколов. Шестой полк, в бой!

Вбегает встревоженная и испуганная Харитина Григорьевна.

Харитина Григорьевна. Саша? Что тут такое? Что происходит, Саша?

Пархоменко. А ничего, Тина! Я ж сказал, что мы будем заседать.

Колоколов. Раз, два! Раз, два!

Полак ушел. Тишина. Пархоменко передал сына Харитине Григорьевне. Вбегает Нечай. За ним Быков.

Нечай. Товарищ командующий, Стрешневку занимаем. Гоним!

Пархоменко. Еду.

Быков. Неправильно!

Пархоменко. Было б правильной сдать? Ну, Быков, может, вы и примете жизнь от белогвардейцев, но нам она, такая позорная, не нужна.

Быков. Не смейте так говорить! Это недоверие! Я приглашен на работу в армию главкомом Троицким.

Пархоменко. Приглашал вас слушать Троицкий, а снимал вас со службы Ленин. А вы опять пролезли!.. Сообщу о ваших делах в Москву, а пока, Нечай, прими обязанности от Быкова! Он освобожден от должности начальника штаба фронта. (Уходит).

КАРТИНА ВТОРАЯ

1920 год, начало его. Ростов-на-Дону. Гостиница перед вокзалом. Двойной номер. Сквозь замерзшие и занесенные окна тускло доносятся редкие гудки паровозов. Перед окном, в шубке, стоит Вера Николаевна и дует на стекло. Маймород, в валенках и полушубке, нервно ходит по комнате.

Вера Николаевна. Ну-с, Никанор Ильич?

Маймород. Ну-с, Вера Николаевна?

Вера Николаевна. Вы бы хоть доложили о своей деятельности! Я ехала через степи, снега, мороз, от самого Махно в Ростов, а вы мне: «Чаю, вот, у нас нету!» Это мне и в Гуляй-Поле было известно.

Маймород. Что ж докладывать? Тысяча девятьсот двадцатый год в Ростове-на-Дону наступил, слава богу, и все идет благополучно.

Вера Николаевна. Даже сверхблагополучно! (Указывает на окно) Сквозь эту щель, напоминающую, кстати сказать, вашу жизнь, Никанор Ильич, видно, что в два часа составили поезд, прицепили платформы, погрузили на них три грузовика, и вот скоро знаменитый комендант Ростова, сам Пархоменко, сядет в поезд и

поедет с рабочими открывать затопленные во время войны шахты... Красивую жизнь вы создаете этому Пархоменко!

Выходит Быков из соседней комнаты и стоит, прислонившись к двери.

А, Быков! Пархоменко отвезет уголь в Москву, чтобы сжечь на заводах и осветить наше несчастье и нищету. Решительный человек этот Пархоменко! Троицкий ссылает его в Самару, а Пархоменко внезапно выплывает. И кем? Особоуполномоченным при армии Буденного! Он идет с нею. Они занимают Донбасс, подходят к Ростову. А Быков следует за ним в качестве мелкого-мелкого чинуши...

Быков (раздраженно). А сама ты что сделала в армии Махно?

Маймород. Господа супруги, успокойтесь! (Усаживает Веру Николаевну у скамьи). Ваше раздражение уважаю, Вера Николаевна. Разрешите посвятить вас сначала в частности нашей работы, а из них вы поймете и общий план. Во-первых, третьего дня, сразу же после отъезда Ворошилова и Буденного в Москву, я назначен председателем Ревтрибунала армии.

Вера Николаевна (хохочет). Вы, Маймород? Ха-ха-ха!

Маймород. Во-вторых... Ну, хотя бы возьмем того же Пархоменку! Наклоните вашу прекрасную головку к окну! Вот так! Видите? У подъезда нашей гостиницы — машина.

Вера Николаевна. Зеленая?

Маймород. Так точно! Теперь переведите ваш чудесный взор через площадь, к вокзалу. Видите, сбоку вокзала состав и три платформы с грузовиками? И вот — раз, два, три — и грузовиков нет! Их отцепили!

Вера Николаевна (хохочет). А вы способный человек, Маймород!

Маймород. Имея таких воспитателей, как вы, Вера Николаевна, трудно почитать плохие отметки.

Стук в дверь.

Зубов (входит). Отвел, Никанор Ильич. Машина у подъезда.

Быков. Вот что, Зубов, Пархоменко в тюрьме.

Зубов (удивившись). Как в тюрьме? В какой?

Быков. В советской.

Зубов. Простите, Владимир Михалыч, я не очень вас понимаю.

Маймород. Быков хочет сказать, что

Пархоменко сегодня к вечеру должен быть в тюрьме, а через два дня ему будет вынесен смертный приговор за... за бандитизм. Вы охрану около машины поставили?

Зубов. Так точно.

Маймород. Прикажите охране сопротивляться, если Пархоменко потребует свою машину обратно! Да и вам, Зубов, советую посопротивляться.

Зубов (*ухмыляясь*). К этому мы привыкли. Прикажете итти?

Маймород. Да.

Вера Николаевна. Минуточку, Зубов!

Зубов. Мадам?

Вера Николаевна (*кладет револьвер на стол*). Маймород, напишите как председатель Ревтрибунала пропуск в тюрьму на имя Зубова!

Зубов. Зачем мне пропуск?

Вера Николаевна. Когда Маймород вынесет приговор, опасаясь, что в тюрьме не найдется скорого исполнителя.

Зубов. Я? Я? Я дворянин, господа, и палачом никогда не был!

Вера Николаевна. Я тоже дворянка, но, не будь женщина, я бы выполнила этот приговор.

Зубов. Вот потому-то вы и говорите так, что вы женщина.

Маймород. Вот вам пропуск, Зубов!

Зубов. Нет!

Вера Николаевна. Вспомните, Зубов, что год назад махновцы уже брали Ростов, и вспомните, как мы вспороли череп одному вашему приятелю! (*Подает пропуск*).

Зубов резко взял пропуск, круто повернулся и вышел. Молчание. Быков ходит по комнате.

Маймород разминает валенки.

Что, жмут?

Маймород. Мне, знаете, многое жмет в жизни!

Вера Николаевна. Привыкайте!

Маймород. Да-с, ко многому можно привыкнуть. Меня, например, удивляет, что Вера Николаевна обходится без модных журналов.

Вера Николаевна (*хохочет*). Журналов у нас, действительно, нет, но мода есть. Я вам расскажу даже, какая. Ботинки выше колен, на шнурках...

Быков (*смотрит в окно*). Началось!

Все трое смотрят в окно и смеются:

— Кричит!

— Оттолкнул!

— Ударил!

— Да нет, это не он ударил, а охранник!

— За руль схватился! Ха-ха-ха! Потасили!

— Однако смотрите, какой сильный человек!

— Ах, черт возьми!

Все переглаживаются, отходят от окна. Быков трет лоб.

Быков. Это неприятно, если он сюда ворвется!

Маймород. Зачем?

Быков. Мне бы не хотелось с ним встречаться, а тем более в вашем присутствии, Маймород.

Маймород (*прислушиваясь*). Кажется, он в коридоре. (*Толкает Быкова в соседнюю комнату*). А вы, Вера Николаевна?

Вера Николаевна. Меня он не знает, а мне любопытно на него посмотреть.

Шум. Распахивается дверь, и вбегает Пархоменко. Кожаная тужурка на нем разорвана, на лице кровь, ворот гимнастерки тоже разорван.

Пархоменко. Председатель Ревтрибунала, по чьему требованию взяты наши машины?

Маймород. А я знаю?

Пархоменко. Вы знаете, Маймород, потому что один из охраны сказал, что председатель Ревтрибунала... (*В негодовании*) Я не могу и поверить! Зачем вам машины? Нам дали их из Отдела снабжения Первой конной, чтобы вывозить уголь. Уголь надо для Москвы. Понимаете, Маймород, черт бы вас драл?

Маймород. А что вы на меня кричите?

Пархоменко. А на кого мне кричать, если все смотрят в окна и никто не выходит? Поезд должен уйти через полчаса.

Маймород. Ну, и уйдет без вас. Эка беда!

Пархоменко. Мне поручено дать пятьдесят вагонов угля в день.

Маймород. Ну, а вы дадите пятьдесят вагонов слов!

Пархоменко (*подходя к нему*). Вы хотите сказать, что я болтун?

Маймород. Человек, который придает такое значение каким-то машинам...

Пархоменко. А вот вы, Маймород, — чья машина?

Маймород. Но вы просто негодяй, Пархоменко!

Пархоменко размахнулся, и Маймород отлетел в другую сторону комнаты, упал на пол. Позади Пархоменко распахнулась дверь: вошла охрана с винтовками наперевес. Они окружили Пархоменко.

Пархоменко. И — точка. (*Уходит, окруженный охраной*).

Маймород встает, отряхивается. Входит Быков, закрывает дверь в коридор, у которой стоит Вера Николаевна, и смотрит вслед Пархоменко.

Вера Николаевна. Да, такого человека, Быков... Я понимаю, тебя можно ненавидеть. (*Подумав*) И любить, конечно. (*Маймороду*) Судя по частностям, Маймород, общий план ваш очень сложен. (*Смеется*).

Маймород. И вы смеетесь? (*В лицо Вере Николаевне*) Махновка! (*Убежал*).

Вера Николаевна смеется.

Вера Николаевна. Ха-ха-ха! Как он сказал? Махновка! Это что-то вроде махорки, Быков. Ха-ха-ха! Какой он смешной!

Быков. Вера!

Вера Николаевна. Да?

Быков. Я собрал кое-кого из офицеров... Есть желание — уйти в Польшу... Барнацкий обещает мне полк. Вера, поедем! Подумай, Вера! Ну, хотя бы на месяц попадешь в культурную обстановку... Вера, ты уходишь?

Вера Николаевна. Да.

Быков. Чем я тебя обидел, Вера?

Вера Николаевна. Ну, чем ты меня можешь обидеть, Быков?

Быков. Может быть, останешься еще на день?

Вера Николаевна. Мне надо сделать отчет Махно о своей поездке.

Быков. Он очень жестокий человек. Гораздо более жестокий, чем я предполагал.

Вера Николаевна. Да.

Быков. Может быть, ты останешься хотя бы на полдня?

Вера Николаевна. Нет.

Быков. Я сделаю все возможное.

Вера Николаевна. Знаю.

Быков. И, может быть, ты задержишься?

Вера Николаевна. Нет. Надо исполнять свой долг до конца, Быков. Ведь ты же выдумал Махно, вооружил его!

Быков. Не я! Мне были даны такие директивы. Мне самому противен этот ужасный мужик.

Вера Николаевна. Да?

Быков. А тебе?

Вера Николаевна. Ты же послал меня к нему. Я исполняю приказание. Война!

Быков. Правда, война! Очень, очень трудно, Вера! Пархоменко гонится за мной. Он знает все, но не хватает меня. Он что-то задумал. Его надо убрать. И я не могу от него избавиться.

Вера Николаевна. Ну, а теперь-то ты ведь догнал и уничтожил его?

Быков. Я так и думаю. (*Молчание*). Не надо ли тебе что-либо из вещей?

Вера Николаевна. Нет, спасибо! У меня все есть. До свиданья, Быков!

Быков. Вера!

Вера Николаевна. Да?

Быков. Ты мне еще жена!

Вера Николаевна. Да. До свиданья, Быков! Смелей! (*Ушла*).

Быков подошел к окну, смотрит и барабанит пальцами по стеклу мотив «Любви все возрасты покорны».

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Ростов-на-Дону. Через несколько дней. У ворот тюрьмы. Небольшая площадь, мощенная булыжником. Шаги по ней гулки и торжественны, так как домики тесно окружают площадь.

Ламычев (*Часовому в будке*). Пархоменку не приводили?

Часовой молчит.

Просто голова кругом идет!

Нечай. Может быть, ошибка все это, Терентий Саввич?

Ламычев (*схватил за руку Нечая, тащит его в сторону*). Нечай, голубчик, пиши!

Нечай. Телеграмму?

Ламычев. Обязательно телеграмму!

Нечай. Да ведь уже отправили несколько, Терентий Саввич!

Ламычев. А може те по дороге затерялись? Пиши Сталину!

Нечай. И Сталину писали.

Ламычев. Такое еще не писали! Эх, заволочло глаза от слез, а то бы я сам написал!

Нечай. Ну, диктуй, Терентий Саввич! Адрес?

Ламычев. Адрес? Сталину! Вороши-

лову! Буденному! Всеми советскому командованию! (Диктует) «Что такое происходит, спрашивает вас заслуженный и одаренный вашими часами командир, Иосиф Виссарионович? Был выпивши я, я тоже ехал по уголь, а судят его. То есть он, Пархоменко, пьяный на службу никогда не приходил. И еще обвиняют, что ранил Зубова. Так этого Зубова, прохвоста, не то что ранить, но и его...»

Часовой. Зубова он не ранил. Брехня! Ламычев (диктуя). «Зубова он не ранил. Брехня!»

Часовой. И за такую брехню—смертный приговор?

Ламычев. Вот, вот! «За такую брехню—смертный приговор?» (Хватает листки, затем берет Нечая за руку). На телеграф, Нечаяшко!

Ламычев и Нечай ушли. Часовой ходит, напевая со злостью любимую ламычевскую песенку: «На берегу сидит девица. Она шелками шьет платок. Работа чудная такая, да шелку, жаль, недостает...» Из окна домика, напротив, раздастся девичий голос.

Девичий голос. Гриша-а!

Часовой. Закрой окно. Маша, не тревожь меня на посту! Я думаю.

Окно со стуком закрылось. Тишина. Часовой ходит. Под караулом ползодят к тюрьме Пархоменко. Позади идут Маймород и еще какой-то военный в бекеше.

Маймород (Часовому). Коменданта!

Часовой ходит.

Коменданта, тебе говорят!

Часовой. Я на часах, начальник!

Маймород (кричит). Коменданта тюрьмы!

Человек в бекеше (льстиво Маймороду). Надеюсь, Пархоменко теперь понял, что такое революционный закон Советов? А, Пархоменко?

Пархоменко не смотрит на него. Входит Комендант тюрьмы.

Человек в бекеше. Примите приговоренного! И никаких поблажек!

Комендант открыл дверь. Пархоменко остановился на пороге.

Маймород. Проходите! Жалоб не принимаю.

Пархоменко (Коменданту). Библиотека у вас есть?

Комендант (удивленный). Так точно!

Пархоменко. Принесите мне немед-

ленно в камеру «Войну и мир» Толстого. (Ушел).

Маймород. В какой камере поместите?

Комендант. Тридцать седьмая, товарищ Маймород. Да вон у ней окно прямо на площадь выходит... над нами.

Смотрят.

Маймород. Окно завесить!

Комендант. Слушаю-с.

Маймород. Выставить усиленный караул!

Комендант. Слушаю-с. Пища обыкновенная?

Маймород. Пищи ему не много требуется.

Маймород ушел. Комендант скрылся. Часовой ходит. В окне за решеткой показывается голова Пархоменко.

Часовой. В окно высовываться нельзя! Но это не к вам, товарищ Пархоменко. Высовывайтесь назло усим этим гадюкам!

Часовой ходит. На небе луна. Голова Пархоменко исчезла. В камере засветился огонек.

Голос (тоскующе). Гриша-а!

Часовой. Маша, закройте окно! Я затоскую, и к тому же меня беспокоит луна.

Звуки барабана. На площадь выходит часть Гайворона.

Часовой (оживившись). Эй, коменданта там, живо! Комендантский батальон! (Считает) Два эскадрона кавалерии и горная батарея пришли! Живо-о! Э-э-эй!

Ламычев (вбегает). Василь? Что ты задумал, Василь?

Гайворон. Не мешайте, Теренгий Саввич, при исполнении служебных обязанностей! (Коменданту, который поспешно выбежал) Слухай, ты, куропатка! Отпусти немедля Пархоменко!

Комендант. Да как же я могу его отпустить, товарищ Гайворон? (Оробев) Ордера-то у вас, небось, нету?

Гайворон (указывая на батальон). Вот тебе ордер на освобождение! (Указывая на пулеметы) А вот тебе штемпеля! Прочитай! Пять минут—на все думы, а то открою огонь, да такой, что не только твою голову, но и крышу с тюрьмы снесу!

Часовой. Он снесет, я его знаю! Прикажете, товарищ комендант, открыть ворота?

Гайворон. Терентий Саввич, прошу достать ваши заслуженные часы!

Ламычев (*угрюмо*). Доставал, да не такого сорту! Ой, откажись от ультиматума, Вася!

Гайворон. Не откажусь.

Ламычев. Ну, и набьет тебе Пархоменко морду!

Гайворон. Мне? Пархоменко? Да шо он, на свободу не желает?

Голоса батальона:

— Давай, давай! Чего там канителься!

— Смазать коменданта по роже — он и откроет!

Гайворон. Последний раз: открываешь ты мне ворота или нет?

Комендант. Ордер, товарищ Гайворон! И что касается ваших анархистских действий...

Гайворон. Он ще меня и ругать будет! Хлопцы! Готовсь к огню!

Ламычев. Ой, быть тебе битым, Вася!

Гайворон. Да, как же! Батальон, слухай мою команду!

За решеткой показывается лицо Пархоменко. Гайворон увидел его.

Смирно! Равнение налево, к решетке! Здравия желаю, товарищ наш Пархоменко! Ура-а!

Батальон. Ура-а!

Пархоменко (*из-за решетки*). А ведь вы хорошо держите строй, товарищи! Спасибо, командир Гайворон, за отличную выучку батальона! Теперь надо проверить эту выучку на деле. Что же, попрежнему ростовские улицы полировать? (*Повысив голос*) Слушать мою команду-у!

Гайворон. Слушать команду Пархоменко-о!

Пархоменко. Комендантский батальон!

Гайворон. Слухай, комендантский батальон!

Пархоменко. Первый и второй дивизионы!

Гайворон. Первый и второй дивизионы!

Пархоменко. Батарея имени Карла Маркса!

Гайворон. Батарея имени Карла Маркса-а!

Пархоменко. Всем — на кадета, на фронт, шагом ма-арш! Песнюю!

Гайворон (*упавшим голосом*). На фронт шагом марш! Песнюю!

Барабан. Песня. Звякнуло оружие. Цокнули копыта. Слышны стук барабана и мерные шаги уходящего батальона. Все дальше, дальше... Замерла песня. Площадь опустела. Пархоменко отошел от решетки. И только посредине площади, вытянувшись и держа руку под козырек, стоит изумленный Комендант. Вот потух огонек в камере. Комендант мерным шагом движется к воротам.

Вбегают Нечай, Ламычев и Семен Ефаныч.

Нечай (*радостно*). Комендант, слушай приказанья!

Комендант. Чего еще там?

Ламычев. А в том оно «чего», что отпустишь Пархоменко. (*Подает пакет*). К немедленному исполнению!

Комендант (*прочел*). Слушаю. (*И убежал*).

Ламычев (*ходит перед воротами, вынимает часы и смотрит*). Я и то думаю, как так? Столько времени прошло по моему заслуженным, а мне не отвечают. Прибегаю на телеграф. А там: ответ есть, но направлен в штаб фронта. Бегу туда... Нет, Семен Ефаныч, я всегда считал, что при советской власти жить можно.

Вбегает Пархоменко.

Пархоменко. Нечай! Ламычев! Друзья! Семен Ефаныч, дорогой! Дай я тебя обниму, Терентий Саввич, хороший ты мой. Волосами оброс как зверь, а хороший!

Ламычев (*смеясь и плача*). Хорошая собака, она завсегда лохмата, Александр Яковлевич.

Часовой. Освободили, выходит?

Ламычев. ВЦИК приговор отменил. Ну, и телеграммы я посылал требовательные, конечно. Без телеграммы в военном деле не обойтись... (*Хохочет*). А Василь, зятек-то мой будущий, заместо телеграммы целый батальон привел...

Семен Ефаныч (*обиженно*). Бывали у нас в Причепках случаи, шо...

Ламычев. Вот прицепился со своими Причепками! А такие у вас случаи в Причепках бывали, что садят в тюрьму человека под названием Пархоменко, клеветают на него, а он выходит оттуда и получает командование Четырнадцатой дивизией?

Пархоменко (*изумленный*). Да что ты говоришь?

Ламычев. А вот и говорю!

Нечай. Он правду говорит, Александр Яковлевич. Командование Первой конной вызывает вас до себя. Я слышал, что вручают вам обратно все ваши награды и вдобавок Четырнадцатую.

Ламычев. Но она, Четырнадцатая, дюже трудная дивизия. Она только что сформирована из белых казаков, что на нашу сторону перешли. Их там больше чем на пятьдесят процентов...

Пархоменко. А я так по работе соскучился, что если дивизия на девяносто процентов из чертей будет состоять, то я и тогда не откажусь. *(Улыбается)*. Но, конечно, согласие мое будет тогда, когда у меня в дивизии заведывать снабжением будет Ламычев, начальником штаба — Нечай, а Семен Ефаныч — обозами. Семен Ефаныч. Обозы, говорят, Александр Яковлевич, ноги армии, а я ходить горазд.

Пархоменко. А куда дивизия пойдет, не слышали?

Ламычев. Чи на Махно махнем, чи на пана, чи на обоих вместе. Я тоже так слышал, что пойдем аж от Майкопа на Киев походным порядком, а там, считаю, дорога ровна — на то Розно, на ту реку Стырь, на Буг, на Харупаньски леса, на тот на древний наш город Львов...

Пархоменко *(горячо)*. Беру!

Уходят.

Часовой выходит из будки и весело напевает: «На берегу сидит девица...» Входит Зубов. Он подает Часовому пропуск.

Часовой. К арестованному Пархоменко?

Зубов. Да.

Часовой *(рассматривая пропуск)*. Так! Это к тому самому Пархоменко, которого весь Донбасс знает и уважает и который за рабочие интересы в царских тюрьмах сидел?

Зубов. К Пархоменке.

Часовой. Так, значит, к Пархоменке?

Зубов. Да.

Часовой. Это к тому самому Пархоменке, который с донецкими рабочими и с Ворошиловым, с боями, прошел через донские степи, защищал Царицын?

Зубов. Возможно, это он.

Часовой. Это он! Он к тому самому Пархоменке, которого Сталин послал с письмом к Ленину, чтобы снаряды достать для царицынского фронта, и Ленин того Пархоменко приласкал. А?

Зубов. Пропустишь ты меня?

Часовой *(рассматривая пропуск)*. Это он! Пархоменко! Тот самый Пархоменко, который в семнадцатом году, в марте месяце, вместе с народом восстал против царя в Москве... и был тогда начальником, помню, Мариинского района? А?

Зубов. Давай мне коменданта! Ты пьян.

Часовой *(наколов на штык пропуск)*. Гонял вас, белое отрепье, аж через все степи Пархоменко и мне велел гнать через эту площадь. Брысь!

Часовой наставил винтовку. Зубов бежит. Часовой хохочет, выходит вперед, срывает шапку и обращается к окну домика.

Часовой. Маша! Видишь, какие мы, луганские? Маша! Открой окно! Спит! *(Вздыхает)*. Вот они, женщины! И страдай за них и люби их после такой холодности!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Конец августа 1920 года. Редкий лесок, холмики, внизу болото, речушка и остатки сожженного моста через речку. Пархоменко сидит на бревне. Работники штаба окружают его. Вверху, на холмике, Ламычев. То и дело вбегают ординарцы с донесениями. Издалека доносится то пулеметная, то ружейная стрельба, а еще дальше — орудийные раскаты.

Пархоменко *(беря донесение, Ординарцу)*. Как третья бригада? Переправилась через Буг?

Ординарец. Сказывают, через час будут.

Пархоменко *(недовольно)*. Уже сутки — всё через час, всё через час! *(Пишет)*. Скажи в третью!

Ординарец ушел.

Ламычев. Паны прут здорово, а все-таки вон Львов мелькнул за дымкой. Александр Яковлевич, вон Львов!

Пархоменко. Где?

Ламычев. А вон правей той сосны, вон-вон маячит! Да бинокль возьми!

Пархоменко. Львов? Не вижу. По всей вашей работе не вижу Львова! Коман-

дование юго-западным фронтом, Сталин, дает нам директиву: взять Львов. А мы? Третий день стоим у переправы через Западный Буг. Гайворон!

Василь. Слушаю, товарищ начдив.

Пархоменко. Скажи в третью бригаду! Что они? Может быть, выспаться на берегу реки хотят? Так скажи, что, пока Львов не возьмем, сна не будет. Если (смотрит на часы) через полчаса переправа не будет взята, я сам к ним приеду.

Гайворон ушел. Ламычев подходит к Пархоменко.

Ламычев, Александр Яковлевич, что я хочу спросить вас!

Пархоменко. Ну?

Ламычев (тихо). Тут... разговаривают... что Троцкий обещает взять Варшаву, если Конармию передадут в распоряжение комзапфронта Тухачевского.

Пархоменко. Разговаривают! (Резко) Нам приказано взять Львов! И — точка. Четвертая и Шестая дивизии уже переправились через Буг, взяли восемьсот пленных и восемнадцать пулеметов! А где находится Четырнадцатая дивизия? Коня!

Ламычев. Александр Яковлевич! Местность лесисто-болотистая, идем большей частью в пешем строю, к тому же канавы, переправы разрушены, артиллерию и тяжелые пулеметы на тачанках подвезти трудно.

Пархоменко. Ламычев!

Ламычев. Так точно, товарищ начдив.

Пархоменко. Так твои деды, донские казаки, разговаривали в бою?

Ламычев. Нет, товарищ начдив.

Пархоменко. А как?

Ламычев. Дайте мне полк, я покажу — как! Я же в Отделе снабжения.

Не чай, А если... Троцкий, он ловкий... Сердце у меня болит, товарищ начдив.

Пархоменко. А у меня оно что, железное? Вот Ворошилов пишет: «Продолжая бой за овладение Львовом, мы не только служим магнитом для противника», — притягивая его к себе, понял? — «но и в то же время служим самой серьезной угрозой тылу его ударной группы, которой мы всегда сможем через Люблин нанести сокрушительный удар». Понятно? А тут что же такое происходит? Какой это бой у пе-

реправы через Буг, какая это битва за Львов?

Вбегает Гайворон.

Как там третья бригада?

Василь. Беда, товарищ начдив! Вошла в бой какая-то «шляхта смерти». Поймали мы языка, едва успели спросить... Командует легионерами какой-то генерал Барнацкий.

Пархоменко. А что делает третья бригада?

Василь. Говорят, тот Барнацкий — друг аж самого Пилсудского, привез этой шляхте фотографии с портретом Пилсудского и каждому...

Пархоменко (еле сдерживая себя). Что, спрашиваю, с третьей бригадой?

Ординарец (вбегает). Товарищ начдив! Третья бригада вырвалась из окружения!

Пархоменко. Что с ней?

Второй ординарец. Товарищ начдив! Третья бригада дрогнула, бежит сюда. Бегут наши!

Пархоменко. Ну, и напорется!

Василь. Александр Яковлевич, надо тебе отойти!

Пархоменко. Василь? Чему я тебя учу?

Ламычев. Сомнут свои же!

Пархоменко. Кого сомнут? Да вы все в уме?

Бегут конноармейцы. Пархоменко спокойно идет им навстречу, раскуривая папироску.

Стой! Кому спины показываете? Пану?

Конноармейцы бегут мимо него, не слушая.

Именем революции и именем Ленина, стой!

Конноармейцы остановились.

Голоса:

— Артиллерия не поддерживает!

— А у них сечет и сечет!

— Надо отступить!

Пархоменко. Отступить? Куда отступить? К буржуазной власти? Домой горопитесь? Думаете, поцелуй вас ждут? Так напрасно! Дворовый пес вас не поцелует, не говоря уже о ваших детях. Все забудется, товарищи: голод, холод, нужда, страдания, а вот трусости вашей народ никогда не забудет! Потому что только благодаря нашей трусости могут овладеть нами буржуи. Приказ революции: вперед! Молчание. Конноармейцы мнутя. Подбегают еще.

Голоса:
— Товарищ начдив, командиров перебили!

— Паны идут целой дивизией!
Пархоменко. А хоть корпусом! Вперед!

Молчание.

Голоса:
— Да вот они, на плечах!
— Вишь, сам генерал их ведет!
Пархоменко. Стой, товарищи!

На другой стороне сцены показываются польские legionеры.

Голоса польских legionеров:
— Они остановились!
— Получили подкрепление!
— Видите, у них и генерал приехал!

Генерал Барнацкий, расталкивая legionеров, выбегает с саблей в руке.

Барнацкий. Бессмертные legionеры! За великую Польшу! За Польшу от моря и до моря! Вперед, панове!

Голоса польских legionеров:
— У них орудия...
— Подкрепления...
— Ложись!

Legionеры ложатся.

Голоса среди конноармейцев:
— У них сила!
— Сомнут!
— Ложись!

Конноармейцы тоже легли.

Пархоменко. Эй, генерал! Говорят, вас в специальных институтах учат рубаться?

Барнацкий. А тебя коровы учили бодаться, хлоп?

Пархоменко. Что ж, спасибо и корове! Корова — все-таки не крыса. Может, пан хочет смерить наши сабли? Выходи!

Барнацкий. Срублю, хлоп, голову! Что она тебе, мешает?

Барнацкий выбегает вперед. Legionеры аплодируют. Пархоменко и Барнацкий рубятся.

Пархоменко. Что это за «шляхта смерти»? Умирать шляхта собралась?

Барнацкий. Шляхта несет вам смерть, хлопы!

Пархоменко. Так она и сама сдохнет, без хлопов?

Рубятся.

Голоса польских legionеров:

— Лихо рубит генерал Барнацкий!

— Огонь летит от сабли!

— То искры Польши!

Голоса конноармейцев:

— А лихо бьет Пархоменко!

— Смотри, в плечо!

— Пошатнулся пан?

— То Польша шатается!

Рубятся.

Барнацкий. Смерть вам пришла, хлопы!

Пархоменко. А мы к смерти привыкли, пан! Мы ей надоели даже. Это она вам в диковинку. Сторонись, пан, Львов загоразживаешь!

Барнацкий. Не увидеть вам Львова, как своей жизни!

Пархоменко. Это твоя жизнь кончилась, пан!

Пархоменко ударил. Барнацкий охнул, упал.

Через Буг, товарищи, к Львову, львы! Атака-а!

Голоса конноармейцев: Атака-а!! Ура-а!

Legionеры бегут. Конноармейцы — за ними.

Пархоменко (смотрит на Барнацкого). Зря вас учили! Зря деньги тратили! (К Нечая) А все-таки отлично пан рубился, ничего не скажу.

Нечай. Товарищ начдив, разрешите доложить?

Пархоменко. А где мой конь? Я же велел коня подать! Какой там доклад? Доложи во Львове! Через Буг, вперед, пошли!

КАРТИНА ВТОРАЯ

Неподалеку от Львова. Уже отчетливо можно разглядеть башню городской ратуши, шпицы костелов, линию домов и над ними гору Высокий Замок. Изредка, сквозь канонаду, ветер доносит далекий звон колоколов. Окраинной деревни идут Быковы. Оба они в крестьянском платье, с котомками.

Вера Николаевна. Быков, а коня у нас не угонят?

Быков. Нет, Верочка. Я привесил к нему квиток: «Конь делегата в Красную Армию от деревни такой-то».

Вера Николаевна. Боже мой, как грустно! Вон там, в дымке — прекрасный Львов, а мы — в тылу красных. Опередить бы их на два часа...

Быков. Мы пробьемся, проберемся, Верочка!

Вера Николаевна. Вот воскресенье сегодня, кажется, конец августа. Все должны рвать последние, предосенние цветы и танцовать. А здесь цветы — огонь рядов, а танцует — смерть. И мы, которым судьба дала все, — знания, деньги, поместья, слуг, — потеряли все это и идем к полякам, которых, в сущности, ненавидим, с сообщениями от Махно, которого ненавидим еще больше. Мы приезжаем к Барнацкому, а его уже убили!

Быков. Да, обидно, что мы не успели передать полякам, что Троцкий отдает приказ Конармии отойти от Львова.

Вера Николаевна. Махно, наверно, не одних нас послал. Передаст кто-нибудь другой.

Быков. А если нет? А если Пархоменко возьмет Львов и эти свистуны-подячишки его сдадут? Слышишь колокола? Молятся! Я очень опасаясь, что Пархоменко прорвется. В Харькове ты подослала ему какого-то махновца, который, должно быть, и стрелять не умел.

Вера Николаевна. Не делай глупостей, Быков! Надо пробираться во Львов. Ищи проводника, давай любые деньги, все вещи, всё! Вон, кстати, идут крестьяне, да и вдобавок старики — значит, жадные.

Быков. Конечно, мало уничтожить врага, его важно унижить, важно увидеть его слезы. И я увижу на глазах у Пархоменко слезы унижения! *(Показывает на карман)*. Вот они где! Вот где лежит веревка интриг, которой мы задушим его. Он отступает от Львова.

Вера Николаевна. Однако об этом надо сообщить полякам.

Быков. Иди к коню, Вера! Я поговорю с крестьянами.

Вера Николаевна. Быков, сдержи свою ненависть!

Быков. Да, да! Иди!

Вера Николаевна *(идет, затем остановилась)*. А ты заметил, Быков, что Барнацкий мертвый стал красивее?

Быков. Мертвые все становятся красивыми.

Вера Николаевна. Не все! *(Подумав)* Еще два года назад я верила, что есть родина, семья, чистые души, а теперь — во что я верю? Разве в золото. Золото и мертвеца делает красивым, а самое главное — спокойным. Попомни это, Быков! *(Ушла)*.

Идут старики-крестьяне с хлебом-солью, с вышитыми полотенцами, перекинутыми через плечо. Среди них — Семен Ефаныч Гайворон.

Быков. Нет ли, селяне, среди вас такого, кто лучше к городу дорогу знает?

Семен Ефаныч. А те все, милай, ушли! Те повели передовых. Остались старики. Вот собрали хлеб-соль, несут командованию. Хма-а! Фронт, а они с хлебом-солью! Устарелый народ! А что поделаешь? *(Быкову)* Ты что, делегат?

Быков. Делегат. *(Старикам)* Проводите, мне нужно к Пархоменко!

Семен Ефаныч. А Пархоменко здесь! Он тут поблизости последний план разрабатывает. Как же! Он скоро придет! Эти старики тоже к нему. *(Старикам)* Вы, селяне, не смотрите, что я в обозе! Самые главные мысли всегда в обозе создаются. Там все разъяснения, там и сведенья, там и подкрепленья, выпить-закусить, и туда же пленных ведут.

Первый крестьянин. Пан служащий, можно вас спросить?

Семен Ефаныч. А чего не спросить? Я к тому приставлен.

Первый крестьянин. Как у красных, пан служащий, насчет бога?

Семен Ефаныч. Бог? Бог у них большей частью сам по себе, а они сами по себе. Бога они не трогают, но попов, которые советскую власть обижают, тех жмут, верно! Попов мне тех жалко, но что поделаешь, надо!

Второй крестьянин. Пане служащий, а как у них с землей?

Степан Ефаныч. С землей? С землей так — что берут у помещика и отдают тебе. Очень все просто у них. В чем, в чем, а в земле они понимают!

Быков. Чего ты мелешь глупости?

Семен Ефаныч *(Быкову)*. А ты пострадал?

Быков. Страдал.

Семен Ефаныч. За что страдал?

Быков. За всякое.

Семен Ефаныч. И от помещика страдал?

Быков. Тьфу!

Семен Ефаныч *(крестьянам)*. Очень больно пришлось пострадать человеку! Смотри, ему и вспомнить даже трудно! Рассказать не может. Смотрите, селяне, какое у него лицо темное!

Быков. Уложили под Львовом вы четыре тысячи человек и половину своих офицеров — где вам взять Львов?

Семен Ефаныч. Не, ты, милай, говорить неспособен. Ты, милай, дай мне сказать! Я скажу, пока сын не пришел. Он мне говорить не дает. «У тебя, — говорит, — отец, язык легкий». Гордый он у меня! Хе-хе-хе! А сам всё свадьбы не успевает справить, свадьбы, значит. Так вот, милые, четыре тысячи уложили. Верно! Уложили! А за что? За народ. Это очень ясно, милай, ясно. А Львов все-таки возьмем, иначе нельзя. *(Указывая на Быкова)* Как пострадал селянин! И как огорчен! И голодный, должно быть! *(Достает из-за пазухи краюху хлеба)*. Поглодай, милай, паёк! Да вот и молочка старушка какая-то дала. Нас, обозных, любят. . .

Быков берет краюху хлеба, бутылочку с молоком и отходит в сторону. Семен Ефаныч наблюдает за ним изредка.

Не ест, милай, не ест! Волнуется! Должно, за Львов. Возьмем!

Входит Пархоменко. За ним — штабные: Ламычев, Нечай.

Пархоменко. От Колоколова какие сведения? Ну, вот переправились через Буг, а дальше? Опять задремали? Как на фланге у третьей?

Нечай. У третьей сегодня благополучно. Возле Каменки взяли два бронепоезда.

Ламычев *(смотрит в бинокль)*. Добрый город Львов, Александр Яковлевич! Видишь?

Пархоменко. Еще плохо! Четвертая кавалерийская идет на Львов уже с севера. Шестая — с юго-востока. А мы?

Нечай. А мы идем с юга, товарищ начдив.

Пархоменко. Чтоб сегодня же закончить львовскую операцию!

Седой крестьянин подходит.

Седой крестьянин. Здравствуйте, пан льцарь! Не вы ли будете пан генерал Буденный?

Семен Ефаныч дергает его за рукав. Но седой крестьянин ведет свой чин, как он решил.

Пархоменко. Буденный? Нет! У того ус гуще.

Седой крестьянин. Так, значит, вы пан генерал Ворошилов?

Пархоменко. Ворошилов? Нет! У того ус тоньше.

Седой крестьянин. Так среди нас говорят, что в селе нашем остановился пан

льцарь Пархоменко. Не вы ли будете пан генерал Пархоменко?

Пархоменко. Пархоменко? А может, и он!

Седой крестьянин. Хлеб-соль от украинских братьев!

Семен Ефаныч *(выходит вперед)*. Они хотели, чтоб речь, товарищ начдив, для умиления полного!

Пархоменко. Речь? Можно! Открывай собрание, Семен Ефаныч!

Семен Ефаныч важно становится на возвышение рядом с Пархоменко. Поднял руку.

Семен Ефаныч. Украинские селяне! Открываю собрание походного дела. Речь будет говорить начдив Пархоменко: ясно, человек справедливый. Говори, Александр Яковлевич!

Пархоменко. Селяне! Товарищи! Всё — поля, хлеба, дома, скот, земля, вода, озера, реки, сады — всё, что не принадлежало вам раньше никогда, теперь ваше. И всегда будет ваше. И — точка!

Крики «ура». Пархоменко хочет сойти с возвышения.

Семен Ефаныч *(мечется)*. Вот горе! Что ты там делаешь? Я же тебе хлеб дал!

Он заслоняет собой Пархоменко. Выстрел. Семен Ефаныч падает. Толпа бежит на звук выстрела. Семен Ефаныч умирает.

Василь! Василь, слышь? У меня в мешке для свадьбы... припасено... Василь, милай...

Голоса: Поскакал! Лови его, селяне! К лесу, к лесу!

Вбегает Василь.

Василь. Александр Яковлевич, целый полк легионеров сдается, только требует, чтоб разрешили им своего полковника растерзать, поскольку он зверь был. Я думаю, что раз они еще белые, так пусть!

Пархоменко. Иди сюда, хороший мой Василь!

Василь *(подходит)*. Батька? Кто его? Кто батьку?

Пархоменко *(указывает на город)*. Он! Тот, что засел в городе, предатель, убийца, враг людей, народа, всех, кто знает правду! К городу, товарищи, к Львову! Отомстим за наших павших! *(Идет)*.

Вбегает запыхавшийся Ординарец.

Ординарец. Товарищ начдив Пархоменко! Пакет из штаба фронта. Приказ главкома Троцкого.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Пархоменко встревоженно остановился. Он медленно подходит к Ординарцу, берет пакет, разорвал, прочел. Лицо его темнеет. Он скомкал бумагу и сунул ее в карман. Молчание.

Какой ответ штабу фронта, товарищ Пархоменко?

Пархоменко. Какой ответ? (Он положил руку на саблю. Ординарец попятился. Пархоменко сдержал себя. Потупил голову). Какой ответ? Приказ будет выполнен.

Ординарец ушел. Пархоменко стоит, потупив голову и глядя на труп Семена Ефаныча.

Будет исполнено! Пять верст до городской рагуши, вон я вижу ее — и будет исполнено! Семь дивизий польских приковали к себе, разгромили бы сейчас — и будет исполнено! Там тысячи красных добровольцев, снаряды, отсюда удар в тыл всей польской армии — и будет исполнено! О-о-о, простите меня, товарищи, павшие у стен Львова! Прости и ты, Семен Ефаныч, что смерть твоя осталась неотомщенной! И ты, политком Польшин, и ты, комсомолец-герой Марченко, и ты, комиссар Смирнов, и все вы, тысячи героев, бившиеся у Львова! Знать, напрасно загубили вы свои души! (Тяжело вздыхает). Гайворон, прикажи трубить отбой!

Все:

— Отбой?

— Как отбой?

— Город уже в наших руках, — и отбой?

— Кто приказывает отступить?

Пархоменко. Приказывает отступить Троцкий.

Ламычев. Бунт поднимаю!

Пархоменко. Похоже, мечтает он и о бунте. Но не дожидутся они бунта в Красной Армии. Будет, чуя, исполнено другое! Есть партия! Есть большевики! Есть Ленин! Есть Сталин! Найдем правду! Трубы, Гайворон!

Трубы. Пархоменко глядит в последний раз на город в бинокль.

Добрый город Львов, да недоброе случилось у его стен!

Пархоменко сорвал бинокль и бросил его. Ушли. Молчание. Вдали пылает город. Показываются крестьяне. Они с тоской смотрят вслед уходящим.

Седой крестьянин (берет с пола бинокль, брошенный надивом, и кладет его за пазуху). Надо сохранить! Я так располагаю, селяне, что вернется сюда лыцарь Пархоменко.

Большая украинская хата, видимо принадлежавшая еще недавно кулаку. Печь. В углу — кровать за занавесью. У печи — пианино, должно быть вымененное в городе. Посредине хаты — большой стол. За ним — молодые, Дружок, Ламычев. У рояля стоит фотограф с громадным аппаратом «пушкой».

Хор девушек (поет):

Прихав Василь з дружиною,
Батенькови в ниженьки вклонився:
Не гнивайся, мий батеньку, на мене,
Що прихъз с дружиною до тебе...
Ой, не гнивайся, мой синопьку,

як ти рис,

Не гневаюсь, що дружину ты привиз...

Ламычев. Поют добре, а вот жаль, Семен Ефаныч, покойный друг, нас не слышит! Нечай, дай огорченье залить! (Поет). Дети, будьте счастливы! Отцы вам так велют. Пойте и танцуйте, дети, от этого жизнь длиннее бывает! Харитина Григорьевна, вам не противно будет, если моя дочь станцует?

Харитина Григорьевна. Я всегда любовалась вашей дочерью, Терентий Саввич.

Ламычев. Выходи, Лиза! Харитина Григорьевна, а, извините, вам не будет противно, если в паре с моей дочерью пойдет мой будущий зять?

Харитина Григорьевна. Вашим будущим зятем, Терентий Саввич, любитесь вся дивизия.

Ламычев. Фотографа!

Пархоменко (входит). Что это за свадьба? Вместо чарки фотографом угощают?

Ламычев. У меня у самого сердце кровью обливается, Александр Яковлевич, но только кроме браги ничего не достал.

Пархоменко. Тысячу лет пили наши деды брагу, а чем мы хуже? (Поднимает ковш). За здоровье молодых! Пусть им живется широко, весело, пусть у них будет столько детей, чтобы не вместились в эту хату! (Смех). Хотел ты, Терентий Саввич, праздновать эту свадьбу неделю целую...

Ламычев. И спраздную! Кто помещает? Мешали мне денкиницы — убрали их в Черное море. Мешали паны — убрали их в землю-таки! Вылез мешать нам барон Врангель — и барона того мы столкнули аж с самого Чатырдага. И спраздную я ту свадьбу...

Пархоменко. И спразднуешь ты ее третий день. Горько!

Крики: «Горько!» Молодые целуются. Фотограф установил аппарат. Лица всех стали напряженные, позы неестественные. Сверкнул магний, и лица опять приняли обычное выражение.

Третий день празднуешь ты, Терентий Саввич. И неделю попразднуешь. А по моему, мало! Поэтому я, от лица командования дивизии, объявляю награду заслуженному командиру Ламычеву: каждый день свадьбы, по случаю военного времени, считать за месяц!

Хохот. Нечай садится к пианино и играет польку. Молодые танцуют.

Василь (танцует). А молодая-то на меня и не смотрит, Александр Яковлевич!

Лиза. Что ж на тебя смотреть? Еще посмотрюсь! (Танцует).

Василь. Может быть, мне сейчас хочется, чтоб ты на меня любовалась?

Лиза. Что ж любоваться, если и так всего вижу? (Танцует).

Пархоменко. Еще раз — горько!

Вдалеке выстрелы.

Ничего, танцуйте! Это махновцы задумали к штабу дивизии прорваться и вырезать нас. Так я их велел там встретить ксе-чем. Ишь ты, узнали о назначении и предполагают на переполох взять!

Харитина Григорьевна. О каком назначении, Саша?

Пархоменко. Велено нам догнать Махно. Догнать и уничтожить.

Танец стихает. Гости, один за другим, уходят. Остаются Ламычев, Нечай, Пархоменко, Колоколов и еще два командира. Харитина Григорьевна уходит в соседнюю комнату, но быстро возвращается.

(Садится за стол). Придется гнать Махно так, чтоб он земли под копытами не чувствовал и чтоб как пал с коня, так не встал больше. Кстати, Нечай, которую лошадь Махно мобилизовал у селянина? Каждую?

Нечай. Каждую четвертую.

Пархоменко. Когда Махно мобилизует каждую вторую, все селяне повернут к нам и отдадут нам последнюю лошадь, только догони бандита!

Ламычев. Пища у нас слабая. Гнать-ся трудно!

Пархоменко. Прибавлений к пайку не предвидится. Зима выходит лютая, но, тоже чую, последняя голодная зима, тысяча девятьсот двадцатого года. Ух, тяжело народу, товарищи, так тяжело, что и не расскажешь! Тиф, холод, голод, а тут еще кулацкий террор. Сделали много — верно,

но многого недоделали. Вот очищали мы армию от подлецов и очищали иногда слабо. Некоторых надо было бы на месте уничтожить, а они ухитрились убежать и сейчас опять вредят нам. Например, мне сегодня сообщили, что в штабе Махно в роли польско-французского консультанта находится Быков.

Движение.

Да, так! Красноармейцы у нас верные, но это не значит, что о них надо мало заботиться. Чем вернее человек — тем больше надо о нем забот. Сейчас, в погоне за Махно, придется проскакать, небось, тысячу верст.

Колоколов. Может быть, и больше!

Пархоменко. Даже наверно больше! Бойцы будут уставать, и это понятно. А при усталости ослабнет иногда и вера. Товарищи! Постоянно думайте об усталости и боритесь с ней! Держите огонь веры неустанно, как его держит Ленин. Я сам слышал, как он сказал: «Большевики никогда никому не отдадут Украину». Да! Никому! Мы все собрались здесь разные. Одни — в партии, другие — нет. Но все мы — большевики. И мы должны отвечать на эти слова Владимира Ильича, отвечать, если понадобится, своей кровью. Так ответил на слова эти Семен Ефаныч, даже и не думая, что он отвечает на эти слова. Он-то все думал, что бьется за свои Причепы и свою хатенку, а уже бился за всемирную революцию.

Колоколов. И мы ответим!

Пархоменко. Вот Колоколов. Кто он был? Капитан, родом из захудалого дворянского гнезда. Среда дикая, ошалелая от войны. Но он нашел в себе искорку, разжег ее в огонь и пошел с нами. Вначале он все орал: «Я дал слово дворянина, дворянина!» А на-днях приходит ко мне и спрашивает: «Как вы думаете, товарищ начдив, мое дурацкое происхождение не помешает мне вступить в партию?» Я ему и говорю: «Ты свое происхождение не ругай, это ни тебе, ни мне, ни партии не надо! А вот что думаешь ты кое в чем правильно, это приятно». Или вот Нечай. Рабочий. Отец его мой дружок был. Нечай этот ненавидел Колоколова. Было?

Нечай. Было, товарищ начдив.

Пархоменко. Ненавидел страшно! «Дворянин! Знает больше меня. И я, заслуженный пролетарий, на выучку к нему пойду?» Колоколов же, действительно, мно-

го читал и кое-что знает. Даже Маркса читал, а?

Колоколов. Читал, товарищ начдив.

Пархоменко. И ко всему тому, значил я Нечая начальником штаба. Значит, учиться надо усиленно. И что же? Сдержал себя Нечай и пошел на выучку. И ничего, подружился! И — точка! Или вот Гайворон. Так, обычный деревенский парень, а смотрите, что произошло за два года! Как дуб вымахал! Нет, не зря мы воевали! Это такой университет окончили, что науки этой нам лет на сто хватит. А красноармейцы? Лекции на ходу, на коне слушают. Книги читают. И какие! Еду по фронту. Смотрю, один скачет в село, обратно. «Куда? Село занято врангелевцами». — «А я там, товарищ начдив, книжку Ленина забыл, надо отнять. Редкая по уму книжка». До слез меня это пробрало. Ведь я же его знаю!

Нечай. Лузан?

Пархоменко. Верно! Павел Лузан. Да он всю жизнь босиком ходил, спал в сених да на сеновале, а теперь... Нет, народ у нас хороший, с таким народом как не победить! (Встал). Завтра выступать рано, подите сосните, товарищи! Терентий Саввич, я ночью смотрел, подковы твои никуда не годятся. Глина, а не железо!

Ламычев. Такие из Екатеринослава прислали. Я им уж такую ругань сообщил!

Пархоменко. Руганью не только подковы, кнопки не выкуешь. Собери деревенских кузнецов, устрой совещание, разъясни им, для чего подковы нужны. Железа нет — сними шины с телег, бороны...

Командиры уходят. Пархоменко проводил их до дверей. Остался Нечай и Харитина Григорьевна.

Нечай. А вы бы тоже ложились, товарищ начдив!

Пархоменко. Почитаю немного и лягу. (Садится у лампы. Нечай уходит в соседнюю комнату). Ветер резкий сегодня, глаза как прутьями набило.

Харитина Григорьевна. Прощаю ночь не спал, работал, а сваливаешь на ветер.

Пархоменко. Это верно. Ты у меня, Тина, хорошая, все видишь! Иди спать! (Подходит к ней и целует руку). И рука хорошая, много работала! Милая рука, надо ей отдыхать!

Харитина Григорьевна. Ты что задумал?

Пархоменко. Ничего я не задумал.

Харитина Григорьевна. Ну, уж я-то знаю тебя! Ничего! Если ты задумал, чтоб я в Екатеринослав уехала, так не поеду.

Пархоменко. Что ж ты, с детьми за махновцами будешь гнаться?

Харитина Григорьевна. И буду! Ездил в эшелонах, поедем и в тачанке. А степь — она везде одинакова.

Пархоменко. Я буду волноваться за тебя, за детей.

Харитина Григорьевна. Да ты и без того всегда волнуешься! Будем вместе волноваться. Я уже с Лизой Ламычевой сговорилась: она меня в лазарет берет, буду работать. Я без работы не могу. Что мне в этом Екатеринославе делать?

Пархоменко. Ну ладно, ладно! Начнет кричать! И до чего эти бабы крикливы! (Целует ее). Так думаешь, догоним Махно?

Харитина Григорьевна. И не таких догоняли!

Пархоменко. Догоним! (Садится к пианино). Замечательный инструмент! Кулак — он знает, что тащить из города.

Харитина Григорьевна. Ложилась бы ты спать!

Пархоменко. Сейчас! (Ударяет то в один клавиш, то в другой). Чем лучше будут жить люди, тем замечательнее будут у них музыкальные инструменты. А вот скрипка, думаю, всегда при нас останется. В германскую войну стояла наша часть в большом парке, и еще стоял там лазарет. Иду я раз, осенью, мимо лазарета. На траве иней в вершок, холодно, я даже рукавички надел. Вечер. Смотрю, стоит на балконе, — а окна там разбиты, — стоит солдат в больничном халате, тощий и даже шатается от слабости. И в руках скрипка. И играет. И так, — понимаю, — этому солдату умирать не хочется, что, не поверишь, у меня вся рукавица от слез мокрая. Много и ораторов слышал, много книг прочитал, много песен пропел, а вот такой тоски о погибающей напрасно жизни, об ушедшем и никогда не испытанном счастье не слышал. (Берет е за руки). Тина! И решил я сказать солдату о нашей клятве, что будем мы, большевики, биться за человеческое счастье всю нашу жизнь. Что, мол, если тебе не успеем завоевать, так завоеем твоему сыну. Пошел. И знаешь, кто это был? Андрей Нечай, — я не узнал его издали, — отец нашего начштаба Нечая. Я

даже никогда и не думал, что Андрей так на скрипке играть может...

В соседней комнате слышны звуки скрипки.

А это сын его играет! Ты слушай, Тина! Это совсем, совсем другие звуки! Бодрые, счастливые! Отличный инструмент—скрипка. Как его можно отменить?

Харитина Григорьевна. Так же, как и твое сердце, Саша!

Пархоменко. Хорошая ты у меня, Тина! Иди, спи! Я почитаю малость.

Жена уходит за занавеску. Пархоменко садится за стол, раскрывает книгу. Скрипка поет. Пархоменко слушает. За окном бьется метель.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Оледенелый лес. Последние дни декабря. Украина. Костры. Ночь. У костра махновские «батьки». Быков и Махно.

Махно. А-ах, дюже холодно! Чередняк, дай водки! *(Наливает)*. Ха-ха-ха! А ты в Мадриде бывал?

Быков. Приходилось, батько.

Махно. Большой город, а? Красивый?

Быков молчит.

Вот бы зажечь! Ха! Екатеринослаз я жег, Мелитополь жег, Ростов жег, — шо мне Лондон или Париж не зажечь?

Быков. Батько!

Махно *(закусывая)*. Ну?

Быков. Надо мобилизовать у селян еще по одному коню.

Махно. Не можно.

Чередняк. Чего у поляков не мобилизовал, а к нам прискакал?

Быков. Артиллерия заграничная, хорошая, а вязнет в снегу. И сейчас вот отстала. Коней нехватает, батько!

Махно. *(пьет)*. Не можно.

Быков. Кроме того, от интернациональных лозунгов пора отказаться. Надо говорить о «маты Украине», дать народу универсал.

Махно. Уходи! Надоел! В Лондоне тебя б били как шулера, в Париже котом бы был, а здесь... Шо ты можешь? Послал я тебя в Польшу, так ты и там ничего не сделал!

Быков. Я завязал связи, батько.

Махно. Уходи!

Все отошли. У костра остаются Махно и несколько поодаль Вера Николаевна.

Ненавижу!

Вера Николаевна. Кого, батько?

Махно. Ненавижу Пархоменко. Спать не могу, водка не пьянит. Никому не верю! Куда ни скачу, он везде меня за горло рукой. Железной рукой меня за горло! Он! Кто он? Пархоменко? Откуда он вырос?

У меня ноги болят, я ехать не могу... Сколько дней не спал в тепле... Ненавижу!

Молчание. Махно подходит к Вере Николаевне и садится.

Вера Николаевна. Я замужняя.

Махно. Можно развести.

Вера Николаевна. Каким образом?

Махно. Не образом, а обрезом. *(Он подает ей рюмку. Она ее выплескивает в костер)*. Ты о чем думаешь, баба?

Вера Николаевна. Надо скорей забирать казну, Нестор, и—за границу!

Махно. Нету у меня казны! Кто сказал?

Вера Николаевна. А зачем мы в этот лес свернули?

Махно. Нету у меня денег!

Вера Николаевна *(рассматривая карточку)*. Вот вчера, пьяный, вы раскидали бумаги, и я нашла между ними визитную карточку. Француза. Я знаю его. Он бывал у нас в Петербурге. Говорят, он управляет французской контрразведкой. Не знаю, может быть. Но и он примет нас только тогда хорошо, когда у нас будут деньги.

Махно. Нету у меня денег!

Завертывается в тулуп. Вера Николаевна отходит. У второго костра, поменьше, разговаривают тихо и осторожно «батьки», куря трубки.

Чередняк. Паскудная зима: то снег, то слякоть!

Правда. А он все-таки за нами скачет!

Чередняк. Кто?

Правда. Да он же, батько Чередняк!

Чередняк. Скаче, батько Правда!

Каретник *(вздыхнув)*. Добре скачет!

Они ж молодые, а мы старики.

Чередняк. Где нам их обскакать, батько Каретник!

Курят, крикают и, не особенно доверяя друг другу, смотрят в землю.

Правда. Надо б забрать казну, батько Чередняк, да...

Чередняк. Что тогда? Да кому вы хотите отдать казну, батько Правда?

Правда. Да никому ж!

Курят. Опять томительное молчание и курение.

Чередняк. Положим, говорят, что он и сам из селян, из-под Луганска.

Правда. Да кто?

Молчание.

Каретник (*нерешительно*). Вы, батько Чередняк, думаете, можно попробовать?

Чередняк. Я, батько Каретник, так не думаю. За меня конь думает. Селянин не дает нам коня. А вы иначе думаете?

Правда. Я? А я с чего буду думать, что мне надо к Пархоменко с нашим золотом явиться?

Чередняк. Ой, хлопотно! Пойдем, я расскажу, где казна лежит! Батько, кажись, заснул.

Батьки тихо и осторожно уходят в лес. Зажегся и мелькнул фонарь, другой. Махно вскочил и смотрит в лес.

Махно. Кто там ходит по лесу?

Вера Николаевна. Это волки, батько.

Махно. А где Быков?

Вера Николаевна. Осматривает лагерь.

Махно. А где Чередняк? Каретник? Где Правда?

Вера Николаевна. Ушли к своим отрядам.

Махно. Ненавижу!

Вера Николаевна. Проскользнем за границу, Нестор. Ну, что нам здесь делать? Тупая, грязная страна! Тупые, грязные люди. А ты за границей целые миллионы анархистов поведешь!

Махно. Э, надоели они мне! Ха-ха! Мне бы выстроить дачу... у моря... Я бы у ней заборы сам красил. Я лихо могу красить, баба! А потом напиток пьяному и зажечь! Ха-а! Нету у меня денег!

Крики. Шум. Выстрелы. Вбегает Махновец с палочкой, тот, что стрелял в Харькове в Пархоменко.

Махновец с палочкой. Пархоменко скачет!

Махно. Ну, что ты, дурак, кричишь? Ну, натислся и спи!

Выстрел. Махновец с палочкой упал.

В колодец!

Быков (*подходит*). Как я и предполагал, батько, артиллерию нашу всю отбили.

Махно (*грустно садится у костра*). Подбрось дров! Позови Аршинова! И Каретника, Чередняка, Правду! Всех батькив!

Аршинов. Я здесь, батько! Аршинов.

Быков. Три наших отряда разбиты. Четвертый кавалерийский сдался без боя. Седьмой кавалерийский...

Махно. Врешь! Аршинов, где Каретник и Чередняк?

Аршинов. Их нет, батько.

Махно. Как нет? Они только что были здесь.

Аршинов. Они убежали, батько.

Махно. Куда?

Аршинов (*подавая листки*). Вот тезисы, батько!

Махно. Никакие тезисы не помогают!

Аршинов. Тезисы моей книги, батько. Ты — великий анархист. Я напишу о тебе книгу, и мы ее напечатаем за границей.

Махно. А сколько мне за нее дадут?

Аршинов ошеломлен.

Ха-а! Ты что ж думал, на мои деньги печатать? Нету у меня денег! Уходи! Стой! Вот приказ! Мобилизовать всех коней у селян! И составить универсал к украинскому народу. Скажешь, Аршинов: «Бейте, селяне, незаможных кровопийц вместе со мной, чтоб вольно жилось ридной маты Украине». Ха-а!

Быков. Никакие тезисы не помогают.

Махно (*рассвирепев*). Ты? Ты? Ты сейчас же поедешь к Пархоменко! И скажешь: «Махно сдастся. Он возле Юстингородка». И уведешь его из этого леса. Мы тебя отобьем.

Быков. Ты хочешь от меня освободиться, батько? И ты, ты, Вера?

Махно (*хохочет*). Дурак! Ха-а! А еще из генерального штаба! Ха-а! Освободиться? Что, я не могу убить тебя здесь? Кто мне запретит это сделать? Кто?

Молчание.

Иди!

Быков. Вера!

Вера Николаевна. Иди, Быков! Война!

Все ушли. Махно один у костра. Он всматривается в тьму.

Махно. Ненавижу! Откуда он вырос? Кто он? Ой, там скачут по лесу! Тачанки, слышите? Тачанки!

Голос от соседнего костра. Спи, батько! Это ветер. Это ветер шумит по лесу. Вот и снег пошел! Спи, батько!

КАРТИНА ВТОРАЯ

Там же утром, через день. Остатки костров, у которых еще недавно сидели маховцы. Пархоменко держит в руке большую карту и показывает Нечаю и Колоколову.

Пархоменко. Так как дорога обледенела и конь спотыкается, то вторую бригаду спешить и пустить ее вот здесь, оврагом, по направлению к Бузовке. В Бузовку усиленную разведку, Колоколов!

Ординарец (подходит). Первая бригада охватила противника с юга, товарищ начдив. Шестой кавалерийский гонит противника с севера. Просят разрешения спешиться. Лед!

Пархоменко. Можно. Где штаб Махно? Узнали?

Ординарец. Никак нет! То ли в лесу, то ли в селе.

Пархоменко. Обнаружить во что бы то ни стало! Сегодня же надо закончить Махно!

Колоколов потягивается и ежится.

Вы чего, Колоколов?

Колоколов. Промерз. Александр Яковлевич. Голова совсем не варит. Чаю хотел выпить покрепче и то не нашел!

Пархоменко. А мы сейчас! Тина, Тина-а!

По лесу несется эхо.

Харитина Григорьевна, спутник жизни, э-эй!

Голос Харитины Григорьевны. Здесь мы! Чего?

Пархоменко. Выдай Колоколову чаю! У тебя наверно заветная щепоточка хранится. (Ординарцу) Иди, хозяйка выдаст чаю!

Слышен стук тачанки.

Ламычев (с тачанки). Доброе утро, товарищ начдив!

Пархоменко. И тебе доброе, Терентий Саввич! Промерз?

Ламычев. У, не говори! Что за лес, скажи, пожалуйста!

Ламычев выходит с дочерью. В руках у нее — толстая папка. У него — тоже не меньше. Пархоменко отмахивается шутиво.

Пархоменко. Того и гляди — бой, а они с бумагами!

Ламычев. Я теперь так понимаю, что боя без хорошей бумаги не выиграешь.

Ламычев разворачивает папку. Подходит Ординарец с чайником и кружками. Наливает чай. Все прихлебывают. Пархоменко смотрит в бумаги.

Пархоменко. Но до чего ж длинно и подробно! Слушай, Ламычев, которую лошадь Махно мобилизовал у селянина?

Ламычев. Третьего дня — последнюю.

Пархоменко. А сегодня утром ж нам батьки прибежали и еще кое-кого с собой привели. Гайворон, у тебя они? Веди! Гайворон вводит под конвоем Чередняка, Правду и Каретника. За ними идет Быков.

Правда? Чередняк? Каретник? Узнаю. По фотографиям. А этого, четвертого, и сам знаю. Быков?

Быков. Быков.

Чередняк. Помилуй, начдив! Все поняли! Заблуждались! Вот тебе Быкова перехватили, и вот... (Наклоняется и сыплет из-за пазухи монеты и золотые вещи). Вся маховская казна! Ее там (указывает на лес) — семь бочек. Все тебе!

Каретник. Сохрани только наши души!

Пархоменко. В Особый отдел!

Чередняка, Правду и Каретника уведят. Быков стоит, потупив голову.

А вы не сильно постарели, Быков, хотя дрались с нами со всей заботой! Как же вы это жену-то у Махно оставили?

Быков (передернувшись). Разрешите мне его убить собственной рукой! Как милости прошу. Последней! Я виноват перед вами. С того момента, как вы спасли мне жизнь...

Пархоменко (удивленно). Где это я вам спас жизнь?

Быков. Царицын, ночь, у аптеки, грабители...

Пархоменко. Так это вы были? То-то мне ваш голос казался знакомым!

Быков (пораженный). А разве вы меня в Москве не узнали? И в Харькове? Боже мой! А я из-за этого... из-за чувства вашей погони я измял свою жизнь, исковеркал, испортил! Я гнался...

Пархоменко. За мной?

Быков (спохватившись). Нет, нет! Я не хотел вас уничтожить.

Пархоменко. И сейчас еще, Быков, вы пытаетесь лгать. Я много о вас думал плохого, но подумать, что человек, которому я спас жизнь, мог на меня клеветать и лгать, — это мне и сейчас подумать противно.

Быков. Я приехал служить честно и клянусь...

Пархоменко. В Особый отдел!

Быкова увели.

Ламычев (пишет с наслаждением).
«Золота — четырнадцать пудов три фунта — в сплюсненном виде...»

Пархоменко. Чего это ты, Терентий Саввич?

Ламычев. Казна махновская. Ты посмотри, сходи!

Пархоменко. И дотронуться противно, не могу! Сколько загублено жизней, сколько пролито крови, сколько замученных! Сегодня, когда заняли этот лагерь, нашли девять трупов незаможников. Звери, звери! Будем думать о другом, о хорошем! (Василю) Вчера всю ночь с Колоколовым не спали, работали. И целую ночь, Василь, шел дождь со снегом, а к утру вдруг подморозило. Я вышел из землянки. Тишина! Только караульные ходят по лесу, да поскрипывают у них сапоги. Небо ясное, и звезды, как всегда перед рассветом, светили так, как будто им никогда не предстоит светить. Версты за три услышишь, как оторвется и упадет тяжелая от льда ветка сосны. И захотелось мне, товарищи, в поле. Ух! В широкое, свободное украинское наше поле! И так защемило сердце, что дух захватило. Хорошо жить, товарищи, честное слово! Хорошо дотронуться вот до этого дерева, до кудрей Ламычева, до руки Лизы, думающей о своем Василе.

Лиза. Я думаю, как и вы, товарищ начдив, как добить Махно.

Пархоменко И, вместе с тем, думаешь о Василе. А вы думайте, не стесняйтесь, пожалуйста! Головы у нас крепкие, на все места хватит. (Гайворону) Поехали! Два эскадрона — в охват Бузовки, остальные за мной. Коновод, коня поведешь за тачанкой, а я поеду с Ламычевым. К стати и бумаги ламычевские рассмотрим.

Гайворон (уходя, Лизе). Тачанку вести шагом! Эскадрон спешен.

Голос Харитины Григорьевны. Саша! Саша!

Пархоменко. Часа через три вернемся, Тина. Из Бузовки бой виднее, чем из лесу. Все хорошо. И — точка! Не выпускай Ваню в валенках! Сейчас отгадет.

Ушли. Стук тачанки. Нечай собрал карту и пошел в лес, откуда слышится голоса. Выходят три раненых красноармейца.

Третий красноармеец (продолжая рассказ). Я, значит, кричу: «Не могу,

замерзаю, который день стоим в лесу, то снег, то дождь! Зачем здесь гибну? Провокация!» И думал я, что застрелит меня начдив.

Второй красноармеец. Такие люди к урожаю, такой не пристрелит.

Третий красноармеец. И верно! Посмотрел он на меня так ласково, что все сердце прожег, и говорит: «Да, тяжелый фронт! Но ведь мы присягали революции». И ведет он, Пархоменко, меня к врачу, так как я ногу отморозил. Но я ему: «Мне в битву надо». А он: «Успеешь».

Первый красноармеец. Эва! Погнал! Не удержался! (Смотрит на поляну).

Второй красноармеец. Кто?

Первый красноармеец. Кто? Начдив! Гайворон-то свой эскадрон спешил, Пархоменко его обогнал да как ударит по коням! Слышишь, дорога-то как будто каменная!

Издали слышатся гикание и постукивание колес тачанки.

Третий красноармеец. А кому интерес сидеть в лесу?

Первый красноармеец. Во-о! Гони-и! Гони-и, Александр Яковлевич, давай!

Второй красноармеец. Во-о! Ух, пошла! Эх! Вожди бы мне, я показал бы, как надо править!

Первый красноармеец. Еще, еще! Ишь ты, за холм ушли, к самой Бузовке! Жалко! (Садится).

Третий красноармеец. А то вчера такое: идет он, начдив, с Гайвороном, дружкой. Идет. Дорога гладкая. Споткнулся, упал, ногу зашиб. И, чтоб не подумали, что больно ему, запел. Хорошую песню спел. Вот эту:

Светит месяц, светят звезды,
Светит белая заря,
Осветила путь-дорожку,
Вплоть до милого двора.

Я пошел бы к милой в гости,
Да не знаю, где живет.
 Попрошу я друга Васю,
 Пусть меня он доведет...

Второй красноармеец. Хорошая песня, ласковая!

Трое повторяют песню.

Первый красноармеец. Смотри, товарищи, что это? Лиза Ламычева, как-жись, обратно скачет?

Второй красноармеец. И на коне начдива?

Первый красноармеец. Товарищ Нечай! Товарищ Нечай! Иди сюда! Где-то далеко слышны выстрелы. Вбегают Нечай и Харитина Григорьевна. Тотчас же появляется Лиза.

Харитина Григорьевна. Лизанька? Что там такое? Я слышу топот... Конь Саши...

Лиза (*сдерживая себя*). Харитина Григорьевна, там в палатке Александр Яковлевич папку с бумагами забыл.

Харитина Григорьевна. Только что убирала. Нету!

Лиза. Он ждет, Харитина Григорьевна! Харитина Григорьевна, недоуменно пожимая плечами, уходит в избушку сторожа. (*Быстро и умоляюще*) Нечай, голубчик! Пархоменко у махновцев.

Нечай. Все по коням! Пархоменко у махновцев!

Голоса разносятся по лесу: «Пархоменко у махновцев».

А как же, разведка разве не была в Бузовке?

Лиза. Не знаю. Колоколов устал, что ли, забыл... Он там, Колоколов. Его зарубили. Он, когда увидел махновцев, говорит: «Наши! Сейчас узнаю», и поспекал туда. Тогда Александр Яковлевич посадил меня на своего коня и говорит: «Лиза, скачи за помощью!»

Харитина Григорьевна. Что с Александром Яковлевичем? Нечай, а куда девался Гайворон?

Лиза. Он там... он возле Бузовки... все там! Нечаяшка, милый!

Голос Нечая. По коням, товарищи, Пархоменко у махновцев!

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Лощина у Бузовки. Оледенелый холм, с которого спустилась тачанка. Рига, хаты. Посредине лощины — тачанка, убитые кони. За тачанкой — Пархоменко.

Пархоменко (*стреляя из маузера*). Берегите патроны, товарищи! (*Стреляет*). А, еще один! Ламычев, есть у тебя патроны? Ламычев? Молчит. Добрый был товарищ! Рубинштейн, есть у тебя патроны? (*Стреляет*). Еще один! Рубинштейн, дай мне патроны! Молчит. Вечная память! Добрый был товарищ!

Наклонился, ощупал карманы, патронташ. В это время из-за риги показалась голова какого-то махновца. Пархоменко выстрелил. Махновец упал.

Еще одной гадиной меньше! А патронов нет! (*Гладит левую руку*). И руку еще пробили! (*Он подпирает левое плечо винтовкой как костылем, с трудом вынимает саблю*). А все-таки здорово дрались!

За ригой и хатами слышны голоса.

Первый махновец. А они молчат! Второй махновец. Патроны кончились!

Третий махновец. Притворяются! Первый махновец. У них еще пулемет!

Второй махновец. Нету пулемета! Первый махновец. Выходи, батько! Перебили мы их.

Осторожно из-за риги и хат показываются, один за другим, махновцы. Пархоменко стоит, прислонившись к тачанке. Пауза. Махновцы, пригнувшись, смотрят на него. Кое-кто вынул обрез. Сделали два-три шага, остановились. Наконец, показался и сам Махно.

Махно. Кто ты там стоишь?

Пархоменко. Пленных пришел переписывать. Как твое имя?

Махно. А ты кто такой?

Пархоменко. Я — красный начдив Пархоменко. Как тебя зовут, бандит?

Махно. Я не бандит, а батько Махно.

Пархоменко. Будешь стоять первым номером в списке пленных.

Махно. Сдавайся, начдив! Не трону!

Пархоменко. Я же за тобой гнался, Махно, а не ты за мной! Конец тебе, черная сила, конец!

Махно выхватил маузер. Одну за другой выпускает он пули. Ему так хочется попасть в начдива, что он весь в поту, дрожит, и пули летят мимо. Пархоменко хохочет.

Ну и начальника выбрали вы себе, хлопцы! Дрожит от злости, а попасть в меня не может!

Махно. Хватай его, хлопцы! Язык вырежу, очи выколю!

Пархоменко. А ну, хватай! (*Он вспрыгивает на тачанку и начинает рубить направо, налево*).

Махновцы окружили его.

Махно. Хватай его, хлопцы, за ноги хватай!

Пархоменко. А ты иди сам, иди!

С вершины холма несутся крики: «Ура!» И в лощину бегут всадники. Впереди их Гайворон.

Гайворон. Держись, Александр Яковлевич!

Пархоменко. Держусь! Руби их, товарищи! А главное — левой, левой бе-

рите! Видишь, они побежали. Пересекайте им дорогу! Гайворон, куда ведешь? Не ко мне надо, а к мосту. К мосту! Пересекайте им дорогу, голова-солнце! И — точка!

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Лес. Харитина Григорьевна с Ваней, Лиза, раненые красноармейцы. Издали показываются Нечай и Гайворон. Харитина Григорьевна, сдерживая себя, стоит неподвижно. Лиза бежит к Василию.

Лиза. Василий, голубчик, где отец? Что с ним?

Нечай. Ранили... убили...

Харитина Григорьевна. А где Александр Яковлевич? Нечай! Где Александр Яковлевич?

Нечай. У Бузовки. В тачанке.

Харитина Григорьевна. Врач там есть? Ранили его?

Василь. Мы к нему бежим с оврага. Мы кричим: «Держись, Александр Яковлевич!» А он: «Держусь, а вы левей берите, к мосту, пересекайте махновцам дорогу». А сам рубит саблей, рубит налево, направо рубит. И мы к нему рубимся, так что вокруг нас снег крутит и в глазах темнота. И кричим: «Держись, Александр Яковлевич!» И он опять рубится и тоже кричит: «Держусь, товарищи, только вы левей берите, левей!» И тут, видим, упала у него шашка...

Харитина Григорьевна. Саша-а!! Саша-а!!

Гайворон и **Нечай** снимают шапки.

Харитина Григорьевна. Умер? Нет, не умер Саша, не умер! Нет!

Василь. Приказ твой выполнен, Александр Яковлевич. Всех батьков порубили. Всю махновщину... Пробились к Александру Яковлевичу...

Нечай. Вечная ему слава и почет!

Молчание. На заднем плане, мимо плетня, ведут пленных махновцев. Дует метель, тускло. Волочат по земле черные знамена, и среди множества пленных можно разглядеть Веру Николаевну, Аршинова. Харитина Григорьевна смотрит прямо, прижимая к груди сына. Она говорит медленно, с глазами, полными слез.

Харитина Григорьевна. Не смотри туда, сыночек, не смотри, Ваня! Он не убит, твой отец, он ранен, он ранен тяжело. Ой, тяжело он ранен, сыночек, тяжело! Он нас окрикает, если жив. Ты слышишь его голос, сыночек? Саша! Саша! Он не может умереть, твой отец, Ваня! Он всегда будет с нами, всегда! Слушай, сын наш, Ваня! Пройдут года, вырастешь ты большой, и приедешь ты в нашу столицу, Москву. И все узнают тебя по росту и по походке и по глазам и все будут говорить: «Смотрите, идет сын Александра Пархоменко». Вся большая и счастливая Москва будет говорить так. И приедешь ты к Сталину, и скажет он тебе: «Вашего отца, Ваня, помнит вся страна. Учитесь, Ваня, так, как будто бы жив ваш отец. Он понимал, что если отцы погибают в борьбе, то остаются их дети, и тогда отцом им делается народ. Народ же бессмертен, возьмет свое — победит». И спросит тогда у тебя товарищ Сталин: «Не так ли, товарищ Пархоменко?»

Высоко, на поднятых руках конноармейцев показывается тело Александра Яковлевича Пархоменко. Его несут сквозь оледенелый, с длинными сказочными тенями, лес.
Музыка.

Михаил Дудин

ПИСЬМО

Ты проходишь на швейную фабрику. Рано.
Над Ивановым враз запевают гудки.
И я, кажется, слышу сквозь ветер и хлопья тумана,
Как хрустят по пороше твои каблуки.

Но рубильник включен, и приводов летучая стайка
Закружилась, и тень беспокойно легла.
И с конвейера сходит за новой фуфайкой фуфайка,
И дрожит, и поет, и мелькает стальная игла.

В этом смысл и значение и дружбы великой начало,
Той, что крепкую смелость и грозную силу дала,
Той, которая нас от отчаянных бед выручала,
Той, которая нас сквозь любые преграды вела.

Мы сейчас отдыхаем. Трещат и дымятся поленья.
Я чертовски устал. Только мысли бегут вперебой.
Как хорош этот отдых! Как сладки скупые мгновенья!
Может, лечь и уснуть? Завтра снова тревога и бой.

Но не спится. Я думаю снова и снова
О тебе, золотой, наступающий век,
О земле без траншей и окопов, о новой,
О тебе, позабывший про смерть человек

ЗЕМЛЯНКА

Под снегом был песок и камень.
Не грунт — железный колчедан.
Киркой, лопатой и руками
Мы углубили котлован.

Стесали стенки прямо, ровно.
Досок, соломы нанесли.
Рубили лес, тащили бревна.
На крышу сыпали земли.

И вот окончена работа.
Морозный воздух в грудь вдыхай!
Сотри шинелью капли пота!
Входи, ложись и отдыхай!

Здесь пахнет потом и овчиной.
Землянка вся заселена.
И печь из бочки керосинной
До белизны раскалена.

Я спал на лавке, на кровати,
На сеновале, на траве,
В вагоне тряском, на полатах,
Я спал в гостинице «Москве».

Но так, как здесь, где воздух спертый,
Без простыней, без одеял, —
Я спал так сладко, словно мертвый,
Как никогда еще не спал.

ОЛЕГ КОЧЕРЫГИН

Не от первого холода в звонкой крови,
Не от черствых годов с роковыми морщинами,
Не от первой от самой горячей любви, —
Мы от первого выстрела стали мужчинами.

Я Олега запомнил, узнал наизусть,
Навсегда в моей памяти будет он в целости.
Эта ясная радость и милая грусть —
Голубой огонек нерастраченной зрелости.

И бывало в землянке или у костра,
Как бы ветер ни дул и метель ни плясала бы,
Как бы ночь ни была холодна и остра, —
Я ни разу не слышал упрека и жалобы.

Даже странным казалось, зачем ни одна
Не мелькнула в нем тень золотого ребячества.
Он, всю горькую правду хлебнувши до дна,
Этой правде навеки отдал себя начисто.

Мы в атаку пошли за отрядом отряд,
Был мороз, что такого встречать не придется,
Мне казалось, что даже тяжелый снаряд
Упадет и от холода не разорвется.

Но снаряды рвались, и дрожала земля,
На дыбы поднималась, качалась стоя.
Разлетались деревья, пургою пыля,
И боец за бойцом выходили из строя.

Враг был очень хитер. Неприконченный враг,
Враг, которого мы не добились когда-то,
Он кругом заминировал каждый овраг,
Из-за камня любого строчил автоматом.

Непрерывный огонь! Мы ползли под разрывами мин,
Артиллерия — сзади, в опущке — пехота.
И остался подносчик патронов один
Из всего боевого расчета.

Засучив рукава, враг пошел напролом,
Он ругался по-русски, кричал в исступленьи.
И четырежды метким и метким огнем
Наш подносчик оканчивал их наступленья.

И когда подкрепление пришло, он сквозь дым
Поднялся и рванулся, как бомба, в атаку
И по снегу летел, и летели за ним,
И в упор из-за нор пулемет зататакал.

Было рядом большое его торжество,
Он наткнулся на пули, привстал на мгновение,
Словно пули не сами попали в него, —
Так стремительно было его наступление.

Мы прошли. Мы разбили врага наголо,
Артиллерия землю насквозь перерыла.
...К утру чистого снегу в лесу намело,
И метель его голову посеребрила.

* * *

Весь лагерь спит, песок прохладой дышит,
И ночь плывет, торжественно-тиха.
Она не замечает и не слышит
Повадки легкой моего стиха.

Лишь на заливе, тину поднимая,
Во всех своих желаниях вольна,
Упругий ритм стиха напоминая,
Ворочается сонная волна.

Восходит солнце, и ложатся тени.
Шиповник раскрывает лепестки.
И вздрагивают головы растений,
И к солнцу продираются ростки.

У финских сосен сизые верхушки
Совсем горят в лазоревом огне.
...По-русски настоящая кукушка
Прожить два века обещает мне.

Алексей Недогонов

ДОРОГА

1

Я, о смелом подвиге мечтая,
Рисовал войну примерно так:
Парочка веселеньких атак,
Путь домой
И — слава золотая!

Маленький,
Наивный человек,
Рыцарёк со шпагою картонной,
Глянь в окно:
Сечет вагоны снег,
Путь мелькнул, как домик станционный.

Поезд мимо,
Мимо,
Мимо мчит,
Мимо сёл, разлук и одиночеств.
Мрак теплушки сер и нарочит —
Разгадай его, сосредоточься!

Через мосты грохочет эшелон:
Спит на тряских нарах батальон,
Песенкой колесной убаюкан.
Спит, прижавшись к телу, медальон,
Как зверек прозябший. С двух сторон —
Ветер в щели,
Запах суконов...

Далека дорога, далека!
Вот он —
Пред тобою край сосновый:
На снегу Финляндии суровой
Тень красноармейского штыка.

Выноси, мужайся и терпи,
Нелегка судьбина фронтовая!
Хочешь спать — ложись в сугроб и спи,
Опаленных век не закрывая!

Хочешь встать — лежи на котелке!
Хочешь петь — тревожна мгла ночная!
Хочешь пить — мечтай о роднике!
Хочешь жить — умри, не отступая!

.
Будет день — окончится война,
Рассосутся боли раны жгучей,
Все, как сон, пройдет. Но тишина
Для того, кому была ценна,
Пропастью покажется гремучей.

Александр Зонин

ВОСПИТАНИЕ МОРЯКА

ПЕРВАЯ КНИГА О ЖИЗНИ С. О. МАКАРОВА

1876 год

«Я должен сказать, что, имея таковой отряд под командой, мне ничего более не остается желать, как скорейшего разрыва со стороны России с Турциею, и тогда я убежден, что каждый из нас исполнит свое дело».

Адмирал П. С. Нахимов.

1

Депутат парламента капитан Пим выжидает на кафедре конца бури, корректный, но настороженный, будто на командирском мостике в море. Мистер Морлей сохраняет презрительную улыбку. Мистер Рид багровеет от негодования и обмахивается своим фуляром. Мистер Барнаби демонстративно стучит крышкой пюпитра. Другие кораблестроители что-то выкрикивают, требуют, чтобы председатель заставил капитана Пима держаться темы. Морские офицеры сдержаннее. Адмиралы Робинсон и Хорнби склонили друг к другу блестящие лысые шары голов. Рядом со Степаном Осиповичем капитан Пелью рисует карикатуру. Тонут броненосцы эскадры Британского канала, а капитан Пим с высот мыса Лизард горестно всплескивает над ними сухими руками.

Председатель, адмирал Кодрингтон, трясет колокольчиком и повторяет:

— Джентльмены, джентльмены!

Он, наконец, перекрыл шум и обращается к оратору:

— Я должен вас просить, сэр, как можно ближе придерживаться обсуждения конурсного сочинения командора Ноэля «О

наилучших броненосных судах», а не образа действий Адмиралтейства — нынешнего, будущего или прошедшего.

Капитан Пим кланяется.

— Если собрание не желает допустить свободного обсуждения настоящего предмета, то мне остается только замолчать. Но я считаю своим долгом повторить перед почтенными джентльменами мое убеждение, что нынешний наш флот как нельзя более жалок. Как морские суда — «Инвизибль», «Геркулес», «Беллерофон» и все корабли типа погибшего «Vanguard» почти бесполезны, как орудия боя — они окончательно никуда не годятся.

Мистер Барнаби, круглый, плотный, выкатывается в проход и взвизгивает:

— Позор! Бездоказательные утверждения! Приберегите их для вигов палаты общин!

Капитан Пим выбрасывает руку вперед.

— Мистер Барнаби, я английский моряк и буду везде свободно выражать свои взгляды. Если почтенный Институт соединенных служб не хочет принять на себя ответственность за нынешнее состояние флота, тем хуже для Института и Адмиралтейства.

Снова зал наполняется выкриками:

— Довольно!

Пим медленно поводит плечами и презрительно бросает:

— Больше говорить и я не желаю.

Кодрингтон объявляет перерыв. Пелью положил свою карикатуру в папку, убрал карандаши и поднялся с тонкой улыбкой на строгом, усталом лице:

— Как вам нравятся наши прения, сэр?

— Весьма поучительно, однако совсем не затрагивается интересующий меня вопрос. Я считаю, что средства непотопляемости должны класться в основание всех вопросов кораблестроения, — отвечает Степан Осипович, стесняясь своего американского происхождения.

Они идут в курительную комнату. Пелью охотно берет русскую папиросу, пододвигает Макарову ящик с сигарами и разваливается в кресле.

Капитан осведомлен о работах Макарова по изложению инженера Морлея, знает о применении труб Макарова на «Князе Пожарском» и «Адмирале Спиридове», об опытах по испытанию непроницаемых переборок, о новой системе задранивания люков и горловин. Наконец, капитан Пелью высоко ценит пластыри Макарова. Он в курсе всех работ Степана Осиповича с 1872 года.

— Вы продолжаете заниматься вопросом непотопляемости? — спрашивает Пелью. — Или вашими круглыми судами?

Степану Осиповичу кажется, что в этом вопросе есть скрытая насмешка. Среди английских моряков «попозки» — «Новгород» и «Вице-адмирал Попов» — получили кличку «блюдообразных водолазных колоколов». Макаров и сам не поклонник этих еле передвигающихся батарей, годных лишь для мелководья и устьев рек, но по обязанности должен заниматься их постройкой, заказывать механизмы английским верфям. Впрочем, некоторые кораблестроители и даже такие авторитеты, как Рид и Барнаби, не отрицают известной пользы и достоинств судов Попова. Тем более, если Россия позволяет себе роскошь выбрасывать сотни тысяч рублей на суда, не имеющие никакого значения как наступательное оружие.

— По круглым судам я только исполнитель требований их конструктора и моего начальника, — отвечает Макаров. — А работы по непотопляемости продолжаю. — Он колеблется мгновение, но все же признается: — На основе изучения гибели вашего фрегата «Vanguard».

Капитан Пелью оживляется, подзывает мрачно курящего Пима и знакомит депутата с Макаровым.

— Мы будем оба рады, не правда ли, Пим, если мистер Макаров познакомит нас со своими выводами?

— Но это очень долго, вряд ли у джен-

тльменов хватит терпения выслушать все технические рассуждения.

— Пожалуйста, если вы не торопитесь, мистер Макаров, и не хотите слушать дальше пустых прений, — просит депутат.

Степан Осипович внимательно смотрит на своих собеседников. Их лица выражают неподдельный интерес, уже не маскируемый миной британского превосходства.

— Я должен прежде всего сказать, что душевно жалею капитана и офицеров фрегата за гонения, насмешки и приговор суда. Ваше Адмиралтейство и общественное мнение не хотят видеть, что при таких обстоятельствах погиб бы любой из ваших военных кораблей.

— О! — неопределенно восклицает Пелью.

— Разумеется! На всех кораблях есть недостатки в системе и в качестве непроницаемых переборок и дверей. На всех кораблях недостаточны и неправильно расположены помпы и помповые краны. Наконец, на всем вашем флоте не знают, что надо делать для спасения судов.

— О! — повторяет капитан Пелью.

А Пим утвердительно кивает головой и набивает трубку.

— Слушайте, Пелью!

Но Макарова сейчас трудно смутить. Он уже говорит по наболевшей потребности вдабливать в голову каждого моряка простейшие истины, которых никто не хотел до конца усвоить ни в России, ни в Англии.

Если «Vanguard» в мирное время, днем, в шталь и под парами *от маленькой пробойны затонул в течение 70 минут, то что же станет с любым кораблем в бою, на качке, ночью, от пробойны гораздо большей? Все думают о наступательных средствах кораблей. Очень хорошо иметь сильную артиллерию, крепкую броню, быстрый ход. Но позвольте знать, джентльмены, чего стоят все эти средства, если одно попадание снаряда в паровую трубу может лишит корабль управления и превратить его в неподвижную мишень? Наступательные средства ничего не стоят, если в соответствии с ними не повышены оборонительные средства. Боевое судно может быть таким или другим, но, каким бы оно ни было, его чертежи должны быть обдуманы с точки зрения непотопляемости. Таков смысл затрудненной английской речи Макарова, иллюстрирующего историю фрегата «Vanguard» свои положения.

— Вы хотите жертвовать удобствами? — прерывает Пелью.

— У прежних парусных судов в трюмах было тесно, потребовалось поставить машины: половину трюма отделили под машину, котлы и уголь — и в трюмах стало просторнее. Теперь у судна пять главных переборок — и везде тесно. Может быть, когда их будет пятнадцать, будет даже просторнее, — живо возражает Макаров.

— Очень хорошо. Прекрасно, — бурчит капитан Пим. — Продолжайте, мистер Макаров!

Степан Осипович переходит к описанию будущего корабля, каким он представляется его воображению. Каждый отсек должен вмещать в себя воды меньше половины всей запасной пловучести судна, для того чтобы наполнение двух-трех отсеков было безопасно. Проектируемое судно должно иметь пять машин: три — в корме и две — в носу. Машины должны быть так размещены, чтобы затопление одного отсека не мешало действию машины в другом. С этой целью подле каждой машины должны быть помещены ее котлы со своими донками и мощными помпами.

— Принцип действия помпы? — Степан Осипович отрывает листок записной книжки и быстро рисует удлиненный вал машины с присоединенной турбиной, показывает, как просто разъединить турбину с отливной трубой и холодильником. Он подчеркивает преимущество новых котлов Филяда, описанных в «Инжениринг», позволяющих развести пары в десять минут, и снова обращается к бумаге. Он изображает свои парные переборки, устраняющие одновременное наполнение водой двух отсеков, чертит устройство междудонного пространства и боковых коридоров, расположение брони, водяных и воздушных магистралей.

Капитан Пелью склоняется над чертежами, потом, взяв их со стола, с улыбкой говорит:

— Дорогой друг, вы доставили мне необыкновенное удовольствие вашей лекцией. В память о ней разрешите сохранить ваши заметки? — Он, не дожидаясь ответа, кладет листки в карман и продолжает: — Одно в ваших рассуждениях мне представляется неподходящим к военной службе. Мы никогда не будем иметь идеальных кораблей, и мы не можем снимать ответственность с командиров за гибель их ко-

раблей, пусть и плохо снабженных средствами непотопляемости.

— Но я и не предлагаю этого! — удивляется Степан Осипович. — Напротив, я говорю, что надо приучать команды и офицеров к борьбе с затоплением, выделив для этого специальных людей, обучая экипажи на водяных учениях так же, как на пожарных. Я даже проектирую для нашего флота особый корабль, приспособленный для обучения, с наполнением и откачиванием междудонных отделений и главных отсеков. У этого судна должно быть несколько пробоев, чтобы практиковаться на их заделке пластырями.

— Блестящая мысль! — одобряет депутат. — Я должен уехать, мистер Макаров. Но я хотел бы повидаться с вами до вашего отъезда из Лондона.

С капитаном Пелью Макаров прощается около одиннадцати часов. Он может проехать к своей гостинице в собее, но не хочет спускаться под землю и дышать угольным дымом. Эта часть мирового города с новыми, прямыми улицами ему хорошо знакома, и он идет по широкой, почти пустой панели Кингслей-род, озабоченный мыслями, от которых счастливо укрывался в Институте соединенных служб. У памятника Веллингтону покупает газеты и садится отдохнуть. Завтра, пожалуй, можно и не заниматься делами. Можно повидаться с Катей, проехать к ней или городской телеграммой вызвать в Национальную галерею, например. Ему досадно, что как только он стал думать о Кате, исчезла его способность к быстрым и определенным решениям, возникла тревожная неуверенность, которой он давно уже, с мичманских времен, не знает за собой.

Он встретил Катю Бровцыну в Национальной галерее перед «Морским сражением» Тернера. Он стоял, взволнованный буйством красок на этом полотне. Было время, когда кадет Макаров, как молодой дикарь, находил больше прелести в разукрашенных восковых фигурах, чем в холодном античном мраморе. Теперь он понимал и любил живопись. Но тернеровское «Сражение» оставалось для него загадочным. Что хотел сказать художник, приведя борт к борту громадный парусный линейный корабль и безобразный, низкий пароход? Не должен ли дым из высокой трубы буксира, ползущий на оголенные рей корабля, подчеркнуть беспомощную дряхлость некогда могучего владыки морей? А

что там дальше, под пороховой, черной, набухшей под солнцем плотными складками тучей? Зачем это грустное, чрезмерно ясное в обстановке боя отражение судов в воде? Война и мир? Мрак и свет? Истукненное прощание с романтикой прошлого? Чем больше задавал себе вопросов Степан Осипович, тем меньше он понимал Тернера.

— Черт! — воскликнул он, подавленный воздействием картины. И в это время на него спрыгнула девушка.

«Гибанка», — решил он, увидев смуглое и красивое лицо. На незнакомке была синяя пелеринка; синяя плоская шляпка с маленькими полями прикрывала лоб, но не высокий, иссиня-черный узел волос. Макаров склонился на ее высокие, туго зашнурованные ботинки и только подумал, что у англичанок нет таких красивых ног, как девушки оживленно заговорила:

— Вот неожиданная встреча, Макаров! Вас очень изменили усы. Я сначала приняла вас за англичанина. Но англичанин перед Тернером — совершенно непонятное явление. Они предпочитают Рейнольдса, Генсборо и Гогарта: благополучие, томность и мечанство.

Она крепко тряхнула его руку, а он все еще оставался в неведении, с кем говорит. Он знал у Бровцыных в имении месяц перед плаванием на «Дмитрий Донской», и Катя тогда была угловатым подростком, а сейчас на него с улыбкой смотрела взрослая девушка. Он пробормотал какой-то комплимент, а она очень громко рассмеялась и смутила посетителей галереи.

— Что вы делаете в Лондоне? Вы все еще моряк? — спросила Катя и, не дав ему толком ответить, стала рассказывать о себе. Она училась в Швейцарии, но петербургское правительством, из опасения перед взрывом революционных эмигрантов, предложило всем русским студентам покинуть швейцарские университеты. Катя уже была во Франции. Там после разгрома Коммуны полный террор над мыслью. Перекочевала в Англию, и здесь ее просто тошнит.

— Почему? — осторожно спросил Макаров, выбираясь с нею из холла на улицу. Он уважал английскую технику и промышленность, порядки, деловитость. Англия была средоточием мира, первая морская держава.

— Ах, вы еще спрашиваете! Неужели вы англоман, Макаров? Англичане любят

кричать о цивилизации, о защите мира, но это — нация жесточайших пиратов. После Крымской войны они воевали уже десять раз и прибрали к своим рукам новые территории во всех частях света. Они залили кровью Индию и наградили старуху Викторию титулом императрицы. Они уничтожили ашанти, а остаткам их посылают в утешение Библию, они расправились с Ямайкой, с Ирландией. А религиозное ханжество! Все эти веселые методисты, конгрегационалисты, баптисты, пресвитерианские квакеры, кальвинисты, англикане, заполняющие по воскресеньям храмы! От них хочется бежать хоть в Гренландию.

Катя пылала от негодования ко всему английскому и продолжала засыпать Степана Осиповича фактами, ему совершенно неизвестными. Она знала все — споры консерваторов и либералов, отношения предпринимателей и пролетариев, нужду и антисанитарию рабочих кварталов, ирландский вопрос — и обо всем рублила с плеча.

— Вы нигилистка, — шутиливо сказал Макаров, любуясь ею и восхищаясь ее осведомленностью в делах страны. Он пробыл в Англии несколько месяцев, но не знал ничего кроме устройства портов и верфей.

— Старо, Макаров! Нигилисты только в тургеневских романах остались. Я социалистка, кажется. Ну, вообще, ради-калка.

Степан Осипович, смеясь, сказал:

— А вы не боитесь, что я на вас донос напишу?

— Ну, надо еще поймать на преступном деле! Пока у нас за взгляды не берут в кутузку.

Она помрачнела и стала рассказывать о реакционном бешенстве русского правительства, о гонениях на революционную молодежь. Было очевидно, что она живет в среде, хорошо осведомленной о жизни подпольной России.

— Это война, и правительство защищается, как умеет, — сказал Макаров, только чтобы что-нибудь сказать.

Катя обрушилась на него за ретроградные взгляды, за равнодушие к России, и как он ни оправдывался, она разругалась с ним и не позвала к себе. Но через несколько дней неожиданно пришла записка. Ему назначалась встреча на старом месте, у картины Тернера. Он полетел туда, безотчетно радуясь, и долго ждал Бровцыну. Катя пришла бледная, сдержанная, жало-

валась на тоску и просила рассказать о его занятиях. Он объяснил ей суть своей работы.

— Вам, должно быть, интересно жить. Но я не понимаю ваших увлечений. Не все ли равно: если у всех корабли плохо устроены, значит и нам не страшно.

— А человеческие жизни? — удивился Степан. — А расход народных средств?

— Ну, хорошо, — вздохнула она. — Давайте говорить о чем-нибудь своем, нейтральном.

Степан Осипович предложил поехать на гулянье в Риджентс-парк. Они замешались в толпу, вертелись на каруселях, позавтракали в траве, и Катя развеселилась.

Но все-таки она не пригласила Макарова к себе. Она жила с группой русской молодежи и не хотела их знакомить с офицером:

— Вы им всем чужой. Они будут вас травить, как зайца, а я не хочу.

— Вы лучше сами? — кротко спросил Макаров.

— Хотя бы так! — Она улыбнулась, и их глаза в первый раз встретились с таким выражением, которого оба испугались.

Сближение произошло как-то незаметно и быстро. Иногда Катя обличала, как в первую встречу, или язвительно читала из Щедрина:

— «Полководец Редедя защищает крепости, а также сдает оные. Согласен в отъезд. Спросить на Гороховой улице, во дворе, в палатке». Вы знаете о ком это? О генерале Черняеве. Нечего сказать, полководец, опозорился в Сербии! Вы тоже так будете воевать?

Это легкое отношение к событиям на Балканах сердило Степана Осиповича. Даже отставной английский министр Гладстон выступил с брошюрой, описывающей зверства турок в Болгарии. Южным славянам надо сочувствовать и помогать. Россия — единственное славянское государство.

— Скажите проще, что вам нужен Константинополь.

— И Константинополь нужен, — отвечал он. — Это тоже историческая задача России — получить выход в Средиземное море. Турки на Босфоре сидят без толку для себя, играют роль цепного пса западных держав против нас.

В другой раз Катя приходила милсй, любознательной девочкой, тормошила его, расспрашивала. Как-то он повез ее в Плимут, показал на рейде английские бро-

неносцы и сводил на верфь. Он проверял выполнение заказов, и она с интересом слушала его беседы с инженерами.

— Так вы такой умный! А я и не знала, — сказала Катя на обратном пути. И вдруг поцеловала его руку.

В купе не было пассажиров, и он, нежно обняв ее, заговорил о своей любви, о том, что боялся думать о ее ответном чувстве и как все это хорошо вышло. Она отстранила его руки, сказала, что ничего не знает, что это все от скуки, что они чужие, что прежде надо ему уйти из флота.

— Почему же уйти из флота? — возмутился Степан Осипович.

Он был глубоко обижен беспорядочными речами Кати, но догадался, что объяснение застигло девушку врасплох и не надо придавать большого значения ее словам. Однако и в следующие встречи между ними не восстанавливалась та хорошая, ясная дружба, которая была до этого поцелуя. Степан Осипович чувствовал, что сложные отношения с Катей мешают его работе. Он думал, что Катя и есть та девушка, которую он должен назвать своей женой. А она называла брак мещанством и благополучием. В последнюю встречу они снова поссорились. Он промучился несколько дней и послал ультимативное письмо.

«Ответ, если она написала, должен быть сейчас в гостинице», — соображает он вдруг.

Он быстро шагает с площади. Его шаги глухо раздаются в узких кварталах Сити. Ватный лондонский туман поднимается с земли, проникает в легкие, становится стеной. Оттого что впереди ничего не видно и надо выбирать путь по памяти, дорога до гостиницы бесконечна, и его охватывают дурные предчувствия.

— Письма? — спрашивает он у сонного слуги.

— Есть, сэр. — Человек протягивает ему казенный пакет из министерства и узкий синий конверт.

Да, это от Кати. Он быстро разрывает конверт.

Катя пишет:

«Я болела, но совсем поправляюсь и думаю, что встречу тебя завтра в самом приличном виде. Вообще, я, кажется, с собой справилась, и если ты тоже придешь в себя, то мне ничего более не останется желать. Что рано или поздно мы будем вместе, я в это теперь твердо верю, и если

полное счастье невозможно от жизни то что она дает? Научи меня любить твою работу, чтобы наша жизнь была полнее. Одно я не могу тебе обещать — вечную любовь. Я в себе не уверена; если я пойму, что тебя разлюбила, знай, что не скрою и уйду.

Обязанностей я никаких на себя не в состоянии принять. Вообще, во мне нет ничего основательного и серьезного. За что ты меня любишь, не знаю и не думаю об этом. Ты, такой прямой и правдивый, тоже не откажешь мне в откровенности. Коли ты можешь обойтись без меня и работать попрежнему, — то я еще останусь несколько месяцев здесь; если же нет, — то за тобой вернусь в Россию и буду ждать в Кронштадте под кличкой лейтенантши Макаровой. Для меня этот вопрос решен, в время большой разницы не делает.

Твоя Катя».

Город пробуждается. Громыхают телеги, участились гудки паровозов и фабрик, зашаркали по панелям прохожие, свет дня проникает между половинками портьер и серо растекается по комнате. а Макаров все сидит на постели, даже не сняв пальто.

Не в том дело, что когда-нибудь может расколоться семья из-за угасшей любви. Это несчастье, это как удар молнии. Но идти на близость с холодным учетом такой возможности? Вместо любви приносить договор с примечаниями? Лучше забыть, лучше признать, что это ошибка...

Горка пепла и окурков уже не помещается в пепельнице. Он поднялся, выбросил мусор в камин и раздвинул портьеры. За острыми шпицами и красными трубами над Темзой кружево корабельных мачт. Редкое в Лондоне солнце блестит в металле и стеклах, освещает грузный Тауэр.

А если это только слова и на самом деле ее любовь не меньше? Пусть покажет время! Его взгляд падает на второй конверт. Он до сих пор еще не прочитал письма из министерства.

— Ну, вот и отлично! — шепчет он, опуская руку с листком. — Пусть покажет время! — Порывисто садится к столу, пишет коротко Кате, что срочно уезжает в Россию по вызову министерства. Она может провести в Англии столько времени, сколько ей нужно будет, чтобы разобраться в своих чувствах без всяких оговорок.

Когда письмо ушло, становится легче. Он уже может думать, складывая вещи и бумаги, что означает этот неожиданный вызов. Неужели близко война?

2

Да, Россия и Турция накануне столкновения. К войне подстрекает Турцию первый министр Великобритании Дизраэли. И напрасно либеральная «Дэйли-Ньюс» возмущенно прокламирует: «Если перед нами альтернатива: предоставить Боснию, Герцеговину и Болгарию турецкому произволу или дать России овладеть ими, то пусть Россия берет их себе — и господь с нею». Дизраэли раздвигает джингоистскую ненависть, выставляя продвижение России в Азии угрозой Британской империи. Дизраэли диктует султанскому правительству политику неуступчивости.

Сербия и Черногория очень скоро убеждаются, что обещанные в Константинополе реформы никогда не будут даны. После каждой декларации об уравнивании славян в правах с мусульманским населением происходят новые избиения. Башибузуки сжигают сотни сел, десятки тысяч людей бродят по опустошенной стране без крова, и тысячи трупов остаются непогребенными. Только в одном городке Батаке турецкие орды вырезали шесть тысяч стариков, женщин и детей. 30 июня 1876 года сербы и черногорцы мужественно начинают войну с Турецкой империей.

Но они должны воевать с оглядкой на свой тыл. Австро-Венгрия боится широкого движения сербов. Если к княжеству Сербия присоединятся территории Боснии и Герцеговины, это новое национальное объединение притянет к себе славянские элементы лоскутной империи.

Опасаясь неприязненных действий австро-венгерцев, сербы совершают стратегическую ошибку. Они не идут на поддержку черногорцам и повстанцам Боснии. Они направляют удар в сторону Болгарии. Турецкий полководец Осман-паша с превосходными силами султанской гвардии прогоняет маленькую сербскую армию в долину Моравы, разбивает сербов под Алексинацем и Крушевацом. Теперь турки, уже без дипломатических проволочек, открыто провозглашают насильственный курс внутренней политики. Им открыта дорога на Белград, и они окружают Цетинье. А главное — они убедились, что имеют за собой не одну Англию,

что и Германия и Австро-Венгрия не поддержат Россию решительными мерами.

Если Дизраэли хочет, чтобы война Турции против России привела к восстановлению парижского трактата 1856 года, лишившего Россию права иметь флот на Черном море, то Бисмарк, канцлер Германии, стремится, чтобы Россия пренебрегла европейскими делами и увязла в балканских хлопотах.

Как четверть века назад, когда определилась неизбежность столкновения с Турцией, снова Россия в кругу настороженных хищников, жадных волков, ждущих исхода единоборства, чтобы броситься на ослабленного бойца и растерзать его. Но, как и четверть века назад, Россия не может отступить от своих требований Константинополю.

Со времени Отечественной войны широкие общественные круги еще ни разу не были в таком единодушии с правительством. Несмотря на то, что об освобождении славян кричат лицемерные реакционеры, подавившие свободы в России, даже радикальная молодежь рвется на войну. Все общество жалеет болгар и сербов и стремится им помочь. В Сербию идут добровольцами люди, имеющие отвращение к профессиональной военщине. Восставшие получают оружие, амуницию и деньги, собранные в России по широкой общественной подписке. Александр Второй и самоблюбленный Нарцисс, министр иностранных дел Горчаков, еще колеблются. Война выгодна, потому что поднимает престиж правительства, облегчает борьбу с революционной партией и обещает новые завоевания. Война опасна, так как армия плохо вооружена и скудно снабжена, а на Черном море совсем нет флота. Война необходима, если Россия хочет сохранить влияние на судьбы балканских народов и обеспечить свои интересы на Черном и Средиземном морях.

На другой день после приезда в Кронштадт Степан Осипович узнает, что граф Игнатъев уполномочен предъявить Порте ультиматум.

— Начальники всех турецких войск должны немедленно прекратить военные операции против сербов, черногорцев и повстанцев. Иначе наше правительство прервет дипломатические отношения, — говорит ему флаг-адъютант Бутакова Зиновий Рожественский. — Это уже совершенно определено. Я убежден, мы не отступим даже

перед вмешательством Англии. А вы, наверно, Макаров, без ума от ваших англичан?

Рожественский, высокий, сутулый брюнет с сухим, желтым лицом и желтыми кошачьими глазами, почему-то недоброжелательно относится к Макарову. И Степан Осипович не любит Рожественского, не любит его показной горячности, суетливой и болтливой осведомленности, яканья. Степан Осипович даже отворачивается: очень уж неприятны нервически дергающиеся, яркие губы флаг-адъютанта.

— А вы думаете, господин Рожественский, что англичан очень просто поколотить на море?

— Ну, во всяком случае, им не быть хозяевами в Финском заливе! Не пятьдесят пятый год! Мы перебираемся в Гельсингфорс.

— Эскадра?

— Адмирал Бутаков назначен командовать свеаборгской береговой обороной и отдельным отрядом судов.

— Вот что! Это, конечно, подвинет оборону. Однако с турками война будет на другом морском театре.

— Вас и турки пугают?

— Разве сейчас две тысячи миль нашего черноморского берега не беззащитны против броненосцев турок?

— Воображаю силы турок! — презрительно говорит Рожественский.

— Подсчитайте!

— После второго Синопа будем считать.

— С двумя поповками сам Нахимов не мог бы устроить разгром флота, в котором пятнадцать броненосцев.

— Уж и пятнадцать?

— Пятнадцать, в том числе восемь первого и второго ранга с крупными орудиями Армстронга английской стройки и английскими инструкторами. По сути дела — отделение английского флота, и неплохое. Недаром английская печать по каждому случаю целые столбцы уделяет турецким кораблям. Когда в Блекуолле спускали для турок броненосец «Мезондиве», то сообщались в курьезных подробностях процедура и речи и даже то, что девица Музурус — дочь посла — разбила бутылку вина о водорез, как полагается делать по английскому обычаю для успеха корабля. Да и сам я видел, что англичане дают туркам последние образцы продукции своих верфей.

— Остается в случае войны итти в сулупутные войска. Моряки, выходит, без на-

любовности. А мы думали, нельзя русскому человеку уступать врагу как на земле, так и на воде, — язвит Рождественский.

— Патриотично, лейтенант! — сухо отвечает Степан Осипович. — Только нужно о средствах победы озаботиться.

— Тут нас с вами опередили, Макаров, — ехидно улыбается Рождественский. — Уже на пароходах Русского общества в Одессе и Севастополе увеличиваются крепления, чтобы поставить тяжелую артиллерию. Крейсера будут не хуже «Алабамы».

Степан Осипович пожимает плечами. Дальше разговор с лейтенантом невозможен. Легкие крейсера для набегов хороши в океанских просторах, а не в закрытом бассейне Черного моря, где турки из Батума, Босфора и Сулина будут грозить броненосными отрядами. И, однако, он обрадовался, что его идея никому не пришла на ум.

— Это кто же придумал? — спрашивает Макаров, направляясь к дверям кабинета Бутакова.

— Капитан-лейтенант Баранов. Он назначен командовать пароходом «Веста».

В великолепной бороде адмирала отливают под огнями свечей серебряные нити, а под усталыми глазами мешки. Григорий Иванович вдруг постарел, лишившись эскадры, и даже плохие стихи стал писать, чтобы убить тоску. Он хмуро поднимает глаза с карты шхер, но теплеет, узнав Степана Осиповича.

— Что ж вы ко мне по минному делу? — перебивает он лейтенанта с первых слов. — Это по части Константина Петровича Пилкина, да и Андрей Александрович Попов с министром, с Лесовским, все может сделать. А я практически начальник лишь у себя в Свеаборге.

— Я, Григорий Иванович, вашим мнением по существу интересуюсь.

— Спасибо, голубчик, спасибо! Но мои рассуждения вам известны. Семь последних кампаний эскадра училась минным атакам на опыте американской войны. Кэшинга в пример нашей молодежи ставил. Знаете Кэшинга?

— Меня, Григорий Иванович, подвиг Кэшинга восхитил в детстве. Американские друзья рассказывали о подрыве «Альбемарля», когда я служил на «Богатыре» в Сан-Франциско.

— Но в своих реках или здесь в шхерах вести минную войну — это понятно, а

вы затеваете наступательные действия. Итти к противнику с минами? Какими средствами?

— Я предлагаю, — отчетливо говорит Степан Осипович, — приспособить для минной войны пароход. Этот мощный миноносец будет иметь шестовые и буксирные мины на носу, корме и по бортам. Кроме того, он должен иметь на себе паровые минные катера, чтобы спускать их для атаки на неприятельских рейдах.

— Миноносец! Уже и название приспособили! Сумасшедшая идея, фантазия Жюль Верна! — выкрикивает адмирал, комкая бороду. — А вы знаете, мне нравится, ей-богу здорово! Невозможно, но превосходно. — Его глаза блестят, и все лицо вдруг молодеет.

— Почему же невозможно, ваше высокопревосходительство?

— А вот вы мне укажите, во-первых, как вы сохраните от попадания снаряда гальваническую батарею для управления взрывами мин? Во-вторых, как вы незаметно подкрадетесь к противнику, — а вы должны действовать незаметно! — ежели вам нужно будет час на разводку паров в катерах? Да в-третьих, как вы будете катера спускать и поднимать с машинами в открытом море? Они у вас переломятся пополам.

— И это все, Григорий Иванович?

— Для начала все-с. А там еще вопрос конструкции шестов, выбор мин и взрывателей и многое иное.

— На первый вопрос мне и отвечать нечего. Я минной рубки устраивать не стану на неброненосном пароходе; у каждой мины поставлю свою гальваническую батарею. В котлы катеров по боевой тревоге будет шлангами подаваться кипяток из машинного парохода, а для подъема и спуска катеров на воду я сделал расчет новых талей.

— Ну, ну, вам приходится верить! Вы слов на ветер не пускали, — почти сдается адмирал. — И о шестах и минах подумали?

— Вчера только вернулся из Англии, ваше высокопревосходительство.

— И прямо ко мне? Ценно, мой друг, ценно! Завтра я буду у генерал-адмирала. Едем со мною, или нет — вы записку пишете! Бумаге больше веры у Константина Николаевича.

Макаров вздыхает. Он и сам так думает, но адмирал Попов гонит в Николаев доводить поправки. Андрею Александровичу же рассказывать свой проект не решился. Хотя шесть лет прошло от первого горь-

кого опыта и четыре года он работает с адмиралом, но тот попрежнему видит в нем технического исполнителя своих идей — и только.

— Да, старик трудный, — соглашается Григорий Иванович.

И вдруг морщинки лучиками разбегаются от его сощурившихся глаз. Он тянет к себе Макарова и таинственно шепчет:

— Вы вот что сделайте, голубчик: езжайте с богом, там генерал-адъютанту Аркасу докладик подайте, а я здесь почву подготавливаю при вашей же помощи. Именно! Вы письмо пошлете Попову, так и так мол, помня минные атаки в вашем отряде, — вы же у него на «Русалке» служили? — подумал я о перенесении сего опыта на Черное море. И весь вопрос в устройстве шестов. Помогите, ваше превосходительство, всему делу купно и особенно с шестами! Коли он авторство свое выдать сможет в одной части, он и целое примет. Он умен же старик, ей-богу умен, только что упрям дьявольски и себялюбив.

Макаров морщится. Дипломатия не по его части. И потом, что делать, если с шестами Андрей Александрович придумает что-нибудь непрактичное?

— А пустяки, батенька, пустяки! Вы по-своему сделайте, по-поповски окрестите! По-поповски, ха-ха-ха!

Степан Осипович улынулся каламбуру: — Попытаюсь, ваше высокопревосходительство.

— Пытайтесь, пытайтесь! С нами, стариками, надо хитрить. Мне в Крымскую войну Корнилова как приходилось улаживать, чтобы в бою «Владимира» с «Перваз-Бахри» новые пароходные эволюции применить. И, в конце концов, сорвал адмирал, приказал по-нельсоновски действовать, на близкой дистанции, на параллельном курсе. А то, ей-богу, одними царапинами отделался бы «Владимир»! Человек так устроен, что каждому новому поколению приходится вновь показывать фокус Колумба с яйцом. А вы ведь ни мало ни много, а задумали открыть новую главу в морской войне. — Адмирал увлекся: — И знаете, у своих берегов ваш пароход может четыре-пять судов противника взорвать. Сначала левым шестом под крамбол одного корабля, правым — под другой, под третье судно — кормовую мину, в четвертое и пятое бьете с носа.

Степан Осипович слушает Бутакова с

восхищением. Эта восприимчивость, способность развивать новые идеи, как только Григорий Иванович ухватил их суть, говорит о том, что не всякий старый адмирал непременно враждебен новизне.

А Бутаков нервно комкает бороду и бежит по кабинету.

— Потом специальные корабли начнут строить — миноносцы, так? Быстрые, верткие, низкорботные, чтобы снарядом в них угодить было трудно. Да, да, тактика укажет путь кораблестроению!

Адмирал крепко жмет руку Макарова: — Кланяйтесь Севастополю, если придется побывать в нем: все там осталось — и молодость, и друзья, и брат, и незабвенный Павел Степанович. — Он нагибается, заключает Макарова в свои объятия: — Христос с вами! Пишите! Я так думаю, раньше весны война не начнется. Зиму еще дипломаты поговорят.

3

Ободренный и растроганный напутствием Бутакова, Степан Осипович в ту же ночь выезжает на юг. В вагоне жарко топят, окна по-зимнему закрыты, на его верхний полок поднимается табачный дым, детский плач, распри компании прасолов за картами, острые запахи еды пассажиров, таракание колес и чайников. И он убегает от всего этого на каждой станции. Еще держится сухая поздняя осень. Иные деревья стоят в убранстве червонного золота, другие протягивают кривые черноколые ветки в прозрачное холодное небо, и с высоты в тревожных криках на них падает воронье. За приземистыми одинокими зданиями станций в остриженных жестких полях буреют скирды снятых хлебов. В разъезженных колеях петляют к нищим деревушкам проселки, такие же убогие и сиротливые.

Он быстро ходит по прогибающимся доскам помоста вдоль поезда, ходит с мыслями о минах и устройстве миноносца. Один раз он встречает взгляд черноволосой девушки и с болью вспоминает Бровцыну. Катя не пришла его провожать в Лондоне. Непонятная шарада, но шарады сейчас некогда решать. То ли она революционерка, то ли играет, кокетничает с революцией, как с ним? Плохо, если это так! Он не может мириться с отношением к жизни как к игре. Жизнь требует, — он это знает всеми пятью чувствами, — всего

человека для дела, обязывает к ответственности, зрелым решениям и поступкам. «Как это не принимать на себя никакой ответственности?» — восстанавливает он с суровой враждебностью фразу из письма Кати.

Из трубы паровоза пар с шипением выстреливается вверх облачками, медленно ввинчивается в небо над скучной вереницей красных, желтых и зеленых вагонов. Степан Осипович с тоской ощущает тишину холодного солнечного дня и грусть прекрасного умирания жизни в русской осени. Что-то умирает вместе с природой и в нем. Он поднимает подкатившийся к ногам багровый лист клена.

«Невозможно создавать семью без мысли о семье и детях». Если бы Катя была сейчас здесь или если бы он писал ей, то беспощадно обвинил бы в легкомыслии. Да, да, именно в этом. Шарادا разъярилась. Он садится в вагон на ходу и остается в тамбуре, чувствуя, что не может быть сейчас на людях. Поезд гремит на стыках, набирает скорость, снова выбегает в поля и голубые еловые перелески. За стылými водами медленной реки Степан Осипович видит бледную зелень озимых. Скоро ее прибьют снега, река покроется льдом, тишина станет звонкой и бесконечно долгой — во всей России. А он будет опять на новых местах...

За Вильно поезд выбивается из графика и подолгу стоит на разъездах. Лежа на полке, Макаров устало дремлет под однообразный, частый стук дождя. Он просыпается, когда вагоны сразбега толкаются и лязгают буферами, но как только возобновляется мерный шум бегущих колес, снова его охватывает оцепенение. Он пытается читать английское руководство минного дела, но от оплывшей свечи в дрожащем фонаре на страницу книжки падает такой грязножелтый свет, что строчки прыгают и протягиваются неразборчивыми полосками. Поздно ночью Степан Осипович спускается вниз, курит в проходе и смотрит в черную раму окна. Поезд выхватывает из мрака телеграфные столбы, нелепые контуры кустов и сторожек. Вспыхивают блики света в медных проводах, и снова мрак окутывает поезд. Потом поезд сразбега влетает на большую станцию, наполненную голосами паровозов и сверкающую огнями. Кондуктор будит пассажиров:

— Брест-Литовск!

Обычная суета посадки опять гонит Ма-

карова из вагона. В ресторане вокзала пиликают скрипки и виолончель под аккомпанемент разбитого рояля. Степан Осипович, представив себе зал с запыленными искусственными пальмами, вспотевшие, полулыжные лица румын на эстраде, купцов и гарнизонных офицеров за столами, жмущуюся к проходам толпу пассажиров победнее, грязь и холод в зале III класса, где вполвалку спят перекочевывающие на заработки мужики с семьями и без семей, уходит в темноту.

Тоскливо и скучно. Он идет через пути позади своего поезда. Где-то меланхолично играет гармонь. Длинный товарный состав стоит с открытыми дверями; от него тянет конским запахом и свежим сеном. В изгоне напротив тусклого фонаря узкая, красивая голова лошади с настороженными ушами и белой звездой на лбу привлекает Макарова пытливым взглядом больших, влажных глаз. Лошадь нетерпеливо перебирает копытами в тесном станке и тихо ржет, будто просится на свободу.

Казак с брезентовыми ведрами шумит в соседнем вагоне и чертыхается в бога какого-то соню. Звякая шпорами, Макарова обгоняет есаул и неожиданно спрашивает:

— Ваш эшелон тоже в Кишинеv следует, господин лейтенант?

Степан Осипович объясняет, что он в почтовом поезде едет в Николаев и не знает о присутствии на станции эшелона моряков.

— Как же, как же, — продолжает офицер, — можно сказать гвардейского столичного положения. Я хотел вас пригласить до нашей компании перекинуться в карточки со скуки.

Есаул хвастает, что за пять суток жизни на станции казаки уже обчистили и казанских пехотинцев, и орловских драгун, и брестских артиллеристов. Оказывается, на станции скопилось два десятка эшелочов, и их очень медленно отправляют к Действующей армии.

В этом названии, хотя войны еще нет и армия не только бездействует, но и по существу не собрана на театре войны, есть что-то грозное и освежающее.

Степан Осипович так мало пробыл в Петербурге и Кронштадте, что отправка моряков на юг является для него новостью. Тем интереснее встретиться с назначенными к армии.

— Дежурный по эшелону, лейтенант Дубасов. Чем могу служить, лейтенант?

Степан Осипович смеется:

— Ничем, лейтенант. Я просто узнал, что здесь свои.

Дубасов холодно показывает на классный вагон:

— Прошу к нам. Я вас не сразу узнал. Без бороды и баков, усы Тараса Бульбы!

— Я ведь николаевский.

Несмотря на поздний час, лейтенанты Шестаков и Петров, мичманы Персин и Баль и капитан 1-го ранга Рогуля, командир полуэкипажа, — все знакомые по бродячской эскадре, — режутся в штосс.

— Тоже к нам? — спрашивает Рогуля и, не дожидаясь ответа, вздыхает: — И шомени з вами усеми робить на Дунай? Вы пятнадцатым будете.

Макаров повторяет, что едет по командировке в Николаев. Его смущает прием. Офицеры не бросили карт и его не спрашивают об Англии, не спешат делиться своими планами войны против турецких мониторов на Дунае. Игра продолжается с подчеркнутым увлечением. Ему даже не предлагают места. Он стоит у двери, неловко прислонясь к косяку. Без сговора гвардейские офицеры единодушно не расположены видеть в нем товарища и гостя.

И в нем закипает досада. Какого чорта побегал он к этим белоручкам? Разве он мало знает их? Разве в прошлом году на «Петре Великом», когда, совершенно измученный трехчасовой работой в трюмах броненосца, грязный и мокрый, Макаров поднялся на шканцы, тот же Дубасов не сказал вслух, что некоторых морских офицеров по наследственности тянет на матросское дело? Они презирают его труд, презирают его происхождение, для них он — мизерабельный выскочка.

Не прощаясь, он быстро выходит из вагона.

— Вы спешите? — иронически спрашивает стоящий попрежнему под фонарем Дубасов. — Не повидаете всех наших? Здесь ведь и сын генерал-адмирала, Константин Константинович.

— Не имею чести быть знакомым, — отрывисто бросает Степан Осипович.

В конце эшелона, на открытых платформах, в деревянных ящиках, очевидно, мины. Степан Осипович хочет посмотреть груз, но окрик садового заставляет повернуть обратно к станции.

Уже на перроне его нагоняет офицер и громко окликает:

— Степан Осипович!

Макаров узнает лейтенанта Зацаренного, минного офицера из отряда Константина Петровича Пилкина.

— А мне лейтенант Дубасов сказал, что вы здесь бродите, Степан Осипович. Голубчик, едемте с нами в Галац! Лихие дела предстоят.

— И рад бы в рай, да грех не пускает.

— Грех — это, верно, Андрей Александрович Попов?

— И он, — уклончиво соглашается Степан Осипович. — Впрочем, я думаю расстаться с адмиралом для одного плана. И вот ежели бы удалось, то не мне к вам, а вас прошу ко мне.

— Какой план, Степан Осипович?

— Вам одному, пожалуй, скажу. Обещаете молчать до поры?

— Обещаю и сгораю от любопытства. Уж не подводную ли лодку вы с Куприяновым и Джевецким строить хотите?

— Подводные лодки — пока дело темное. Я хочу вести минную войну.

— А мы с этим и едем на Дунай!

— Но не в море, не во всех краях Черного моря. Турки прозят нас блокировать, а я их заблокирую.

— Минными катерами?

— Минными катерами, которые будут базироваться на большой миноносце, на нем доставляться к сражениям.

— Чудесно! — восклицает Зацаренный. — Чудесно! Я ваш. Недаром мне так сильно хотелось вас видеть. Только вы непременно требуйте мины Уайтхеда. Славное оружие! Мы уже получили образцы в Кронштадт.

— Я думал о них, но очень дороги, и в большом числе их не достать теперь из Фиуме. Придется начать с самых дешевых, с шестовых и гальваноударных.

Ударил второй звонок. Зацаренный крепко трясет руку Макарова:

— Так не забудьте, Степан Осипович, если будет удача!

— Непременно, непременно! Вам минную часть по заслугам следует отдать.

Эта встреча будто знаменует начало дела. Кажется, у Степана Осиповича уже есть сотрудник, первый партизан его минной флотилии. Чорт с ними, гвардейцами, не в первый и не в последний раз встречаться с их хамством! Он устраивается на полке с заметками к докладу главному командиру черноморских портов и работает весь остаток железнодорожного пути. Поезд попрежнему идет с проволочками.

Чем дальше к югу, тем больше на станциях дожидаются войска в вагонах — паровозов, а те которые в палатках — вагонов. Но Степан Осипович не принимает участия в сегованиях пассажиров на опоздании. Он работает.

4

Откинув кожаный верх брички, Степан Осипович глядит в голые, мокрые поля. На горизонте чернеют купы прибрежных деревьев, из дальней балки выбегают синие мазанки в соломенных шапках, за ними широкой свинцовой лентой простирается Буг. А на пригорках вырастают десятки ветряных мельниц, весело машущих гигантскими руками, тусклый крест на соборной колокольне, вышка морской обсерватории, белые казармы. Николаев!

Почти двадцать лет прошло с того дня, когда семья Макаровых выехала на Амур. Хорошо, что в городе отец, родной, несмотря на многолетнюю рознь. Он старый, одинокий, как и Степан Осипович. И теперь пришло время для нового рождения отцовского и сыновнего чувств. Очень хорошо, что перед войной Степан Осипович сможет жить у отца, облегчит Осипу Федорычу стариковское безделье в отставке, наладит его лечение у знающего врача. Только как найти верный тон после стольких лет отчуждения? Но нет, его письма в последние годы проложили дорогу к сердцу отца.

Лошади рысят через ворота городской стены, бегут по гравийной дорожке мимо Ингульского канала со старыми мортонowymi эллингами. За понтонным мостом дымит неуклюжая поплавка «Новгород» и укрывает дымом раснащенный тендер «Буг», которым в последние годы командовал отец.

Степан Осипович дает вознице адрес и велит завезти вещи. Хочется оттянуть встречу, подготовиться к ней. Он распаивает скрипучую калитку городского бульвара и медленно идет по боковой аллее до магнитного павильона. Здесь братья Макаровы и ребятишки Адмиралтейской слободы играли в морских разбойников. Павильон облупился, стал как будто меньше, а деревья над ним разрослись, отделили стеной голубой дом главного командира. Вот его белый бельведер и неизменный флагшток. Вот под обрывом каменные пристани, пристанские краны, якоря, горки ядер и медные пушки. Все прежнее — до

сухого ковыля на земляных покрытиях пороховых погребов.

Степан Осипович, ежась от холодного ветра, пробирается на округлый мысок в устье Ингула и устраивается на мокрых камнях, лицом к Бугу. На тихих заводях река уже покрывается салом. Еще несколько дней — и устье замерзнет до марта. Неужели ему придется торчать все это время в Николаеве и ежедневно отписываться в исполнении технических начертаний вздорного старика? В конце концов, независимо от войны, пора к тридцати годам выйти из постылого рабства. В Англии лейтенанта Макарова считают выдающимся представителем русского флота, читают лекции об его работах, а в России он только один из многих лейтенантов, к тому же дурного происхождения, не сулящего успешной карьеры.

Со стороны обсерватории пушка выпаливает полдень. В судовых мастерских откликается высокий и тонкий голос парового гудка. Надо итти, не обижать старика!

В семьдесят третьем году, когда Степан Осипович встречал отца в Севастополе еще на действительной службе, штабс-капитан сдавал, но держался молодцом. Теперь за стеклами галлерейки совсем другой человек. Осип Федорович, опираясь на палку, глядит из-под широкого козырька морской фуражки через улицу. Макаровского в его лице остались только широкая кость и сивые хохладкие усы. Кожа одрябла, приобрела землистый оттенок, а былая жесткость уступила выражению старческой обиды.

Положив руку на раму окна, Степан Осипович с жалостью смотрит на застывшие складки лица старика.

Старик, наконец, замечает его.

— Входи, заждался уже! — сипло кричит он.

Степан Осипович всходит на крыльцо и поспешно обнимает отца:

— Зачем же, папенька, на холодной галерее? Пойдемте в комнаты!

Он помогает старику снять бекешу и сам раздевается.

— А у вас тут хорошо! На токарном станке работаете, что вам прислал? Это вам полезно.

— Выточил чернильный прибор. Да это потом! Надолго ли приехал?

— Начальство, папенька, ведает.

— Все едут турка воевать, и ты за тем

же? А мне в третий раз не придется войну пережить.

— Отчего так? Скоро начнем, скоро кончим. Вы и не заметите, как войну пренесет,— с фальшивой бодростью уверяет Степан Осипович.

— Спасибо тебе! — обидчиво сипит Осип Федорович. — Тут вице-адмирал Ендогуров свой век доживает. Мы с ним на старости вроде сошлись, нынче гробы вместе заказали: живым хлопот не чиним, да и смерть не обманешь, встречать надо с поклоном.

— Что вам пишут Яша, Анна, Лизавета? Не собираются сестры к вам, папенька? — торопливо спрашивает Степан Осипович.

— А что писать? Они свою часть моих трудов получили. Яков и вовсе не пишет. Понятно, Амур — не Англия, не скоро письма добираются. Чай, думает Яков, напишу отцу, а он давно окохурился, и у него на могилке уже крест покосился.

— Охота вам все о смерти, папенька! — вырвалось досадливое восклицание.

— Ну, не хочешь, не стану! Рассказывай, коли так, о себе. Все за инженера работаешь? — Старик задает вопросы с явным безразличием: даже то маленькое оживление, которое появилось на его лице при упоминании о смерти, исчезло.

— У нас еще много времени, папенька. Вы извините меня, я умоюсь, явлюсь по начальству, а вечером вам расскажу.

— Ну, ну! Пройди, там Настенька тебе приготовила горенку. Вечером — так вечером. Я адмирала в гости приглашу. Он ходить бодр, а у меня ноги опухают — амурские ревматизмы.

— А вот с гостями, папенька, мне недосуг! Дела много.

— С адмиралом не можешь вечер провести?

— Хотя бы и с адмиралом.

Осип Федорович недовольно сипит:

— Блажишь! Какое такое государственное дело? Кампания кончилась. Скоро на лимане лед станет.

— Есть причина, папаша. План морской войны, особенный план я разрабатываю.

— Кто ж тебе его поручил? — недоверчиво спрашивает старик.

— Да если разобраться, так никто не поручал. А заниматься надо, и спешно.

— Мудреный ты, Степан! Мудрен и упрям. Сочинениями плантов не выслу-

жишься. Пять лет пишешь и хлопочешь по этой твоей непотопляемости?

— Седьмой год.

— Седьмой! А что получил? Чин? Ордена? Награды? Кукиш! Только здоровье расстроил. Денег даже на женитьбу нет.

От раздражения у Осипа Федоровича сипота усиливается. Он продолжительно кашляет и машет руками над посиневшим и вздувшимся лицом.

— Срамота, срамота!

— К чему об этом спорить? — спокойно и печально говорит Степан Осипович. — Вам, очевидно, непонятно, что можно искать работу без корысти, по одному призыванию.

— Оскорбляй, оскорбляй!

— Да кто вас оскорбляет, папаша? Пятнадцать лет вы мне не советовали и не помогали, а теперь вдруг обрушились с укорами. Пятнадцать лет я себе путь жизни пролагал, сам великим трудом добился, чтобы выйти во флотские чины...

— Вот, вот! — с неожиданным азартом перебивает старик. — Об этом я и толкую. По корпусу штурманов либо по Адмиралтейству ты уже в полковники вышел бы, а во флотских чинах — белая ворона, выше лейтенанта на-ко, выкуси!

— А, оставив совсем службу, может быть, крупным капиталистом был бы. Англичанам мог бы продать свои знания. Все знаю, соблазняли. Но я моряк и русский. Нет, пожалуйста, прекратим этот разговор!

— Да мне что? О твоей пользе пекусь. Оттого и ругаю, — примирительно говорит Осип Федорович.

«А о том, что именно я задумал, все же не спросил», — с горечью отмечает Степан Осипович. И пока он дрожащими от волнения руками достает из чемодана вещи, ясно становится, что надежда на дружную жизнь с отцом неосновательна. Совсем чужой человек отец! Совсем разное думают они, разное относятся к жизни! «Отцы и дети!» Скорее надо подавать докладную и убраться на корабль, в порт, куда придется.

5

Он привык просыпаться от продолжительного кашля Осипа Федоровича за стеной, от грохота кастрюль, от немолчного кудахтанья птичьего двора, сзываемого к дому низким голосом Настеньки. А сегодня необычно тихо. И чад из кухни не

щиплет глаз, и потолок выше, и солнце заглянуло на постель, и в окне крутая осыпь горы. Голова после сна тяжелая. Степан Осипович не сразу вспоминает, что уже неделя, как окончилось николаевское сиденье, что он в Севастополе и его ждет длинный рабочий день.

Пять минут на гимнастику, затем он подставляет голову и тело под холодные струи воды и растирается жестким полотенцем. Декабрьский бриз с моря проникает в распахнутое окно и укрепляет ощущение свежести и здоровья. Одеваясь, Степан Осипович корректирует план дня. С чего начать утро? Съездить на «Константин», посмотреть окраску подводной части или сразу к Конкевичу в Пароходное общество, распределить новые заказы?

Уже застегивая китель, он слышит в соседней комнате осторожные шаги.

— Кто там?

— Боцман Саенко, ваше благородие.

— Идите сюда, боцман! Что у вас?

Рыжий, веснучатый боцман останавливается в дверях и тербит не по росту большой рукой свисток на груди:

— Старший офицер послали до вашего благородия насчет команды. Во втором экипаже, кроме матросов второй статьи, неподходящий народ.

— Почему?

— Особо ничего не скажешь. Но нету в ём отчаянности.

— Своих хотите, из первого экипажа?

— Оно, конечно, я за них в ответе могу быть. Которые просятся добровольно, трусами не будут.

Степан Осипович достает записную книжку:

— Матросов первой статьи до комплекта нужно четыре человека?

— Так точно.

— Ну, возьмите в первом экипаже! Только чтобы фельдшер осмотрел! Теперь еще двух квартирмистров, марсового, четырех минеров... Минеров, Саенко, из городских, хорошо грамотных.

— Есть такие в восьмой роте.

— Ну вот, я с ними побеседую на «Константине». Вы мои вещи переправьте! Перееду сегодня на корабль.

— Есть переправить. Вчерась в ночь подкрасили каюту, медяшку надраили, чисто золото.

— Еще что у вас?

Боцман смущенно мнется.

Макаров пытливо смотрит на костистые

пальцы в рубцах и свежих ссадинах. Такой кулак бед надевает.

— Вы, Саенко, деретесь?

— В правилах нету, ваше благородие. Однако под момент случается. Насчет выранных тоже другой раз не удержишься.

— Смотрите, чтобы и «под момент» не было! Расписание составим всем работам, будем учить людей и требовать по уставу. Понятно?

— Понятно.

— С вами и квартирмистрами сам буду заниматься.

— А как, ваше благородие, с оспорщиком? Ежели его не вдарить, значит под суд отдавать? Парусник, например, Ефим Спичка, не захотел краску обдирать под килем. У меня, говорит, своей работы пропасть.

— Ударили?

— Пришлось.

Лицо боцмана и вся его фигура сейчас выражают полную покорность начальству. Велит командир расправляться боем — он готов. Прикажет доносить и сдавать под суд — пожалуйте. Но идея воспитания людей, ответственности начальника за умение и дисциплину подчиненных ему, как и большинству служаков на флоте, совершенно чужда.

Степан Осипович сердито раскладывает по карманам записные книжки, карандаши, часы.

— Вы, Саенко, за нарушение устава на первый раз останетесь без берега. А о Спичке доложите лейтенанту Давыдову. Пойдемте!

С глухого верхнего переулка по выщербленным ступенькам приятно скатиться на оживленную Нахимовскую. Скрипят немозаные можары, режут быки, ослы, лошади. Стоит ругань на русском, татарском, греческом, армянском языках. Сегодня базарный день. К полудню на улице станет тихо, а вечером по правой стороне лавой пойдет другой народ — уволенные с кораблей и экипажей моряки. Пойдут под руку с девушками Корабельной, Северной, Артиллерийской слободок и будут часами фланировать взад и вперед, несмотря на холод. Так ведется десятилетиями, такова неписаная традиция черноморцев.

Макаров пересекает Екатерининскую площадь. За портиком пристани между белых колонн густая синь рейда, видны пароходы на бочках и мачты корветов у северного берега. Ветер от вест-зюд-веста, в бухте

ходит зыбь, слева над рифами Николаевского мыска взлетают брызги, и белые зайцы играют в камнях.

— Командиру «Константина»! — кричит Саенко.

Из группы шлюпок выдвигается узкая гичка. Ее срезанная корма вплотную прилькает к краю пристани, и загребной лихо цепляет крюк за скобу.

Поздоровавшись с матросами, Степан Осипович заносит ногу через транец, но не садится. Рядом с гичкой пришвартован низкий, длинный катер. Он легко всходит на волне и грациозно качается. Высокая медная труба, цилиндрическая медная машина, место для дюжины людей, смелые обводы носа, как у индейской пироги.

— Эй, на катере! — окрикивает Макаров.

Вольный машинист высовывает голову из люка.

— Это чей катер?

— Был ропитовский,¹ а теперь механик господин Спрудин испытывает для военной надобности.

— Где же Спрудин?

— За офицером пошел. За Макаровым, что ли.

«Молодец Спрудин! Непременно надо оставить его и Пшенинского на «Константине». Не раздумывая, Степан Осипович быстро перескакивает на катер, сбрасывает шинель. Он шелкает пальцами по эластичному борту из тонких медных листов, лезет в машину, проверяет давление пара, пробует управление рулем. И, когда Спрудин возвращается из его квартиры, Степан Осипович уже знает о катере все, что можно знать о судне на якорной стоянке.

— Садитесь живо, Спрудин! Пойдем к Херсонесскому маяку.

— Не зальет?

— Увидим, Саенко, отваливай!

Он стоит у штурвала. Острый нос катера режет воду, винт пенит ее за кормой. По ветру летят брызги.

— Полный ход! — командует машинисту Степан Осипович, чувствуя соль на губах и удивляясь себе, что так долго мог обходиться без морской прогулки.

Катер оставляет влево буюк минного заграждения и держит на Константиновскую батарею. Широкая волна идет поперек из открытого моря. Степан Осипович кладет

руль влево. Волна падает за правым бортом, нос поднимается еще выше.

— Носовой минный шест даст диферент дюймов на шесть, и будет отлично, — объясняет Степан Осипович механику. — Это как раз то, что нам нужно. Первый корабль нашей флотилии, назовем его «Чесмой», а следующие будут «Наварин» и «Синоп». У вас есть в виду еще катера?

Механик наклоняется и показывает три пальца.

— Три? Столько нам и нужно.

Катер продолжает легко прыгать через зеленые валы и быстро проскальзывает водяные ложбины. Каменистый берег постепенно понижается, остается назади серая стройка собора и монастыря на Корсунском городище. Перед Камышевой бухтой Степан Осипович засекает время и направляет катер на Херсонесский мыс. Из трубы валит на корму прибитый ветром черный дым. Катер дрожит от хода машины и учащенных оборотов винта. Эжектор не успевает подавать воду, котел вскипает. Волны хлещут в низкое суденышко, обдают несколько раз боцмана и механика. На Степана Осиповича машинист накинул клеенчатый плащ, и с него ручьями сбегает вода.

«Куда держит отчаянный? Сейчас, наверно, пять баллов, и еще больше разводит волну», — злится мокрый механик, взявшись с непослушным эжектором. Катер удаляется от белого здания маяка. Полоса берега отступает и ширится. Теперь ее граница — красноватый Фиолент и отвесные уступы Айи. Над скалами в сухом тумане плывут горные цепи.

Наконец, Степан Осипович приводит на обратный курс, передает руль Саенко и идет к механику. Он греет обмерзшие руки, садится и смеется:

— Выкупались, механик? Какую скорость, по-вашему, развили?

— Узлов одиннадцать. Двенадцать даст после переборки машины, конечно не в такую погоду. Соппротивление волны пол-узла снимает.

— Правильно! И заметьте, не сильно стучит. Для ночных атак — прирожденная миноноска.

Свой рабочий план, нарушенный прогулкой, командир «Константина» намерен выполнить. Он приказывает держать на Лазаревский мысок. Покинув Северный рейд, катер идет под* стенами разрушенных казарм. Еще много впереди работ в Сева-

¹ Русское общество пароходства и торговли.

стополе, чтобы залечить удары прошедшей войны. Вот видна зеленая фигура Лазарева над Южной и Корабельной бухтами. Создатель мощи парусного флота скоро увидит в водах Севастополя могучие броненосцы и целые флотилии миноносцев.

Саенко стопорит перед эллингом. «Константин» громоздится на длинном рельсовом пути эллинга. Вся подводная часть уже загрунтована; мастеровые и матросы висят в беседках, окрашивая борта в густой черный цвет, отбивают белую ватерлинию. Степан Осипович пробует шаровую краску для подводной части, показывает новичкам, как водить кистью, чтобы краска ложилась ровно.

— Удача! У ахтерштевня он находит заводского начальника Конкевича и немедленно овладевает им.

— Завтра с утра спустим, Степан Осипович, — уверяет Конкевич. — Можете заказывать буксиры и тянуться на угольную стенку. Я вам три тысячи пудов кардифа приготовил.

— Мне его, дорогой, и даром не надо. Подавайте донецкий уголь, чтобы я поменьше дымил в море! А сейчас...

Степан Осипович увлекает Конкевича на трап. На палубе во всех концах идет работа. Пригоняют новые шлюп-балки, красят кнехты и люки. Заменяют слабые доски в палубе. Они спускаются в кормовой трюм, превращенный в матросский кубрик, проходят в котельное отделение, где ведется очистка и заново кладутся топки из огнеупорного кирпича, поднимаются на банкеты для орудий, в штурманскую рубку. На каждой остановке Степан Осипович вырывает листок из записной книжки и рисует, что ему нужно. Тут и изменения в штуртросе, и новые кат-балки, и укрепление брашпиля, и многое другое. Говорить в скрежете металла, в стуже молотков почти невозможно.

Конкевич с завистью кричит над ухом Макарова:

— Запас энергии у вас, командир, на десять человек. Заматаете подчиненных!

— Ничего, они у меня такие же десятижильные, — смеется лейтенант. — Только не считайте, Леонид Григорьевич, что это все. Сразу не упомнишь. Вот, кстати, мы с вами еще о помещении для мин не толковали. Пойдемте в носовой трюм!

Так проходит полдня. Наскоро поев в кают-компани, Степан Осипович тут же

выслушивает сообщения подчиненных. Незменная записная книжка перед ним.

У Давыдова, Писаревского, Вишневецкого все благополучно, но Зацаренный ставит задачу. Внутренние трубы мин делают зарядание их неудобным. Кроме того они текут в заклепках, соединяющих корпус с дном. С такими минами бесполезно ходить в атаки. Надо требовать мины Уайтхеда или, на крайний случай, Гарвея.

Степан Осипович несогласен с предложениями Зацаренного. Бумажная волокита может затянуться на бог весть какой срок. С турками легче воевать, чем с министерскими канцеляриями. И потом большие гарвеевские мины тяжелы для катеров, а в малых заряд ничтожный, не причинит вреда броненосцам. Он может говорить об этом с полным основанием, видел гарвеевские мины в действии на Спитхедском рейде. Мины Уайтхеда, конечно, замечательное оружие, но дороги, дороги, и без первого успеха «Константина» их не получить.

— Сделаем сами, — выпаливает Нельсон-Гирст.

Степан Осипович, к удивлению офицеров, утвердительно кивает головой. Конечно, обыкновенные мины можно заказать здешнему заводу, у него и литье иковка производятся обширно. Чтобы не было течи, дно следует загнуть на полтора-два дюйма на цилиндр корпуса. А вместо внутренней трубы для насаживания на нок шеста можно применить пружинные щипцы.

— Не правда ли, это дело исправит?

Зацаренный вынужден признать правоту командира.

— Значит, займитесь с Конкевичем!

— Это уже после праздников, — бросает реплику Писаревский.

— Какие праздники в военное время? Мы заводскую администрацию и мастеровых должны убедить не ослаблять работу для «Константина». — Степан Осипович теревит ус. — В сочельник, господа, идем в море на испытание машин. Если все будет в порядке, на следующий день производим девиацию, потом делаем испытания на повороты и скорость и начнем повседневные занятия с людьми.

Офицеры перешептываются. Писаревский и мичман Подъяпольский с гримасами перебрасываются записками. Очевидно, надо сразу подчеркнуть, что «Константин» —

военный корабль и вольнице на нем не место.

— Мы, господа, собрались в первый раз. Считаю нужным напомнить вам, что наше предприятие войны против турецкого флота без выучки будет авантюризмом. Минные, артиллерийские, водяные и пожарные тревоги, спуск и подъем катеров, внутреннюю и вахтенную службу должно поставить на идеальную высоту, следовательно работать по двенадцати часов в сутки. Никто не знает, какой нам срок отведет обстановка: три месяца или три дня.

— Значит, на праздники не будет отпуска? — разочарованно спрашивает Писаревский.

— Нижним чинам — обычное увольнение, офицерам в настоящей обстановке — никаких отпусков. С завтрашнего дня вам жить на корабле. Поднимаем флаг, господа!

Вечером Степан Осипович пишет отчетные письма генерал-адъютанту Аркасу в Николаев, А. А. Попову в Петербург. Его работу прерывает пришедший с суточным рапортом старший офицер.

На вечерней поверке весь экипаж оказался налицо. Больных нет. Потом лейтенант торжественно кладет на стол книгу.

— Это что? Откуда? — Степан Осипович читает на титульном листе: Берви-Флеровский, «Азбука социальных наук». Книга ему знакома. Он читал ее в Лондоне, знает, что она конфискована в России несколько лет назад.

— Отобрал сегодня у вновь прибывшего минера первой статьи Алексея Новгородцева.

— Зачем же? — простодушно спрашивает Степан Осипович.

Вряд ли лейтенант Давыдов имеет какие-нибудь сведения о книге по существу. Так и есть. Старший офицер удивляется:

— Разве самое название не говорит о том, что эта книга социалистическая? Значит, и минер — социалист. Он из Одесского ремесленного училища кстати, а в циркуляре III отделения специально указывается, чтобы офицеры обращали внимание на военнослужащих из одесских мастеровых, среди которых имеются распропагандированные тайной организацией.

Степан Осипович переспрашивает:

— И это все?

Потом лениво говорит:

— Даже если эта книга была бы социалистической, то нельзя каждого читателя ее называть социалистом. Вы, например,

могли бы ее читать. Напечатано в России, дозволено цензурой. И знаете, лейтенант, слово «социальный» — совсем не то, что «социалистический». Уверяю вас. Например, в повести благонамереннейшего писателя Достоевского «Двойник» чиновник Голядкин говорит о своем социальном положении. Так что отошлите книгу Новгородцеву! А впрочем, направьте его ко мне! Я минеров наших хочу основательно знать.

— Слушаю, — говорит обескураженный Давыдов.

За последние годы работы по технике Макаров сталкивался со многими развитыми рабочими в России и Англии. За границей о социализме говорят не стесняясь. Что ж, от этого Британская империя не становится слабее. Умный, толковый минер, пусть и социалист, лучше неграмотного мужика, который не разберется в устройстве гальванической батареи, может быть, наделает беды в бою.

Степан Осипович благожелательно оглядывает вытянувшегося перед ним матроса:

— Вы просились на «Константина», Новгородцев?

— Так точно.

— Почему?

— А стыдно ж, ваше благородие, здоровому человеку на печи сидеть, когда война.

Макаров смотрит в глаза Новгородцеву. Тот спокойно выдерживает взгляд командира.

— Я хочу, чтобы книг, не рекомендованных для чтения нижним чинам, на корабле не видели, Новгородцев. Чтобы вы не вооружали против себя ваших начальников. Понимаете? Возьмите вашу книгу!

Новгородцев молчит и пылливо смотрит на командира. У него теплые голубые глаза, высокие скулы, вздернутый, упрямый нос.

— Понимаю, — наконец тихо говорит он.

Степан Осипович тоже тихо спрашивает:

— А вы знали, что книга запрещена? — И как мальчишка краснеет. Жандармский вопрос! Расположил парня к себе и припер. Ну, конечно, он должен соврать. С видом человека, равнодушного к ответу, Степан Осипович берет перо и продолжает письмо.

«Я усиленно хлопочу, чтобы все работы были окончены к сочельнику... С завтрашнего дня у меня будут работать мастера-вые на пригонке, сборке и клепке...»

Он слышит за спиной тяжелое дыхание, откашливание, и, наконец, до него доходит твердое заявление:

— Знал, ваше благородие.

Степан Осипович вздрагивает и торопливо говорит:

— Хорошо, идите!

1877 год

Торпедное оружие, обладающее большим разрушительным действием, представляет мощную часть боевых средств РКВМФ и является основным и главным средством нападения и обороны корабля, на котором торпедное вооружение имеет преобладающее перед другими видами оружия значение.

*Корабельный устав
РКВМФ СССР.*

1

Дюк Ришелье высится над лестницей порта величественным римлянином. Бронзовый основатель города, не в пример упрятившимся в домах одесситам, стоически встречает порывы холодного ветра с дождем. На Приморском бульваре черные кривые акации суматошно раскачиваются над мокрыми скамьями; редкие прохожие проскакивают под деревьями, сбрасывая с воротников брызги воды.

Можно взять извозчика к вокзалу и даже уютно укрыться под пахнущим пылью кожаным верхом, но тогда до поезда останется много времени и придется вступать в беседы немалого общества. Конечно, на вокзале и контр-адмирал Чихачев, и Зеленый, и Дефабр, и налетевшие из Кишенева офицеры гвардейского экипажа. Чихачев вертит в стороны лисьей, седой мордочкой, елеинно шипит; остальные почтительно слушают. Нет, уж лучше пройти Пушкинскую под дождем!

В портике за строгими колоннами городского театра Степан Осипович просмотрел телеграммы в «Одесском Вестнике». Сербы окончательно сложили оружие и 1 марта подписали мир с турками. Значит, армия Османа-паши тоже освободилась для войны на нижнем Дунае.

Командир «Константина» кладет газету в карман и снова выходит на дождь. Крупные капли стучат по капюшону, сбегают по блестящей клеенке плаща. Степан Осипович досадливо передергивает плечами.

Невесело и неладно! До сих пор не сосредоточили даже двухсот тысяч солдат в Бессарабии. Штабов и ставок больше, чем бойцов. И царь при армии, и наследник, и Николай Николаевич Старший, и Николай Николаевич Младший, и при каждой особе десятки генералов для поручений и сотни офицеров без всяких поручений. Впрочем, разве на флоте лучше? Для командования несколькими спешно вооруженными пароходами и двумя поповками надо было одного Бутакова, знающего театр, имеющего военный опыт. А между тем, в распоряжении вице-адмирала Аркаса столько флагманов, что нет посудины без флага начальства. На «Константине» разрешено держать флаг севастопольскому начальнику, контр-адмиралу Попандопуло. Чихачев поднял флаг на «Вице-адмирале Попове», Викорст — на шхуне «Псезуаппе», Дефабр — на «Новгороде», Зеленый — на «Владимире», Кроун — на «Ливадии». Какая-то мексиканская комедия с участием швейцарских адмиралов, желающих получить высокие оклады.

Степан Осипович смотрит на круглые часы в витрине ювелира. Время идет чересчур медленно. Он все же слишком рано придет на вокзал. Куда деваться? Из соседней, открытой в полуподвал двери доносится острый, аппетитный запах итальянской кухни. Вот тоже способ убить час! Степан Осипович нерешительно сходит по ступенькам, сбрасывает плащ на спинку стула. Мраморные столики, черномазый хозяин, плохие олеографии, изображающие Колизей, Неаполитанский залив и Гарибальди, напоминают итальянские рестораны в Лондоне. Но посетители здесь иные. Нет уважаемых, медлительных англичан. Какие-то длинноволосые художники или пьянисты. Он улавливает отрывки беседы о постановке новой оперы, голосах заезжих примадонн и актеров. Странно, что в обстановке близкой войны, в соседстве с театром войны люди могут думать о чем-то совершенно чуждом, домашнем.

— Равиоли? Полету? Вина? — спрашивает хозяин.

— Штуфат и макароны с сыром-пармезан. Бутылку аккерманского.

Если бы удалось поговорить с контр-адмиралом Пилкиным без свидетелей! Он — главный руководитель по минной части. Он может добиться снабжения «Константина» минами Уайтхеда, может приказывать доставить пироксилин, чтобы не надо было

начинать мины порохом да и вообще не заниматься их кустарным изготовлением. Наконец, Пилкин может избавить от неприятного чтения лекций господам из гвардейского экипажа. Почему, в самом деле, «Константин» должен стать минным классом для кишиневских пшотов? Все равно, не будут серьезно слушать. Они будут на занятиях скучать, в надежде, что все необходимое об устройстве, установке и взрыве мин затвердят и усвоят их нижние чины. Ничего другого нельзя ждать от грубого, циничного карьериста Дубасова, от кичливого Рождественского, покинувшего ради орденов службу при Бутакове, от балованного сына адмирала-сановника Шестакова.

Он ест равнодушно и долго пьет свою бутылку вина. Пить Степан Осипович не умеет, и вино его никогда особенно не радует. Но сейчас, среди незнакомых и неизвестных людей, щиплющий и стягивающий рот напиток создает настроение. Командир «Константина» независим. И вообще славно запросто удрать на несколько часов от угольной погрузки, канцелярской дребедени, переписки со штабами и портами, от той же встречи адмирала.

«Придет инспектировать — свидимся», — вдруг решает Степан Осипович и на улице поворачивается спиной к вокзалу.

Между быстрых, разорванных туч, стремящихся через Жевахову гору, выглянуло умытое, выцветшее от белизны небо. Уже ложатся на город сумеречные тени, и в магазинах зажигаются огни. На Ришельевской, Дерibasовской, Гаванной, на Екатерининской площади густо пошли бойкие одеситы.

Макаров чувствует себя в толпе чужим, как будто он в заграничном порту. Все нерусское в этом городе: колонны и пилястры, навязчиво, в неумеренном числе прилапанные к домам, жестикулирующие толпы греков, евреев, итальянцев, запахи жаровен со скумбрией и каштанами, кухмистерских и апельсиновых лавок. И к русскому нет у этого города памяти. Он поставил монументы царице и Ришелье, сохранил в своих названиях Ланжерона и де Рибаса, но забыл о русских моряках, без побед которых не было бы Одессы на месте турецкого замка Хеджи-бея. «Мы ленивы и нелюбопытны». Разве одна Одесса пренебрегла победами Ушакова у ее берегов? Разве не вся Россия упорно отвергается от своей морской истории? Вот был моряк Станюкович, стал писателем и о море пересгал

вспоминать. Вот два года пробыл на фрегате «Паллада» писатель Гончаров и, между рассуждениями об еде на разных широтах, поглумился над русским матросом, рассказал несколько презрительных анекдотов, чтобы утвердить российского обывателя в мысли о тупости и равнодушии к морской службе тульского и рязанского мужиков. О том, что русские моряки героически воевали с Арктикой и Антарктикой, что они сотни лет назад на шитиках и стругах пересекали северные, восточные и Черное моря, — никто не напишет. О том, что без морей не было России, что без морей Москва была вторым Китаем, никто внятно не скажет. Тот же Гончаров — большой писатель — прошел мимо славного прошлого фрегата «Паллада», словом не обмолвился, что строил зря брошенный в Татарском проливе корабль и командовал им по началу великий моряк Нахимов. А почему такое небрежение к прошлому? Почему не гордимся мы своим правом называться старым морским народом? Почему посыпались насмешки и возгласы удивления севастьяновского начальства, что свои минные катера назвал Макаров в честь исторических сражений русского флота с турками? Почему никому в голову не пришло, что это необходимо для воспитания в матросах патриотического мужества, веры в победу над броненосцами турок? Как может иметь страна хороших моряков, если не окружает их профессию любовью? Об этом стоило бы написать в «Морском Сборнике».

Сторонясь экипажей, Степан Осипович обходит площадь, поднимается вокруг крутого спуска к Воронцовскому дворцу. Порт и море теперь лежат под его ногами. Холодная и мутная сине-алая полоса заката за карантинной гаванью. Красные и синие огни вспыхивают на клотиках паровозов и парусников. Ровный белый свет Ришельевского маяка ложится на отражательный знак Потаповского мола и дрожит в воде. Под ярким электрическим лучом видно, что море угрюмо вздулось, наливается чернотой. Вместе с гудками паровозов и грохотом вагонов в порту, сюда, на высоту, доходят рокот волн, запахи воды, сгорающего угля и масла.

Клочковатое черное облако поднимается над практической гаванью. Ветер отнесит его к Пересыпи, и Степан Осипович различает огни поповки «Владимир», своего «Константина». Однако он загулял! За три месяца ни разу не проводил столько

часов на берегу. В каюте сейчас согласно отстукивают хронометры время, и под их ритм можно читать и думать, забывая служебные будни.

Степан Осипович торопится по Воронцовскому спуску, под резким ветром прыгает по рельсовым путям и шпалам. У схода «Константина» его окликает лейтенант Писаревский:

— Я вас искал, командир, в штабе. У нас гости — контр-адмирал Пилкин и офицеры из Кишинева. Приказано с рассветом сниматься в Севастополь.

— Что ж, снимемся! Уголь погрузили полностью?

— На сто тонн больше.

— Пошлите ко мне в каюту лейтенанта Давыдова! Он разместил пассажиров?

— Пристроил по каютам. Адмиралу свою отдал.

— В мою надо было.

— Как же без вас.

Пилкин еще в кают-компани. Степан Осипович, отдав распоряжение механику разводить пары, идет представляться. Но Пилкин перебивает официальный рапорт:

— Оставь, Степан Осипович! Обними без официальных! Я ведь, господа, первый командир этого умницы, — поворачивается он к столу, расправляя пышную бороду.

Дубасов вежливо вставляет:

— Я знаю, ваше превосходительство. Помню даже, как вы привезли лейтенанта Макарова в Транзунд в кадетской куртке штурманского училища.

— Раньше, значительно раньше! Он плавал у меня на клипере «Абрек», когда с англичанами собирались воевать. Шустрый был мальчуган, но чтобы такой получился — не думал.

Бас Пилкина заполняет кают-компанию. Контр-адмирал убежден, что все молодые офицеры разделяют его любовь к Макарову и рады лишней раз услышать о замечательных морских качествах командира «Константина». Но Степан Осипович чувствует недоброжелательство непрощенных гостей и скрытую насмешку Дубасова.

Рождественский уже подхватил ее и наивно протягивает:

— Вы из штурманских кадетов? Как это? Почему?

— Вы, наверно, устали, Константин Петрович? Разрешите, я распоряжусь? — ровно говорит Макаров, не отвечая Рождественскому.

— Ну что ж, иди, командир, иди!

Пока вестовые вносят чемоданы адмирала и постилают свежее белье на койке, Степан Осипович отдает приказания к походу и собирает все, что ему нужно будет наверху.

Пилкин фыркает у умывальника, растирается полотенцем и гремит:

— Андрей Александрович собирается в армию. Тебя, Степан Осипович, специально навестит. Хвалит. Говорит, что окончил воспитание моряка.

— Спасибо!

— А ты не сердись! Тоже к старости не лучше будешь.

— Я адмиралом не буду.

— Обязательно будешь. Кому, если не тебе?

— Дубасову, Рождественскому.

— Боже сохрани! Что ты? Я не первого сорта, но в лейтенантах другим был. Эти же — береговики.

— Вы, Константин Петрович, позволили мне разговаривать неофициально. Я спрошу вас: что, Аркас и Чихачев другого сорта?

Расчесывая бороду, Пилкин уклончиво басит:

— Аркас — не в пример. Аркаса при салоне больше держали.

— А Чихачев?

— Ну, и Чихачев. Не в них дело. Растет флот, а на большом флоте будут большие адмиралы.

— Поэтому Бугакова, которого знают в Англии и Франции, фактически отставили?

— Степа! — укоризненно и беспомощно восклицает Пилкин и тяжело опускается на койку. — Не надо критиковать действия государя! — Он вздыхает и зевает. — Знаешь, что я тебя инспектировать буду?

— Этому я рад, — отзывается Макаров. — Пожалуйста, хоть завтра в море покажу, чему успели выучиться. Помощь ваша во многом нужна. Спокойной ночи!

Контр-адмирал крепко спит под мерные вздохи машины. «Константин» выходит из порта до конца сумерек, и уже высоко поднялось солнце и круглые сиреневые облака легко скользят над пепельно-синей пустыней, когда Пилкин взбирается наверх.

По левому борту дует крепкий ветер, космы дыма рвутся в клотиках голых мачт, от машины несет теплом и гарным маслом.

— Смирно-о! — командуют офицеры, занимающиеся с группами матросов у орудий и гальванических батарей.

Контр-адмирал с юта глядит на широкий, клубящийся след винта. Белая пена кипит в зеленой стекловидной массе, растягивается долгим хвостом за кораблем. Берег чуть виден в теплой, палевой дымке. Нежно звенит лаг. «Вот тебе и Степа Макаров! Давно ли я посылал его на салинг за плохо подвешенную снасть?» — вспоминает старый моряк, останавливаясь под свежескрашенным, щеголеватым катером. Он быстро оценивает достоинство шлюп-балок из тавровою железа с крепкими контр-форсами. Ловко поднимает свое грузное тело в катер, осматривает подъемные рымы и талрепы. Потом идет к паровой лебедке и довольно бормочет:

— Умница, умница!

С мостика Степан Осипович видит шныряющую по палубе фигуру адмирала, но не оставляет своего поста. Если нужно будет адмиралу — позовет. Вот он вступил в беседу с минером Алексеем Новгородцевым. Зацаренный вытянулся, дрожит должно быть, что его минера провалит Пилкин. Напрасно! Новгородцев сумеет ответить хорошо. Снова подняв глаза от карты, на которой он измерял оставшееся до Тарханкута расстояние, Степан Осипович находит адмирала у бушприта. Константин Петрович смотрит, как режет воду нос «Константина», и с явным удовольствием принимает брызги плещущих на бак волн.

Давыдов волнуется:

— Контр-адмирал не завтракал, Степан Осипович.

— Захочет есть, попросит.

— А где ему приготовить?

— Да где хотите! Вы об этом не беспокойтесь, лейтенант. Нам не осрамиться бы на спуске и подъеме катеров в море.

— Отчего ж осрамиться? Сто раз уж делали!

— Сто раз делали, а на сто первом можно сорваться.

Константин Петрович показывается на мостике перед обедом:

— Ну что, командир, когда сыграешь боевую тревогу? Посмотрим вооружение шестов, спуск и подъем катеров.

— Есть! В два часа пополудни начнем. Вахтенный, Спрудину передать, чтобы пустил пар в котлы катеров!

Ровно в два часа колокол громкого боя и барабанная дробь вызывают наверх экипаж «Константина». Во всех концах корабля вооружаются брандспойты и помпы, задраиваются иллюминаторы и люки. Комендоры за-

нимают места у орудий. Боцманская команда у галей. Рулевые, машинисты, минеры и командиры усаживаются в катерах, по расписанию, с абордажным оружием.

Грохочут паровые лебедки, из труб катеров вырывается пар. Раздаются последовательные команды: «Стопора отдать», «Тали раздернуть». Мелькают крюки, отталкивающие катера от бортов, шлюп-балки прогибаются под тяжестью, один из катеров черпает носом воду, гаки отдаются из подъемных рымов. Не прошло пяти минут, как «Чесма» и «Синоп» уже на своем ходу удаляются от «Константина».

— Вторую партию не надо. — говорит Пилкин. — Давай, Степан Осипович, пусть вооружаются, поманеврируют!

Зацаренный и Писаревский не дожидаются распоряжений с корабля. Строчки шестов на кормах и верхние штерты отдаются, шесты выдвигаются, очищаются, и сращиваются проводники. В бинюки Пилкин и Макаров видят точные движения минеров. Сняты бухты проводников, раскручены черные проводники, раскручены проволоки обратного тока и приращены к зажимным винтам поверочного ящика.

Зацаренный и Писаревский должны взорвать свои мины. Они отходят с утопленными на выдвинутых шестах минами около полукабельтова по траверзу парохода и командуют «Товсь!». Минеры торопливо вставляют штифты коммутаторов и опускают пластины батарей. Команда: «Рви!» Минеры нажимают пуговки коммутаторов. Машинисты дают полный ход назад. Вспышки желтого света остро колют глаза наблюдателей, раздаются глухие подводные гулы, и фонтаны черной воды взлетают за катерами, поднятыми волной.

— Четко, отлично! Вам, господа, есть чему поучиться на «Константине». Как видите, генерал-адмирал не напрасно отправил вас к Степану Осиповичу.

Офицеры молча слушают контр-адмирала. Рождественский один цедит:

— Это еще не боевая обстановка!

— Совершенно верно, — говорит Макаров. — Я прошу ваше превосходительство обратить внимание на недоброкачественность многих запальных стаканов. Потом с шестовыми минами на практике всегда может быть неудача. Катерам придется самостоятельно итти несколько миль. Опасаюсь, что в последний момент запутаются провода вокруг винта. Мины Уайтхеда более надежны и прежде всего самоходны.

— Ну, ну, хаять шестовые мины нечего, коли враз с двух катеров взорвались! — басит Пилкин.

Спорить с Пилкиным при офицерах-гвардейцах Степан Осипович не хочет. Он обращается к делу, поворачивает ручку телеграфа на малый, ставит пароход празым бортом под ветер, чтобы легче было поднять катера.

— Сколько, командир, у вас положено времени на подъем катеров? — спрашивает контр-адмирал.

— Семь минут, ваше превосходительство.

— Немного, немного! Катера тяжелые.

Степан Осипович опирается локтем на нактоуз, отводит взгляд от компаса. Лежачая мачта бушприта плавно поворачивает вправо, врезается в голубой склон неба, солнце и ветер меняются местами.

«Хороший человек Пилкин, но без размаха, без широкого горизонта. Ничем, должно быть, не поможет «Константину».

2

Сумеречные тени ложатся на Севастопольский рейд. Высоко над черной массой корабля затеплились якорные огни. На баке курят и танцуют под гармонь, пользуясь первым теплым весенним вечером. И вдруг торжественные рулады горна нарушают матросский отдых. Звуки трубы проникают в кубрики, каюты, машины, сбрасывают с коек, выгоняют из камбуза, кладовых и рубок. Все наверх! Большой сбор! Шкафут и шанцы в минуту наполняются толпой людей.

— Становись!

Две шеренги замирают перед решеткой машинного люка, на которую вспрыгивает командир и молодо кричит:

— Война! Поздравляю вас с войной!

Матросы и офицеры единодушно разражаются громким, продолжительным «ура». Такого «ура» не слышал рейд от дней Синопского боя. Оно звенит на Северной стороне, перекатывается за Голландией. Оно будит героев Севастополя в могилах Братского кладбища.

Степан Осипович плывет на могучей волне голосов экипажа. Он кричит в темноту, в неясные сиреневые лица свою правду о войне. Настал час выполнить задачу, которую решали многие поколения русских людей, которую ставит перед солдатами и моряками весь русский народ.

И снова «ура» гремит над глadioй бухты, достигает городского холма, разносится по его улицам.

— Знайте и помните, что наш пароход — самый сильный миноносец в мире! Одной нашей мины совершенно достаточно, чтобы утопить сильнейший броненосец.

Перекрывая третий победный возглас «ура», Степан Осипович поднимает руку и срывающимся голосом обещает:

— Товарищи! Клянусь вам честью, что не задумаюсь вступить в бой с целой турецкой эскадрой. Мы дешево не отдадим наших жизней.

Расходясь, матросы разговаривают меж собой про войну.

— В Константинополь пойдем? — спрашивает молодой матрос.

— Тоже скажешь! Там у турок великая сила кораблей. На Дунай!

— На Дунай — особо назначенные.

— Под кавказский берег.

— Баста, значит, турку кофеем баловать!

— Ему англичан поможет.

А в кают-компании офицеры пристают к командиру:

— Степан Осипович, когда начнем, куда назначают?

Он разводит руками. Он ничего не знает. Несколько раз говорил главному командиру, что желательно иметь на случай войны оперативное распоряжение. Генерал-адъютант Аркас счел это излишним. Сейчас, конечно, надумает. Жалко только, что сутки пропадут без толку. В войне неожиданность играет чрезвычайную роль, составляет половину успеха.

— На всякий случай подготовимся. Вы, лейтенант Давыдов, распорядитесь, чтобы в машинах развели пары! Вы, лейтенант Зацаренный, проверьте с Писаревским минную часть, Нельсон-Гирст — штурманскую часть, все карты, особенно какие могут понадобиться!

Эта ночь проходит на «Константине» необычно. По барабанной дробе артиллерийская тревога. Боцманские свистки вызывают на пожарную и водяную тревоги. У гальванических батарей проверяются мины шестовые, буксирные, вновь сконструированные Макаровым крылатки с буйками, ставятся боевые проводники, шашки с гремучими запалами. И, принимая вахту, офицеры спрашивают сдающих:

— Ну что, поступили приказания?

— Нет, не поступили.

Не поступают приказания и 13, и 14, и 15 апреля. Попрежнему «Константин» выходит на большой рейд для минного практического учения, спускает и поднимает катера, дымит в ожидании дела.

А телеграф приносит известия о войне. Отряд полковника Бискупского 13 апреля занимает Галац, Браилов и Барбошский железнодорожный мост в устье Серета. Уже 14 апреля пять турецких броненосных канонерок обнаружены в Рушуке. Отряд броненосцев отправился из Константинополя в Батум. В Сулине четыре броненосца и вооруженные пароходы Мустафы-паши. Там же английский капитан Гобарт, состоящий на турецком флоте в адмиралах.

— Как это, — возмущается Зацаренный, — допускает английское правительство?

— Обыкновенная история! Лорды один раз во время Критского восстания для соблюдения приличий исключили Гобарта из английской службы, зато потом наградили следующим чином и пенсией. И сейчас повторят то же. Да разве Гобарт первый? Вспомните Слейда, удравшего из Синопа в Крымскую войну! К тому же, на египетском флоте еще несколько англичан. Они строят турецкий флот, они его и инструктируют. Естественно!

— Естественно нарушение международного права?

— Слушайте, Зацаренный, право, в конце концов, определяется военной силой. Бейте турок — и англичане будут с вами считаться. — Степан Осипович вздыхает и стучит суставами пальцев по столу: — Аркасу рапорт послал, чтобы пустили в дело, — молчит. Попандупуло и Никонову докладывал — не имеют прав. Пойду, напишу телеграмму Попову. Зачем же мы вооружались?

Он посылает в одно время с телеграммой и письмо. «Константин» — корабль активной обороны. Турецкое правительство сбывало блокаду русских берегов Черного моря. «Константин» должен быть средством доказательства всему миру, что блокада эта только бумажная.

25 апреля он шлет второе письмо. Если «Константина» решили консервировать в Севастопольской бухте, то пусть дадут лейтенанту Макарову другое назначение. Сидеть на «Константине» за бонами, когда турецкие броненосцы бомбардируют и жгут кавказское побережье, невыносимо, позорно.

Это письмо, однако, можно было и не отправлять.

24 апреля Аркас решил, наконец, телеграфировать управляющему морским министерством Лесовскому:

«Пароход «Константин» в полной готовности. Можно ли разрешить выходы? Неприятельские броненосцы ежедневно появляются в виду наших портов».

Лесовский не любит Аркаса. Он докладывает о запросе главного командира черноморских портов генерал-адмиралу. В одно время с ним к Константину Николаевичу является вооруженный жалобой Макарова Попов. В итоге, Аркас получает нахлобучку. Лесовский спешно доводит до Аркаса резолюцию великого князя на его депеше:

«Разумеется. Меня даже крайне удивляет, что об этом нас спрашивает, а не делает сам, раз что война объявлена». Лесовский добавляет к этой резолюции свое язвительное внушение.

Поутру 28 апреля с Николаевского мыска передают семафор на «Константин»: «У вас будет командир порта, вице-адмирал Никонов».

Степан Осипович встречает начальника у трапа. Никонов увлекает его для разговора без свидетелей:

— Что вы, батенька, поторопились? Рассорились с генерал-адъютантом Аркасом зачем? Эх, молодо-зелено!

Степан Осипович догадывается, что из Петербурга пришло благоприятное для «Константина» решение.

— Помиримся, как только один броненосец утопит.

— То-то, что когда утопите... Ну, куда я вас отправлю, ежели ни с одного маяка нет у меня сведений, где турки? Кавказское побережье — не крымское: велико, батенька!

— А, положим, вам пришли бы сведения, что турки в Сухуме? Так пока депеша шла, пока я отправлюсь, турки трижды могут переменить порт, могут появиться и у Новороссийска и у Батума.

— И то резонно. Как же быть?

— Да очень просто, ваше превосходительство! Вот бумага, вот перо! Напишите мне предписание «итти вдоль южного берега Крыма до кавказских берегов, расспрашивая в наших портах, где видели неприятеля, чтобы ночью напасть на него с паровыми машинными шлюпками».

Вице-адмирал вытирает слезящиеся глаза и надевает очки. Старушечье, голое лицо его с мешками дряблой кожи и беззубым ртом растерянно и жалко.

— Тараканов много-с! — друг шопотом говорит он, накрывая мягкой рукой пробежавшего по листу крупного таракана.

— Много-с, — хрипит Никонов, рассматривая другого усача, ощупывающего перо, и опять снимает очки.

Степан Осипович молча смахивает таракана со стола и подает адмиралу вставку:

— Пишите, ваше превосходительство! С началом сумерек выйду. Буксиру «Матушке» прошу дать предписание, чтобы в пять часов пополудни подошел ко мне.

«Константин» расстался с английским грузовиком еще при мутной и бледной луне и повернул от крымских боегогов в открытое море курсом на SSO. Жестяно тренькает телеграф, требуя от машин полного хода. Дрожит корма от хода машины, хрипит черная труба, выбрасывая густые клубы дыма. Постепенно вокруг парохода разливается малахитовая бледность, выступают из мглы мачты, ванты, просторы пустой палубы. На востоке появляется червоная пыль, из моря вылазит багровый диск, и разбегаются радиусами дымчато-аметистовые полосы. С горбов воды, с грустным писком, снимаются чайки и сонно взмахивают тугими острыми крыльями.

Началось утро. Бодро свистит дудка боцмана Саенко на побудку. Укладываются койки. Полуголые крепкие люди наводят чистоту, окачивают палубу, гонят мутные струи по ватервейсу в шпигаты, протирают поручни, пушки.

Свежая муть убежала к западу, и воздух стал прозрачен, и от моря нежно пахнет солью. Хорошо! Даже дельфины радуются, показывая острые рылы туши. Их спины летят вперегонки по золотистой и сине-лиловой равнине.

После бессонной ночи тянет на койку. Степан Осипович оставляет вместо себя на мостике Давыдова и уходит в каюту. Он спит добрую половину дня и еще долго тщательно занимается своим туалетом.

Море попрежнему безлюдно. Штиль. Неоглядная, яркая бирюза. К рассвету пароход будет от Поты в пятидесяти милях, ст анатолийского побережья милях в восьмидесяти. Значит, уже ночью вероятно встречи с турецкими крейсерами. Вахтен-

ный начальник Подъяпольский подходит спросить разрешение на обычное чтение команды.

— Что собираетесь читать?

— Из старого «Морского Сборника» о бое «Флоры» с турецкими пароходами.

— Дельно! Но сегодня людей не держите долго. Пусть отдыхают! Ночь выдаться с тревогами. Вот еще из газет новости о военных действиях на Дунае прочитайте! Да с картой, мичман!

Степан Осипович сменяет Давыдова перед началом сумерек. Яркие краски дня борются с надвигающейся ночью, как в далеких тропиках. И, как в тропиках, внезапно море становится каменно-серым, оловянным, и в бархатном небе разгораются громадные звезды. Они блестят купами драгоценных алмазов, а среди них — еще более прекрасные розово-серебристая Венера, изумрудная Кассиопея, янтарный Юпитер.

Степан Осипович тихонько ходит по мостику, иногда спрашивая рулевого: «На румбе?». Рулевой медленно поворачивает большое, рогастое колесо штурвала: «Зюйд-зюйд-ост!». И командир кивает головой: «Так держать».

— Есть та-ак держат-ать, — на высокой ноте отвечает рулевой, довольный, что можно нарушить молчание мостика.

Тишина владеет морем и пароходом. Плеск воды под форштевнем, стук машины, шипение паров, удары винта, шаги — все звуки легки и приглушены, растворены в ночи.

Неужели всего десять лет прошло с долгих вахтенных ночей в Китайском море, когда штурманский кадет Степан Макаров мечтал о войне? Какие наивные приключения выдумывал он в скучные вахты и потом записывал в свой дневник!

Степан Осипович останавливается, смотрит на дымящиеся фосфором оловянные волны.

— Марсовой! Внимательно смотреть!

— Есть внимательно смотреть, — быстро отзывается голос.

— Не зябнешь, Голован?

— Никак нет! В полушубке, ваше благородие.

Писаревский, распахнув дверь штурманской рубки, выводит командира из размышлений:

— Степан Осипович, кок накрыл здесь ужин.

— Очень хорошо, сейчас приду. Как у нас лаг?

— Шесть узлов.

— Сходите в машину к Пшенинскому! Пока нам достаточно четыре узла, но чтоб можно было прибавить быстро. И вот еще что: часто искрит. Идем без огней, а какой толк, если фейерверк из трубы? Пусть бросают уголь одними кусками, не навалом!

— Есть! Вы принимайтесь за ужин, а то остынет!

Ночь идет. После чашки шоколада Степан Осипович застрял на диванчике с «Всемирным Путешественником». Занятно, однако, побывать в Константинополе. Он листает страницы с иллюстрациями, пока глаза не слипаются. Ткнувшись несколько раз носом в бумагу, Степан Осипович решительно поднимается. Чтобы не спать ночью, надо ходить по мостику.

И он снова шагает, поглядывая на мерцающие звезды, на светлую луну в жидком серебряном венце, на качающиеся холмы моря.

Вдруг с марса срывается торопливый возглас:

— Огонь по носу!

Степан Осипович и Писаревский всматриваются в горизонт. Ничего, кроме звездной россыпи. Но у марсового горизонт более дальний.

— Голован, ты не ошибся? Где огонь?

— Никак нет! Перемещается на правый борт.

— Прикажете поднять людей без шума и подать пар в катера, — обращается Макаров к лейтенанту и громко командует:

— Право руль, четыре румба!

На палубе топот ног, лязг оружейных замков, хлопнула крышка люка крют-камеры.

Торопливо прибегают Давыдов, Зацаренный, Подъяпольский, Нельсон-Гирст. Старший офицер рапортует о готовности минных команд и пушек.

— По местам, господа! Ждать приказаний! — говорит Макаров.

Он еще всматривается в темноту, хотя знает, что огонь давно оказался бы на траверзе. Несомненно, марсовой принял за огонь звезду. Но нет худа без добра. Практическая проверка перед близкой встречей противника полезна. Выждав по часам десять минут, Степан Осипович подзывает Давыдова:

— Дайте отбой, лейтенант! Спать не раздеваясь и наверху не курить! Присмотрите, чтобы из иллюминаторов и люков не вырвался свет.

— Вы не пойдете отдохнуть?

— Нет, займусь обсервацией.

Тишина уже не возвращается на «Константин». Особенно когда по обсервации выясняется, что Потти близко. Степан Осипович с нетерпением ждет рассвета. Он обозначается тусклым блистанием звезд, появлением на воде невысокой полосы тумана, и потом, как в прошлую ночь, восток медленно окрашивается в густой вишневый цвет.

Пароход на траверзе мыса Искурия. Открывается продолговатая вершина серо-зеленой горы Олень. Значит, до Потти меньше сорока миль.

Турки могут быть в Редут-Кале, у пограничного укрепления св. Николая. Надо внимательно осмотреть всю береговую полосу. Степан Осипович посылает на формарс второго марсового Гарковского и вахтенного начальника, мичмана Подъяпольского. Протягивается лесистый берег, в его лысине — местечко Хопи, у устья речки того же имени.

На рейде Редут-Кале нет никого. Горизонт ширится. Выплывает голубая шапка Цифербея. «Константин» уходит от нее к югу. Вода становится желто-зеленой от близких вод Риона.

Подъяпольский из бочки кричит:

— Открылся Потийский маяк!

В самом деле, в бинокль видны попеременно белые и красные лучи. Ручку телеграфа Макаров ставит на полный, потом на самый полный. Теперь «Константин» идет одиннадцатиузловым ходом. Пенный след остается за кормой. Сердитые буруны расходятся от носа. Небо розовеет, близится день. Уже видны белая круглая башня с куполообразным шаром, устье реки и длинный ряд деревянных магазинов.

— Играть боевую? — спрашивает Давыдов.

— Играйте и изготовьте катера к спуску с боевыми минами! Правее устья, кажется, суда. На марсе. — кричит Макаров, сложив ладони рупором, — что видите?

— Перед городом корабли. Кажется, три, нет, четыре, — радостно восклицает Подъяпольский.

— Ну, конечно, турецкие броненосцы, — вырывается у Макарова.

Ждать ночи или напасть сейчас? Сейчас, конечно! Можно рассчитывать на неожиданность. Вряд ли турки представляют возможность такого нападения.

— Лево руль пятнадцать! Лево на борт! — добавляет он после паузы.

Теперь хорошо виден весь берег. Но где суда?

С марса спустился Подъяпольский и сконфуженно говорит:

— Простите, командир, обманулся! Кусты принял за мачты. Пусто на рейде. Одна кочерма, вытянутая на берег, и речной катер.

— Ничего, мичман! Лучше предположить, чем не заметить присутствующего врага. А турок мы найдем сегодня ночью в Батуме.

Весь день «Константин» лениво уютжит море, ходя вдоль далеких синеватых берегов. С наступлением ночи начинается подготовка атаки. Ручка телеграфа переведена на «стоп». С остановленной машиной пароход качается на своей волне.

Со Степаном Осиповичем идет на «Минере» штурман РОПИТа Максимович за лоцмана. Зацаренный и Спрудин — на «Чесме», Писаревский — на «Синопе», Подъяпольский — на «Наварине» с рулевым РОПИТа Питсбергом. Старшины, минеры и машинисты уже в катерах, и топки, обильно снабженные углем, зажжены. В полном порядке и тишине катера сходят на воду и выжидают темноты. Она надвигается быстро. В 9.45 Макаров подает команду:

— Ход вперед!

Он стоит рядом с минером Ярцевым и видит, как в темноте матрос крестится. «Ничего, привыкнет, не надо замечать, что он трусит», — думает лейтенант и смотрит назад. Катера должны идти в кильватер, но под покровом ночи он различает только «Чесму».

Хорошо ли знает Максимович подход к рейду? Стали, по крайней мере, в семи милях от Батума. Он снова вспоминает все, что сегодня много раз вычитывал в лоции Черного моря о Батумском порте. К северу от обширной долины Чороха должен быть низменный мыс, покрытый редким лесом. Восточной границей Батумского рейда можно считать холм, на котором большое здание — замок.

Он пробирается к Максимовичу и долго

прислушивается к его указаниям рулевому. Наконец, спрашивает:

— Ну как, штурман?

— Смотрите вправо тридцать градусов!

— Два белых огня. Это Батумский маяк?

— Он самый. Я держусь левее к берегу, потому что в восточной части скоро будет лунный свет.

— Правильно, — успокаивается Макаров.

Сзади тихо тарахтят машины других катеров. Берега еще не видно, но он угадывается по отсутствию звезд на черном юго-восточном склоне неба, по запахам, чужим соленой свежести моря. Вдруг огонь погас, и снова выплыл из тьмы озон. Степан Осипович подтолкнул штурмана:

— Топовый?

— Топовый, — шопотом отвечает штурман и после паузы добавляет: — А вот и отличительный!

Но Степан Осипович и сам видит ниже белого огня красный. Надо узнать, куда идет пароход. Что если он направляется к «Константину»? Он приказывает застопорить и приглушенно окликает «Чесму»:

— На катере! Остановите машину и передайте назад на другие катера!

Зацаренный подходит к самому борту «Минера». Ночью крики по воде распространяются далеко. Но сейчас можно разговаривать вполголоса. Зацаренный замечает:

— В порт идет. Обсекает наш курс.

— Подождем! Еще неясно. Пока гакабортного огня не видно.

Вдруг красный огонь исчезает. Топовая белая звезда снова мигает и тоже пропадает. Таинственная ночная муть поглощает пароход.

— Неужели потушил огни?

— Да вот же гакабортный! — говорит Максимович, но никто больше не видит слабого огня на корме.

— Вы ошиблись, Максимович.

— Не ошибся! Просто он повернул. Видите! — торжественно восклицает штурман.

Белый топовый огонь вдруг вспыхивает с большей силой, а под ним режет тьму веселый зеленый свет.

— Поворот кругом — и снова в море. Это сторожевой пароход, — решает Макаров.

Он с досадой признается себе, что турок, идя в этом направлении, может от-

крыть «Константин». А что если это броненосец с сильной артиллерией? «Константин» должен будет принять бой, имея три пушки, годные только для борьбы с турецкими кочермами. И на нем нет командира.

Нет командира! Он, вопреки всем правилам службы, отправился сам в экспедицию... Надо, по крайней мере, исправить ошибку решительным нападением.

— Полный ход вперед! Руль право на борт! — громко командует он. Но снова спохватывается: чуть было совсем авантюрно не забыл долга начальника и главной цели.

— Лейтенант Зацаренный! Выходите вперед! Атакуйте пароход! Мы пойдем дальше на рейд.

— Есть!

«Чесма» ходит быстрее всех катеров. Ее узкий корпус быстро выдвигается и тонет в темноте. А сзади уже пыхтит «Наварин». Степан Осипович коротко знакомит Подъяпольского с обстановкой, и оба умолкают, всматриваясь и вслушиваясь в темноту.

Даже легкое тарахтение и всплески воды от движения «Чесмы» укрыла ночь, а пароход продолжает быстро приближаться. Свет вырывается из его люков и незадраенных иллюминаторов в два, местами в три ряда.

— Большой корабль! — с нотками испуга шепчет минер Ярцев.

— Что ж это, где Зацаренный? — то скливо считает минуты Макаров.

Ему вдруг становится жарко. Он нагибается за борт и, помочив в холодной воде руку, проводит ею по лбу и щекам. Все еще ничего не слышно. А вдруг на «Чесме» эжектор перестал качать воду, как однажды на Севастопольском рейде? Может быть, надо было самому итти? Может быть, всем вместе?

Ярцев опять вздыхает. Старшина, квартирмистер Лукшин шепчет ему:

— И чего ты боишься, парень? Разве две жизни проживешь?

— Не разговаривать! — строго останавливает Макаров. Он опускает влажную руку, в кобуре нащупывает рукоятку револьвера.

— Слышите крик, командир? — торопливо окликает его штурман. Он не успевает ответить. Низкий басистый гудок турецкого корабля взрывает тишину, катит-

ся по морю и замолкает, чтобы снова ударить в перепонки с тупой силой испуганного животного. Потом зеленые и желтые вспышки освещают небо. С жужжанием где-то несется безумная картечь и, хлоп-хлоп, трещат ружейные выстрелы. Взываются и шипят голубые нити ракет, рассыпаются под Млечным путем золотыми искрами.

На «Минере» так заняты и оглушены каскадом разнообразных звуков, что не слышат приближающейся «Чесмы». Катер неожиданно выскакивает из тьмы и пробегает под кормой.

Макаров слышит крик Зацаренного:

— Пойду снова в атаку. Не взорвалась мина.

С визгом лопаются картечь у борта катера. По дереву мачты щелкают пули. Под их певучий и тревожный свист Степан Осипович громко и спокойно командует:

— Полный ход вперед! Приготовить живую мину!

Катер дергается с места. «Наварин» уходит влево.

— Ярцев, что мину не сбрасываете?

— Сейчас, ваше благородие, буюк запутался. — Минер согнулся в три погибели, явно прячется от пуль.

— Скорее шевелитесь, пароход удирает!

Лукшин, Ярцев и Максимович возьматься на дне катера. Макаров слышит восклицания: «Не рви поплавок», «За штерт хватай», а время идет. Пароход заметно удаляется к гавани. Там тоже взвились ракеты, потух огонь маяка и гулко ударила большая пушка. Значит, все подняты на ноги, Сорвалась атака!

Люди прднялись, наконец, в рост. Запоздало плюхнулась у борта мина.

Катер прибавил ход, но до турка еще увеличилось расстояние. Он убегает с беспорядочной ружейной пальбой.

«По Зацаренному, должно быть», — соображает Степан Осипович. Он велит класть руль влево, дать самый малый ход и вытащить мину на борт. Он не может скрыть озлобленного огорчения нераспорядительностью команды. Лезет в карман за трубкой и сердито повторяет:

— Сорвали! Сорвали по нашей неповоротливости! Пуль на войне испугались!

Да, тепер-то порадуются Аркас и все недоброжелатели! А ведь первая неудача ничего не решает.

Два снаряда с гулом летят над катером и рвутся в воде, взметая фонтаны.

— Полный вперед! — тихо говорит Макаров, вытирая брызги на лице.

За пятьдесят сажен от турецкого парохода Зацаренный различает пушки на станках и колесо, бьющее лопастями по воде.

— Такой у нас на Балтике фрегат «Храбрый», — шепчет он Спрудину. — Сейчас мы его найрим. Новгородцев, левую крылатку за борт!

— Есть левую, — четко отзывается матрос, и мина с плеском летит за борт.

Шум на воде уже достигает парохода. Раздается тревожный возглас.

— Познакомиться желает, — шутит Новгородцев, услышав окрик часового. — Разрешите стрельнуть, ваше благородие? Зацаренный сурово обрывает его:

— Следи за контактом!

Мина на буксире подходит к борту. Слышен ее шорох по железу. Зацаренный подает команду «товсь» и ведет катер вдоль борта. Он хочет взорвать мину у парходной машины. Теперь уже несколько голосов кричат с борта парохода, вглядываясь в темноту.

— Рви! — бросает лейтенант.

Новгородцев замыкает ток, но взрыва нет. Может быть, неисправна батарея. Зацаренный в темноте торопливо проверяет действие пластинок. Все нормально. Он снова замыкает ток — и снова нет взрыва.

В катере еще никто не предполагает, что смелая атака бесполезна. Матрос Гарковский орет:

— Эй, земляки, кофей пить пожалте!

— Лейтенант, — с тревогой спрашивает Спрудин, — скоро ли? Нас подтягивает к парходу.

Зацаренный и сам уже понял, что мина попала под колесо и тянет за собою катер. Делать нечего, он приказывает рубить буксир и отходить.

Только тогда турки спохватываются и начинают стрелять. Зацаренный сделал большую дугу, чтобы выйти в тыл турецкому фрегату, и потерял направление. Напрасно он оглядывает все стороны горизонта. Огни Батума и парохода потухли, его окружает ночь. Хотя у него на борту вторая мина, но подвести ее без буксира, при вызванной бдительности турок, невоз-

можно. Он решает по звездам итти на норд-вест к «Константину». Милую за милей проходит катер, но море пусто и огня нет. Должно быть, направление взято неточно. Остается итти в Потю. В половине ночи, когда с «Чесмы» уже различаются переменные белые и красные огни Потийского маяка, со стороны берега доносится стук машины.

— На катере! — доносится голос.

— На катере! — отзывается Зацаренный.

— Какой катер? — снова кричат из темноты.

Это лейтенант Писаревский. Он тоже безуспешно искал «Константина». По его словам, «Чесма» и «Наварин» попали под сильный огонь картечи и, возможно, затонули.

— А «Константин»?

— Кто знает? Может быть, его взял турецкий фрегат.

Утром из Потю генерал-майор Шелковников телеграфирует в Тифлис и Севастополь, что два катера «Константина» пришли в Потю, что другие катера и пароход, возможно, захвачены турками, что сейчас в море прошли на север шесть их броненосцев.

В Севастополе 2 мая разносится злое вест о гибели экспедиции Макарова. Ее открыто называют авантюрой.

3

Еще гость и еще инспектор на «Константине», собственной персоной Андрей Александрович Попов, член адмиралтействсовета и начальник штаба генерал-адмирала на Балтийской броненосной эскадре. Фырканье наполняет каюту Степана Осиповича. Старческое, брюзгливое фырканье, не вызывающее в памяти милого образа «беспокойного адмирала». Если бы в кресле перед командиром «Константина» сидел Григорий Иванович Бутаков, Макаров сумел бы выразить свои переживания за мучительный после батумской неудачи месяц. Он рассказал бы о тревогах ночи после 2 мая, когда тщетно искал в виду неприятеля катера Зацаренного и Писаревского и только на рассвете решил итти в Севастополь, уверившись, что «Чесма» и «Синоп» погибли или захвачены турками. Он рассказал бы о новом, безуспешном поиске неприятеля у Сухума, которому мешали то туманы, то луна. И

он получил бы от Бутакова нравственную поддержку, поощрение к новым делам против врага.

Но Андрей Александрович чужд и недоступен душевным излияниям. Его интересуют «причины и факты», «факты и причины». «Что ж, извольте, ваше превосходительство, по этой части у нас избыток данных!»

Он отвечает ровно, как заученный урок, да и действительно заучено то, что уже докладывалось Никонову, Попандопуло, Аркасу, сообщалось в рапортах по всем адресам многочисленного начальства:

— Причина невзрыва мины могла заключаться в порче запалов. Из пятидесяти запалов четыре обычно не взрывались. Как я докладывал контр-адмиралу Пилкину, во многих запалах концы платиновых мостиков вовсе не припаяны, и проводники нетвердо держатся в капсулях. Ясно, что вследствие сотрясения или подергивания проводников концы могли отойти.

— А еще что?

— Еще? Проводники от запалов, выведенные снаружи мины, могли порваться на обшивке турка. По словам Зацаренного, буксир терся о борт парохода.

— Вот это основательно! Ваш офицер промедлил и не сумел взорвать, а вы запалы ругаете. У гвардейцев на Дунае те же средства.

— Не вижу вины лейтенанта Зацаренного. Он проявил исключительную выдержку, добиваясь взрыва мины у самой важной части корабля.

— Упрямству я не потатчик, господин лейтенант! А подобные суждения считаю вредными. У вас кумпанство, а не военный корабль. Книжки читают! Книжки изучают вместо мин!— Адмирал багровеет, выкатывает глаза, налитые кровью, шумно кашляет.

— И кто это делает? Мой воспитанник! Мне конфузно перед его высочеством.

Степан Осипович изумленно ждет конца взрыва. Прислонясь к шкафу, он, наконец, спрашивает:

— Кто же обязывает ваше превосходительство быть в ответе? За меня? Я полностью осознаю все, что делается на моем корабле. И в прошедшей службе тоже не без пользы работал. Вам это известно, если генерал-адмирал не в курсе. Даже теперь с «Константина» по вашему требованию пишу заключения о пожар-

ных помпах для новых броненосцев. Да в чем, собственно, упрямство? В чем комплаентство?

— А в том, милейший Степан Осипович, что сегодня у вас читают книжки, а завтра, окончив царскую службу, потолнят банды вреднейших агитаторов. Вы слышали о речи мастерового Алексеева на суде бунтовщиков? Прекрасно, а? А с чего эта речь стала возможной? С излишнего образования! Вполне согласен с вашим старшим офицером, что книгу матросу нужно давать лишь священного и военного содержания.

«Ах, вот оно что! Ревностный Давыдов оказался доносчиком!» Степан Осипович презрительно улыбается.

— Я, Андрей Александрович, ношу форму морского офицера и тяги к голубому мундиру не испытываю. Какое мне дело до чтения минера Новгородцева, если он сметлив, добросовестен и храбр? Не вы ли смолоду учили, что командиру надо беспристрастно думать прежде всего о морских достоинствах подчиненных?

Адмирал фыркает и озадаченно глядит на свои руки. Что-то глубоко запрятанное и забытое вызывают в памяти искренние слова Макарова. Он бормочет:

— Я об офицерах говорил.

— А ваш учитель Нахимов твердил, чтобы офицеры возвышали до себя матросов. На одно выходит!

— Время другое, командир, — вдруг устало говорит адмирал. — На жизнь государя покушаются. Весь российский уклад ломать хотят... Глуп ты еще, Степан Осипович! Между помпами и минами твоя кругозор. А туда же, обижаться на меня! — Он снова раздражается. — Не имеет пристрастия к жандармской службе? А без жандармов будут подчиняться грамотей?

— Я в таком свете на службу не смотрел, Андрей Александрович.

— А вы посмотрите! Не в ладу царская служба с завиральными идеями. Дубасов и Шестаков не мудрецы, а уже с георгиевскими крестами и золотым оружием. Ведь молодцы? Молодцы! С такими же минами потопили турецкий броненосец.

— Если бы у Измаила Зацаренного взорвалась мина, то и он был бы в славе, — сердито говорит Степан Осипович. — Как назло, гвардейцы успели, а у него неудача.

— Государь награждает не за намерения, — перебивает Попов.

— Но должно же ценить подлинную храбрость! Вся заграничная печать считает фантастикой появление минного крейсера с шлюпками перед Батумом. А на Дунае взрывали мины под прикрытием своей артиллерии, пластунов-казаков и стрелковых батальонов — совсем другой оборот.

— Завидуете! — бурчит адмирал. — И я завидую. Пшюты дело делают, а Макаров зря уголь изводит.

— Вы мне не смеете бросать такие обвинения! — вдруг срывается в крик Степан Осипович. — Не смеете! Я рядовым служить буду, но оскорблять себя не позволю.

— Да что ты, чего взбесился? Ну, не завидуешь — и ладно, — говорит оторопевший адмирал.

— Нет, ваше превосходительство, теперь уж послушайте меня! Дунайских героев я учил, по моим наставлениям действовали. И не зря я плаваю. В крейсере шесть турецких судов сжег под самым Босфором! Со времени моей вылазки в Батум турки не решаются подходить к крымским и новороссийским берегам. Блокада сорвана «Константином».

— Лейтенант Макаров! — останавливает адмирал и встает: он не может допустить безобразного поведения командира «Константина».

— Пускай моей службе будет конец, я вам теперь все выскажу! Я еще семь лет назад хотел с флота уйти. Помните, как вы меня грубо прогнали с работой о «Русалке»! Но куда у нас уйдешь? Вором становиться не захотел, продаваться англичанам не пожелал. Что ж, вы это оценили, мой неизменный начальник? Зря уголь перевозжу! Благодарю вас! Ну конечно! Я ведь не дворянский сынок, не светский шаркун, надо мной можно глумиться.

Он стремительно выбегает и хлопает дверью.

— Макаров! — кричит адмирал. — Назад! Я не отпускаю вас!

Но шаги командира удаляются. Вот он уже на палубе, пробежал на ют.

Попов фыркает и топчет в каюте. За много лет впервые так разговаривал с ним офицер. И кто? Почтительный, тишайший Макаров, выведенный им из ничтожества. Посмел кричать! Выскочил вон, не желая

слушать! Под суд, под суд! Пригрел змею, бунтовщика!

Он тяжело дышит, садится к столу, ищет чистый листок и вдруг задумывается. Господи! Да ведь сам он был таким в молодости, еще хуже взрывался при несправедливости. Макаров никогда не нарушал приказаний. В работе — вол. Мыслящий, инициативный офицер. И в войне этой, конечно же, из молодых моряков нет ему равного.

«Теперь вы меня выслушайте!» Значит, давно чувствует себя обиженным. Мною? Меня всегда любили настоящие моряки, все мои сослуживцы. Как провожали с Тихого океана! Со своим личным горем каждый приходил, на любые распекания не жаловались. И тот же Макаров плакал, отправляясь в Николаевск, точно отца покидал. Я и был отцом, строгим, суровым отцом.

«А в Петербурге? Ну, в Петербурге другое, не моя вина! Живешь не на корабле. Комиссии, заседания, двор, технические проекты. Поневоле теряешь связь живого общения. Но я ведь тот же, справедливый «беспокойный адмирал»? Конечно! Либерализму не потворствую? Не потворствую. Петербург — фор-марс флагманского корабля — всю Россию выдать. Либерализм нас погубит, его каленным железом выжигать. Но это иная статья. А Макарова прощу. Прошу и поддержку. Пусть узнает мою справедливость».

Он быстро идет к двери:

— Рассыльный, командира ко мне!

В ожидании Степана Осиповича адмирал фыркает и делает заметки. Придя в Одессу, он прикажет Аркасу послать Макарова с двумя пароходами к Сулину. Пусть отличается! Чин тоже дать следующий — капитан-лейтенанта. Пусть не думает, что только Бутаков к нему справедлив!

— Войдите! — рывкает он, услышав стук, пучит рачьи глаза и отдувается.

— Ну что, перекипел, лейтенант Макаров? Садись, садись, Степан Осипович!

— Я могу просить прощения за мой тон и самовольный уход, ваше превосходительство, но по существу...

— Ладно, ладно! Я забыл, все забыл. Я тебе как отец выговаривал. Недаром меня прозвали «беспокойным адмиралом» — всегда хочу больше и лучше. От тебя требовать мы вправе.

Степану Осиповичу понятно, что старик

может умиляться собой, гордиться своей беспристрастностью. Но ему представляется, что в этом есть какой-то расчет, хитрый и эгоистический.

Он сухо кланяется:

— Благодарю за лестное мнение.

— Завтра придем в Одессу. Оттуда пошлем тебя к Сулину. Бери реванш за Батум! Хорошо?

— Постараюсь, ваше превосходительство.

Шесть недель войны — и никаких успехов. Борьба идет за острова на Дунае. Армии топчутся на месте, выскивая места для захвата переправ. Турки, несомненно, в лучшем положении. Имея достаточно сухопутных войск, они вдобавок располагают большим числом вооруженных артиллерией канонерок. Правда, верхнедунайская эскадра Делавера-паши под Браиловом потеряла два башенных броненосца: сначала — «Лютфи-Джелил», взорванный на воздух гранатой русской береговой артиллерии, затем «Сеифи», атакованный и потопленный минными шлюпками. Но она все еще достаточно сильна, имея в Виддине — монитор «Беюр-Делен» и деревянную канонерку «Варна», в Рахове — броненосную лодку «Подгорица», в Никополе — броненосную лодку «Скутари», в Систове — канонерку «Суннэ», в Рушукке — броненосец «Хизер» и пароходы «Ислабад», «Ниш» и «София», в Туртукае — канонерку «Шефкет-Нума», в Силистрии — пароходы «Аркади» и «Фульбоа», в Гирсове — канонерку «Аккиа». Эта большая флотилия, несмотря на минные заграждения близ Рени и устья Серета, может быть с моря пополнена также сулинской эскадрой. Четыре броненосца Арифа-паши: «Аджлали», «Фетхи-Буленд», «Мухадем-Хаир» и «Картал», базируются на Сулинский рейд. Отсюда они обеспечивают фланг турецкой армии.

Успешный удар по нижнедунайской эскадре важен для развития русских операций на левом берегу Дуная. Из Сулина турецкие броненосцы охраняют Кюстендже (Констанцу), Варну, господствуют над входом в Дунай с моря. Из четырех главных гирл (протоков) реки Сулинское гирло — самое важное. Портицкое гирло, первое с юга, совсем не судоходно. Георгиевские гирлы — выше Портицкого на 30 миль — доступны для мелких судов, сидящих в воде не более

пяти футов, и, с устройством порта в Сулине, посещаются только рыбаками.

Наконец, Килийские гирла, семь мелких протоков, тоже не судоходны.

Сулинское гирло или Сунне-Богаз тянется до устья 17 миль и имеет на баре самый глубокий фарватер. Город Сулин расположен на правом берегу Сулинского рукава. Сулинский рейд — пространство моря радиусом в две мили, и центром его является голова северной дамбы. Северная и южная дамбы простираются в море на расстояние до пяти тысяч футов и дают удобную стоянку кораблям. Изгнать с Сулинского рейда сторожей дунайских дверей — задача чрезвычайно соблазнительная. Минные атаки — первое и единственное средство, которое есть в распоряжении русского командования. Поэтому предложение адмирала Попова встречается в ставке с одобрением. 28 мая, усиленный двумя паровыми катерами одесской минной обороны и пароходом «Владимир», Макаров выходит в экспедицию.

Красноватые обрубы мыса Фонтан. Унылая коса, прикрывающая Днестровский лиман с севера. Другая коса, ограничивающая тот же лиман с юга, в бледной и редкой зелени. И степной, чуть выдающийся над водой берег с грустными курганами. Таков путь экспедиции. Пароходы раскачиваются на жидкой желтоватой зыби, под хмурым по-осеннему небом.

Командир «Константина» безрадостно и скупое отвечает на вопросы офицеров. Ему все немило в этот раз. Он не видит нужды в поддержке слабого «Владимира». Если броненосцы турок откроют экспедицию в условиях, невыгодных для минной атаки, «Владимир» только стеснит действия «Константина». Нет пользы и от увеличения числа минных катеров. Одесские катера громоздки, их приходится тащить на буксире, и если норд-ост разыграется, с ними будет немало возни. Вот и сейчас буксирный трос подозрительно натянулся, катера тяжело падают на гребень волны и еще тяжелее всходят.

Степан Осипович недовольно качает головой, открывая дверь в штурманскую рубку. Накурено, шумно. Что-то рассказывают одесситы — Владимир Рождественский и Пущин.

— Господа, попрошу вас не мешать штурману!

Он склоняется над картой вместе с Максимовичем. Еще слишком быстро идет

«Константин». Надо уменьшить ход, чтобы не раньше восьми часов быть в двадцати милях от острова Фидониси.

Максимович взглядом спрашивает объяснение.

— Броненосцы обычно крейсируют в этом районе. — Макаров проводит полукружие от Сулина радиусом в 40 миль и снова отправляется на палубу.

«Владимир» репетирует сигнал «Константина» — итти к Килийскому гирлу и стать у местечка Жебрияни. Обволакиваясь кольцами дыма, он выходит из кильватера вправо. Очень хорошо, одной заботой меньше!

Макаров смотрит, как слетают один за другим сигнальные флаги, как работают в катерах сосредоточенные минеры, проверяя действительность запалов и проводников. Из офицеров хлопочет один Измаил Зацаренный. Он надеется сегодня поправить батумскую неудачу. Дай ему бог! Но с таким оружием успех остается делом случая. Нет, ни Пилкин, ни Попов, ни дунайские взрывы не убедили командира «Константина» в надежности шестовых мин. Для морской атаки нужны мины Уайтхеда, а не палки. Все, о чем Степан Осипович мечтал, вооружая «Константин», достигимо лишь минами Уайтхеда. Наивно было строить расчеты на опыте американской войны. Против средств наступления, примененных Кэшингом, уже выработаны средства обороны. Против хорошо направленной мины Уайтхеда обороны нет и вряд ли когда-нибудь будет.

За ужином Степан Осипович не может удержаться от пламенного восхваления нового оружия. Многие офицеры о нем имеют смутное представление.

— Расскажите, Степан Осипович, об устройстве мин Уайтхеда! — просит Пушин. — Я семь лет в Торговом флоте плавал, знаю, что мины сами движутся, а почему — бог весть.

Макаров не заставляет себя долго просить. Он чертит удлиненную сигару, делит ее на три отсека. В носовой части металлического снаряда, — объясняет он, — помещается взрывчатое вещество и ударный состав. В средней полости находится резервуар для воды на случай затопления мины. В кормовой части помещаются механизм, винт и резервуар сжатого воздуха.

— Эта кормовая часть, — оживает Степан Осипович, как всегда, когда речь заходит о технике, — самое интересное изо-

бретение. В корме имеются рули. Одни вращаются вокруг горизонтальной оси и регулируют глубину хода мины. Наобооот, руль, вращающийся вокруг вертикальной оси, удерживает мину от уклонения в сторону. Теперь для выпуска мины, говорят, уже создается особая пневматическая пушка. Мина вкладывается в нее снаряженной, то есть накаченной воздухом. В момент вылета она задевает маленьким рычажком за скобу в пушке. Задетый рычажок открывает клапан из резервуара сжатого воздуха в машину, механизм начинает действовать на винт, и мина идет по заданному направлению.

— Гениально! — восклицает Пушин.

— Это еще не все, — торжествует Степан Осипович. — Смотрите на изобретение Уайтхеда как на неокрепшего ребенка. Представьте, что вместо воздуха накачен чистый кислород, который хорошо горит, и достигнуто его автоматическое зажигание в механизме. Тогда мина будет итти несколько кабельтовых, может быть милью, со скоростью, какой мы еще не знаем. А с другой стороны, этот тип двигателя со сжатым газом может быть поставлен на корабли. Он сейчас уже, мне кажется, с успехом может быть применен для катеров. И, наконец, эта сложная система рулей — не открывает ли она вам картину будущих подводных плаваний?

— Некстати нынче война, — вздыхает Пушин. — Лет пять бы еще на подготовку! Будь я министр, дал бы вам, Степан Осипович, миллионы, лаборатории, людей — создавайте оружие!

— Жалко, что вы не министр, — смеется Макаров. — Но, серьезно говоря, я думаю, что толчки к новой технике мирным временем не даются. Техническое творчество в военном деле создает потребность войны. Самая мысль о миноносцах у нас не возникла бы, если бы имелась на Черном море броненосцы.

— Отчасти так.

— Несомненно так. А теперь по нашему следу бросятся и Англия и Франция. Даже сухопутная Германия. Давеча в Одессе являлся ко мне с визитом один белобрысый Фриц. Типичный пруссак по выправке, манеры барона, а впрочем, видать, соленый моряк. Восторгался идеей нашего парохода и, между прочим, удивлялся, почему один «Константин» для такого дела используется.

Пушин щурится и говорит вполголоса:

— Вопрос, на который без дипломатии нельзя ответить.

— Ну, я просто отделался! А почему, спросил его, не было боев между германскими и французскими кораблями в семидесятом году?

— Откланялся?

— Немедленно.

Вся кают-компания дружно хохочет.

— То-то, — заливается Зацаренный. — Он сорвался. Присядь посмотреть минное учение — и вдруг из каюты командира цаплей — раз, раз, на сходни. «Куда же вы, коллега?» — «Спасибо, я пуду смотреть нах Донау». И пошел.

Степан Осипович вытаскивает из кармана куртки хронометр.

— Собирайтесь, господа! Через 20 минут спустим катера. Значит, порядок такой: в голове — Зацаренный на «Чесме», затем Рождественский и Пушин — на одесских катерах, Писаревский — на «Синопе», Вишневецкий — на «Наварине» и Нельсон-Гирст — на «Минере». Прошу итти кильватерной колонной, пока не увидите противника. Впрочем, ежели турки не ходят в море, я подтащу к Сулину поближе, чтобы сберець ваше топливо. Придвиньтесь-ка, господа, я покажу вам на карте курс к Сулину и место встречи!

Плавание с шестью катерами на буксире становится трудным. Не один раз из темноты мигает фонарь, означая, что где-то лопнул буксир. Приходится стопорить машину, заводить новые концы. Потом натянутый фалинь вырывает на «Чесме» и «Наварине» рымы, и много времени уходит, чтобы обвести буксирные концы вокруг машин катеров.

Степан Осипович рассчитывает итти восьмиузловым и быть у Сулина к полуночи, но волнение слишком велико для катеров. Вода хлещет через их низкие борта, может испортить капризное оружие. Он убавляет ход до семи с половиной узлов.

Наблюдение ведется в эту ночь с бушприта, бортов и фор-марса. Почти одновременно раздаются несколько возгласов:

— Белый огонь!

Через равные промежутки от постоянной белой звезды расходятся блистания. Это открылся Фидонисский маяк на каменистом горбу Зменного островка. Караван «Константина» оставляет его влево. Теперь до Сулина на зюд-тен-вест около 20 миль. Пароход и катера гасят огни кроме слабых кормовых фонарей.

В полночь между плотными облаками пробивается узкий серп месяца. Неширокая, дрожащая серебряная полоса бледного света лежит на свинцовой зыби, остальное море черно и глухо шумит. Рядом с одинокой звездой появляется слабый белый свет южного Сулинского маяка, а турок нет. «Как откроется северный маяк, значит пять миль. Пушу катера с богом!» — решает Макаров. Ветер переменится, несет с южных рукавов разлившегося Дуная клочки тумана. Бушлат и белая фуражка набухают от влаги. Как будто в балтийском плаваньи. Эх, были бы здесь балтийские броненосцы!

— Красный огонь!

Прищурясь, Макаров смотрит вдаль. Что там, между двумя маячными огнями? Сколько судов турок? Как готовы они отразить нас? Ему придется ждать до утра рапортов. Ему строго заказано Поповым и Аркасом лично участвовать в атаке.

— Катерам отдать буксиры! Итти вперед!

Снопы искр поднимаются с воды, темнота сгущается. Катера проходят вдоль борта, и Степан Осипович снова напоминает:

— Держитесь на румб правее белого маяка! Буду ждать вас от рейда в четырех милях на норд.

В свисте усиливающегося ветра катера один за другим исчезают за бушпритом «Константина». Степан Осипович ждет несколько минут и переводит ручку телеграфа на средний ход.

— А лоция не врет, штурман? Тут мелей нет?

— Откуда же им взяться на нашем курсе? Я в прошлом году раз шесть здесь проходил, — уверяет Максимович. — Мель начинается вот здесь, — тычет он в карту, — четыре мили к западу.

— Все-таки поставьте лотовых по бортам и на носу! — приказывает Макаров.

Кто их знает, эти реки! Они капризно меняют русла, меняют течения, то уменьшают, то увеличивают расход воды. А судно, выскочившее на риф или приткнувшееся к мели, в минуту становится игрушкой стихий.

После войны хорошо бы поплавать на гидрографическом корабле, составить новую лоцию. А то у анатолийского берега ходишь там, где означены горы.

Степан Осипович останавливается за

штурвальным, старым латышом, и смотрит на картушку, освещенную лампочкой под широким зеленым картузом. Стрелка упорно соскакивает с норда к весту. Раскачиваясь вместе с штурвалом под бортовой качкой, рулевой быстро ворочает рогастое колесо.

— Что у вас, Питсберг?

— Трудно держать на курсе, ваше благородие. Сносит течение.

— Положите руль вправо пятнадцать... еще... кладите на борт!

«Константин» круто кренится, в борт хлещет волна и с головы до ног накрывает лотового.

— Под килем 30 футов, — кричит матрос, упиравшись в фальшборт.

— Под килем 32 фута, — кричит лотовый с другого борта.

Макаров смотрит на стрелку компаса, пока она не приходит на ост:

— Так держать!

Да, хорошо поплавать с гидрографической целью! Какая чудесная морская практика была на «Димитрии Донском», когда ходили на шлюпках для промеров!

Чтобы не думать в ночном мраке, под свист ветра в голых мачтах и тугих фалах, под нагужное шипение паров и гул толкающихся в борта волн, о тех, которые теперь, наверно, отважно ринулись на бронированные громады турецких кораблей, хочется вспоминать что-нибудь веселое. И, прислушиваясь к донесениям лотовых, командир «Константина» уносится мыслью в прошлое.

— Под килем 28 футов!

— Под килем 29 футов!

Штурман Максимович зевает и жалеет лотовых. У военных моряков, у самых милых людей непонятно черствый формализм. Зачем понадобилось командиру мучить людей, раз его заверили, что мелей здесь нет? Бедняги уже охрипли.

— Под форштевнем 16 футов! — раздается тревожный голос, и, прежде чем штурман успеет сообразить, что нужно делать, пароход скрежещет килем по гальке и кренится на правый борт. Максимович с трудом сохраняет равновесие. Он видит, как быстро пригнулся к телеграфу командир и резко дернул ручку назад. Дрожь проходит по кораблю, машина гучко стучит, и снова скрежет по гальке.

Сходит? Нет, не сходит! Все звуки умерли, только винт беспомощно бьет по

воде, поднимая ил, и громче плещутся волны в левый борт.

Максимович был бы сейчас рад любой ругани командира. Да, все было бы лучше, чем то, что Степан Осипович его не замечает. Оставив на машинном телеграфе вахтенного начальника, командир бросился на шкафут. Он распоряжается спуском шлюпки, он выставил людей вдоль борта для выбрасывания мешков с углем. Максимович слышит, как в ночной мгле ударили весла и заходил шпиль, отпуская верп. Что бы делалось сейчас на «Константине» под его старым торговым флагом? Сумятица! Пассажиры требовали бы спасательных поясов, спуска спасательных шлюпок, подачи сигналов на берег о помощи. А на военном «Константине» молчаливо и быстро идет работа. Еще десять-пятнадцать минут — и все подготовительные работы будут закончены. Верп уже завели. Теперь волны и течение бессильны протащить пароход вглубь мели.

— Подъяпольский, — слышит штурман голос командира, — полный ход назад!

— Есть полный ход назад.

Скрипят шпангоуты, дрожь проходит по бимсам палубы, снова скрежещет киль по гальке и винт взбивает ил.

— Все на ют! — звонко кричит Макаров.

И хотя это приказание относится к матросам, Максимович торопливо бежит со всеми и вместе со всеми топчет у кормы. Он желал бы сейчас представлять тяжесть в тысячу пудов, чтобы сдернуть нос с мели.

— Самый полный назад!

— Есть самый полный назад.

И вдруг судорожное биение винта переходит в ровный шум. Широкая волна отгоняется кормой, Палуба становится обычно легкой и покачивается из стороны в сторону.

— Форштевень сошел, — кричит лотовый. — Под форштевнем 20 футов.

Максимович бежит в штурманскую рубку. Надс проложить верный курс и отметить предательскую банку. «Эка нас отнесло проклятое течение!» — бормочет он, вытирая мякишем прежние заметки и обозначая мель.

А Степан Осипович ходит по мостику и гадает: были ли взрывы? Может быть, в пылу работы они не услышали.

— Максимович! — зовет он.

— Слушаю, Степан Осипович.

— Взрывы слышали?

— Нет. Впрочем, не скажу. Может быть.
— Да что вы своим ушам не верите?
— Верю, то есть не верю. Нет, уж я раз подвел, так знаете...

— Да бросьте, штурман! Чего вы волнуетесь? Оба мы хороши, течения не учли.

— Вот именно, Степан Осипович, проклятое течение! Но это мне непростительно. Я поправку на течение сделал вдвое меньшую, пожалуй.

— Тс! Слышите?

С Сулина глухо доносятся низкие звуки. Не то взрывы, не то выстрелы орудий.

Степан Осипович напряженно вслушивается и всматривается. Какие-то отблески на горизонте. Может быть, молнии, зарницы.

Начинается рассвет. Чайки с тоскующим призывом летят под свежеющей мутью. Надо отходить на север, к условленному месту.

В четыре часа отбивают склянки, смена вахт. Но сменившиеся не идут вниз, стоят у бортов и всматриваются, не покажутся ли в волнах низкие зеленые корпуса родных катеров. Никого! Желто-бурое море у низких берегов Дуная пустынно, и только над берегом за косой Килийского гирла дымит «Владимир».

4

Папка с черновыми рапортов и донесений командира «Константина» растет. О сулинском деле в ней записано:

«В семь часов подошли катера. Они были задержаны тем, что винты их запутались в рыбацких сетях, и притом большое волнение от норд-оста и толчея заливали катера. Никто из вернувшихся не видел одесского катера № 1 под командой лейтенанта Пушина. Участь этого катера мне неизвестна. На остальных катерах легкие повреждения.

По сведениям, собранным мною от командиров катеров, оказалось, что три броненосца, как только увидели наших, тотчас же открыли артиллерийский и ружейный огонь. Лейтенант Зацаренный первым выскочил в атаку, но несчастье, повидимому, преследует храброго офицера. Как только он спустил мину за борт, проводник запутался в винт, и машина остановилась. Вслед за лейтенантом Зацаренным пошел Владимир Рождественский. Взрыв его мины произошел от прикосновения к бону или сетке и потому не про-

извел никакого действия на судно; от взрыва в борт броненосец сейчас пошел бы ко дну.

«Синоп», «Минер» и «Наварин», не обладавшие большим ходом, вовсе не успели напасть.

Вскоре после первого взрыва слышен был второй взрыв. Нужно предполагать, это — взрыв минного катера № 2.

Здесь же вырезки из газет:

1. «Последствия молодецкого сулинского дела. Пароход «Аргонавт» привез известие, что броненосец, атакованный катером № 2, сидит без движения. Он не затонул только потому, что глубина в месте его стоянки не превышает 24 футов» («Николаевский Вестник»).

2. «За молодецкое сулинское дело командир парохода «В. К. Константин» лейтенант Макаров награжден орденом Владимира с мечами и бантом, лейтенанты Пушин и Рождественский — орденами св. Георгия 4-й степени» («Кронштадтский Вестник»).

3. «Константинопольский корреспондент «Daily Telegraf!» сообщил следующие подробности о сулинском деле. Сегодня, 2(14) июня, прибыли сюда взятые турками в Сулине пленные. Лейтенант Пушин рассказал о смелой экспедиции, в которой он принимал участие. В момент атаки, почти у самого борта броненосца, катер Пушина запутался в канатах и цепях, нарочно погруженных турками в воду для охранения их судов от внезапных нападений. Лейтенант рассказывает, что в то время все семь миноносков подверглись страшному огню турецких канонерок. Тем не менее, минные катера продолжали свое дело. Вдруг турецкая граната потопила шлюпку, на которой находился лейтенант. Он видел, как матросы плавали в воде вокруг него, но затем потерял сознание и очнулся уже в плену у турок. Он уверяет, что русские располагают семнадцатью миноносками и что не сегодня — завтра они возобновят атаку» («Кронштадтский Вестник»).

Короткий рапорт о крейсерстве к азиатским берегам и потоплении четырех каботажных судов:

«Продолжая идти далее, я мог бы упомянуть еще много других купеческих судов, стоящих у азиатского берега, но полагаю, что цель их потопления есть прекращение торговли, и так как уничтожение четырех судов наведет панику и прекратит

парусное плавание вдоль берега, то не было побудительных причин, чтобы подвергать дальнейшему истреблению частную собственность».

И потом ряд записок об использовании мин Уайтхеда. Теперь во что бы то ни стало Степан Осипович должен разъяснить начальству, что без мин Уайтхеда минная война пойдет в тупик:

«Если ограждения и сетки сделаны толково, то подведение каких бы то ни было мин делается крайне затруднительным. Даже протягивание перлиней вокруг судна и опускание в воду выстрелов делают подведение мины в ночное время весьма неточным. Но если можно оградиться от шлюпок, то почти нет возможности оградиться от мин Уайтхеда, которые идут на глубине и с такой скоростью, что в состоянии оборвать всякую сетку.

Вся трудность пуска мины Уайтхеда прямо с паровых катеров заключается в том, чтобы мину не повредить при спуске ночью за борт и чтобы посредством рогаца удерживать мину перед пусканием в таком положении, чтобы она верно направилась к цели. Самое лучшее было бы выстроить специальные катера, у которых не было бы киля в носовой части и кроме того имелась бы выемка для мины.

Но время не терпит... Я употреблю все старания, чтобы разработать вопрос о применении существующих паровых катеров. Я надеюсь через 3—4 дня устранить все препятствия. Последнее, на чем я остановился, — футляр из досок для поднимания мины, защиты ее от ударов и направления при выстреле...»

Обстоятельный доклад на главного командира черноморских портов не производит впечатления. Каждая мина стоит три тысячи рублей. Неудачливому Макарову Аркас не хочет идти навстречу. Степан Осипович решает бороться.

Он шлет в промежутке между двумя крейсерствами телеграмму Константину Петровичу Пилкину:

«Турки имеют бонны, катера не могут подходить. Разработал, испытал два способа пускать мины Уайтхеда с катеров. Мина помещается под килем, поднимается на боканцы вместе с катером. Мина в отдельной деревянной платформе, служащей спускной трубой, буксируется катером. Главный командир не дает мин, потому что их мало. Если можете дать кронштадтских четыре или, по крайней мере,

две мины, то прошу вас телеграфировать о выдаче мне теперь севастопольских. Прошу вас телеграфировать мне ваш ответ».

Мины Уайтхеда! Он бредит ими. Купил бы на свои средства, если бы имел такие деньги. Выкрал бы из севастопольских складов.

Аккуратный лейтенант Давыдов начинает презирать одержимого командира. Сколько пышных реляций можно было бы привезти из крейсерства: выдать, например, отход от турецких броненосцев в море за арбергардний бой с потерями для турок. Решительно, командир — одержимый фантаст, не способный подумать об интересах своих офицеров. Почти так же думают все остальные офицеры, за исключением Зацаренного. Измаил Зацаренный — ревностный помощник во всех начинаниях Степана Осиповича. Они вместе делают проекты, заказывают плотникам приспособления для мин, пользуясь вместо мины ее моделью — выточенной болванкой. И оба они морщатся, что начальство посылает «Константин» в скучные крейсерства. Топить жалкие кочермы, разорять турецкое население — дело ли для военных моряков?

С полным равнодушием участвует Степан Осипович в экспедиции под Пендеракли. «Ливадия», «Владимир», «Константин» и «Веста», наконец вошедшая в строй, должны захватить какие-то замеченные в Пендеракли пароходы. Начальник экспедиции флигель-адъютант Кроун заставляет сначала суда болтаться у мыса Халебли, потом, обнаружив большие костры на высотах, отказывается рисковать у незнакомого берега. Вместо атаки на Пендеракли, где Кроуну чудятся готовые перейти в наступление броненосцы турок, он предполагает атаку на Сулин.

— Сулин так Сулин, — насмешливо говорит Макаров, получив новое приказание.

Уже ясно, что Кроун и там найдет основание ничего не сделать.

В самом деле, подойдя на траверз Сулина, Кроун опасается, что волнение перейдет в шторм, и поднимает сигнал: «Рандеву Одесса».

— Настоящий поход аргонавтов, — острит мичман Подъяпольский в кают-компании.

И Макаров улыбается в усы: будет за «поход аргонавтов» баня!

Аркас, действительно, разгневан, но от составления мнимых эскадр не хочет отка-

заться. Второй раз все пароходы соединяются под флагом контр-адмирала Чихачева и так же бесплодно крейсируют между Одессой и устьем Дуная.

Но это, кажется, последнее отвлечение «Константина» от настоящего дела. Наконец-то Макаров имеет на борту две мины Уайтхеда, две настоящие боевые мины, в которые накачен воздух под давлением семидесяти атмосфер.

5

Благословенное состояние — чувствовать себя иногда хозяином четырех стен, быть наедине с собою. Алексей Новгородцев не имел такого случая за два года службы ни разу. В казарме и кубрике постоянно ощущал дыхание соседа, встречал наблюдающие глаза, ожидал сигнал, боцманскую дудку, начальственный окрик. Теперь впереди полная неделя отдыха — отпуск! Не в пример другим, командир «Константина» думает о матросе. Как странно, что здесь у отца оказался жильцом бывший учитель командира, отставной штурман Якимов. Тоже простой и понятный человек, хотя и в сюртуке с капитанскими погонами.

В горнице стоит шум голосов. Должно быть, опять сцепился с штурманом его молодой приятель, плевневец-вольноопределяющийся. Так и есть, это он сердито говорит:

— Война ужасна! Война недопустима!

Алексей обуваётся, оправляет голубой воротник форменки и, шурясь после полутьмы в чулане, занимает место подле самовара, между отцом и матерью.

— Ужасна, недопустима! Категоричные, но пустые-с определения, милейший! — ершась и потирая сморщенные красные руки, говорит Якимов. — Извольте наблюдать различие между явлениями насилия. В Тихвинском уезде в деревне Врачево минувшей зимой сожгли крестьянку Игнатьеву свои же крестьяне, залодозрив ее в колдовстве и порче женщин. Мир порешил! Понимаете, миром сожгли! Это ужасно, это недопустимо, потому что бессмысленно. А война — война совсем другое. Я бы вместе с вами хотел, чтобы войн не было, но к чему такое мечтание, пока существуют интересы народов, разрешаемые лишь оружием?

— Народов или правительств? — перебивает вольноопределяющийся.

— Правительства — особая статья. О них не будем говорить. Разве сейчас для народа важны планы Горчакова и воюющих Хомяковых завоевать новые территории? Смысл войны, батенька, — в освобождении балканских народов.

— Это Александр Второй, племянник германского императора и сам немец, позаботится о братьях-славянах?

— Опять двадцать пять! Что вам до царской мысли, юноша? Исторический смысл разумейте! Папаша Александра, Николай Палкин, был неменьшим деспотом и греческий династический прожект бабушки мечтал осуществить. Однако же Греция, в результате нашей войны с турками, стала независимой. И точно так же мы несем свободу болгарам, румынам, сербам, черногорцам. В этом оправдание войны, как хотите! Полное оправдание в настоящих условиях.

Алексей из-за самовара видит, что желтое, болезненное лицо вольноопределяющегося болезненно дергается. Плевневец сидит, положив раненую ногу на табурет, и вертит костыль:

— Очень хорошо рассуждать этак в Одессе! Вам шестьдесят лет, и на службе в канцелярии пароходства, конечно, война не беспокоит. А я ее узнал во всей прелесть. Я тоже по началу рассуждал, как вы. Ну хорошо! До июня мы наблюдали за турками, они за нами, о войне и не думалось. Потом перешли Дунай — короткие стычки, турки бегут, болгары ликуют, лирика и романтизм. А вот в трех Плевнах... Да, может быть, вам неинтересно слушать?

— Рассказывайте, молодой человек! — вмешивается до сих пор молчавший отец Алексея. — О Плевне в мастерских у нас много толков, и газетам не очень верят.

Якимов тоже кивает головой и останавливается у печки.

— Утром 18 июля мы пошли в белых рубахах с обычным, веселым задором атаковать Плевну: новый город, новые овалции... Но оказалось, что наши генералы совсем не знали сил турок. К вечеру, после трех атак, пришлось отступить, заночевать в поле и снова отступать. Мы-то, скобелевцы, еще отходили, а другие дивизии бежали. Я видел сотню носилок с умирающими. В поле, сволочи, оставили раненых, и они едва дышали на жире, облепленные тысячами мух. Я побежал к ротному командиру. Он в это время тор-

говал какому-то штабному барину лошадь, украденную в соседней деревне. Он считал полумперналы и равнодушно сказал мне, что не наша забота раненые других частей. Так они и остались помирать под чужим небом, неизвестно зачем. Хотите знать, чем отличалась вторая Плевна от первой? Еще большим числом нелепых жертв. Хотите знать, чем была третья Плевна в сентябре, когда меня ранили? Тем, что положили десятки тысяч людей. Армия Османа-паши дралась за укреплениями, построенными английскими инженерами, а мы хотели их шапками закидать. Накидали трупы. Когда меня увозили, я видел на двадцати верстах пути смешавшихся солдат всех родов войск: и артиллеристов без пушек, и спешенных кавалеристов, и стрелков с белыми, красными и синими околышами кепок. Они брели кучками, без офицеров. И я подумал: «Что же творится? Во имя чего нас приносят в жертву? Чтобы в Тырнове, в Ставке главнокомандующего были петербургские рестораны Елисеева, роскошные палатки и храбрые офицеры осаждали штабы за орденами, чинами, золотым оружием и деньгами? Теперь придет зима. Голодные, разутые солдаты будут погибать на Балканах от холода еще больше, чем от турецких пуль и снарядов. А в Ставке все будет считаться в порядке. Мобилизуют еще пять корпусов, положат еще сто тысяч мужиков. Я не хочу, не хочу».

— О господи! — вздыхает и крестится старуха Новгородцева и шепчет Алексею: — Выпей, сынок, еще чашку, с вишнею выпей!

— Выходят дела неважные, господа добровольцы! — Старик Новгородцев искоса смотрит на сына. — Так то у вас на войне, а мы и без войны пропадем. Вчера вывесили правила: работать установленное время, то ись сколько часов начальство потребует, хоть в праздник. Окромя того, контора может отказать в расчете, ежели не предупредить за пятнадцать дней. И штрафы за порчу инструмента, штрафы за опоздание, за неявку. На одно с крепостным правом! Теперь в деревне. В деревне еще хуже. Брат мне из Псковского уезда слезное письмо прислал. Под кредит в пятьдесят рублей купцу некоему избу свою заложил, и, ежели в месяц долга не уплатит, купец грозится избу снести. Хорошая изба, пятистенная!

— Бороться надо, не давать на себя

ездить купцам! — возмущается вольноопределяющийся.

— Воевать, значит?

— Воевать! — стучит вольноопределяющийся костылем.

Якимов улыбается в ответ на улыбку старого Новгородцева:

— Я так понимаю нашего хозяина, что он рассказал о заботах труженников для того, чтобы вас, господин хороший, к моей мысли привести: война войне — рознь. И Парижская коммуна была войной, и пугачевское восстание было войной.

— Точно так, в точку! — восклицает старый Новгородцев.

— Неубедительно, совсем неубедительно, — отбивается плевневец. — Неудачные примеры! Не может самодержавие вести освободительную войну.

— А вы как полагаете, молодой моряк? — спрашивает Якимов.

— Мне кажется, — застенчиво и сбивчиво говорит Алексей, — что вы говорили фактически не против войны, а пртив непорядков на войне. Ну, там, плохие генералы, казнокрады. Так это что? Это от правительства. А воюем мы. Опять же не всякий офицер о чинах и наградах мечтает. Наш командир, Макаров Степан Осипович, душой болеет за успех: то оружие приспособляет — мины разного устройства, то катера переделывает. Теперь поставили пароход в док на очистку и окраску подводной части. Он мог бы в отпуск пойти, конечно. Нет, придумал новые водорезы: ход это, говорит, дополнительно даст не меньше узла.

— А от чинов и наград не бегают?

— Что ж было отказываться от чина капитан-лейтенанта, или георгиевского креста, или золотой сабли, коли заслужил их? Очень даже глупо, если бы, например, доктор или инженер ученого звания устыдись.

— Молодец Алексей, крой пехоту! Вот она морская солидарность! — потирая ладони и блестя очками, говорит Якимов. — Очень приятно, что Степана Макарова хвалит матрос.

— Он солидарен, пока по морде не получил, — иронизирует вольноопределяющийся.

— У нас это невозможно. У нас командир доходит до души каждого рядового, — вспыхивает до корней волос Алексей.

— До души! — хохочет вольноопреде-

ляющийся. — Я вот вам расскажу, как Скобелев доходит до души солдата. А Скобелев считается самым популярным боевым генералом. О молодом Скобелеве говорю, Михаиле Дмитриевиче. Он и вправду очень храбр. Под пулями в белом ките ле и непременно на белом коне всегда красуется. Однажды Туркестанский полк идет по пыльной дороге, сильно растянувшись. Скобелев обскакивает, кричит: «Здорово, молодцы! Эх, какие вы лихие храбрецы» и т. д. Ну, солдаты подтягиваются, шагают веселее, а Скобелев тут же говорит своим штабным: «Экая дрянь, солдатами даже нельзя назвать». И разве Скобелев щадит жизнь солдат? Нисколько!

— Не знаю, какой этот Скобелев, но наш Макаров — что скажет, то и подумает. И зря под снаряды турок не подведет.

— С чего это вы в него влюбились? Что отпустил дал?

— А с того, что у меня в первый день на «Констанине» старший офицер книжку Берви отобрал, а господин Макаров, зная, что книга запрещенная, мне ее вернул с добрым советом больше не попадаться.

— Вот оно что! — смущенно тянет вольноопределяющийся.

У Якимова от глаз бегут насмешливые морщинки:

— Сознайтесь, что попали сейчас в четвертую Плевну?

— Какая же Плевна, если командир Новгородцева — революционер?

— Не революционер! Нет, и, насколько я его знаю, очень далек от этого. Но честный и умный человек, несомненно.

Вольноопределяющийся крутит между ладонями костыль и медленно качает головой:

— Тогда я не завидую вашему Макарову. Или, в конце концов, сделают его мерзавцем, или раздавят. — Он поднимается. — Пора в госпиталь, на переключку, а то оставят без прогулок.

— Нет, Степана Осиповича скрутить нелегко, — говорит Якимов, прислушиваясь к стуку костыля за окном. — Его и лупили и соблазняли — выстоял.

— Характерный? — спрашивает старик.

— Характерный, да, именно характерный, — подтверждает капитан, шагая вокруг стола. Как обидно, что не приехал он с Амура несколькими неделями раньше, когда «Константин» заходил в Одессу!

— А сюда не придет ваш корабль?

— Может, и придет зимой.

— Чудесно! Хочется повидать Степана Осиповича. Кстати, — перебивает себя Якимов, почему-то стесняясь своей радости, — узнаю подробности сухумского дела. Английская печать уверяет, что вы не повредили турецкого броненосца.

— Врут, Федор Константинович, своими глазами видел!

— Вы?

— Я же взрывал первую мину.

Капитан растерянно смотрит на Алексея, зачем-то снимает очки и всплескивает руками:

— Смотрит овца, а видеть молодца. Папаша! Мамаша! Он у вас герой, георгиевский кавалер, а мы и не знаем! — Якимов шумно садится и потирает ладони. — Ждем рассказа в подробностях. Немедленно!

— Да какой с меня рассказчик? Увольте, господин Якимов! Приедет командир, услышите от него.

— Немедленно рассказывайте!

— Что, в самом деле, Лешенька, стыдишься? И нам лестно послушать, как ты турку воевал, — опять шепчет мать.

Против общего натиска Алексею не устоять, но, может быть, отец поддержит:

— Папаше рано на работу итти.

— А ты обо мне не заботься, Алексей! Старикам спать недолго — на левый бок лег, раза три повернулся — и уже бей збрю.

Алексей морщит лоб, напряженно вспоминает:

— Право, ничего особенного не было. Только что пять ночей подряд полный аврал. Вышли мы из Севастополя первый раз с самодвижущимися минами. Пошли вдоль крымских берегов, и совсем не по сезону норд-ост. Минный плотик разбило в щепки, в другой mine спусковой рычаг не сдержал, весь воздух вышел. Страсть, до чего огорчился командир! И тоже — наш начальник по минной части, Зацаренный. «Словно я заколдованный, Новгородцев!» — это мне он жаловался так, потому что в двух атаках на его катере неудача выходила с минами. Однако назад мы не пошли. Решили: если встретится турок, опять попробовать шестовые мины, хоть и нелегко с ними было во всех случаях прежде. Ну хорошо! Перед рассветом, слышим, бухает. Подходим на видимость берега у Гагры. Броненосец типа «Шевкет», можно сказать, самый сильный у них. Он нас, должно, раньше заметил и прет в море, навстречу. Отворачиваем, прибавляем

ход, и он прибавляет. Можно сказать, еле ушли. Да это известное по газетам дело... Подходим до Новороссийска и поворачиваем обратно. Решили, значит, Макаров с Зацаренным ночью атаковать броненосец. Только ничего не вышло. Гроза всю ночь, зыбь, полыхало небо и гремело, как будто в мастерских, папаша. На другую ночь — луна, на третью ночь — тоже луна. А мы уж знаем, что стоит этот броненосец в Сухуме, и лейтенант Зацаренный каждый день нам говорит: «Готовиться, минеры! Командир до последнего тонна пожжет уголь, но не уйдет без атаки на турецкие корабли».

«И Кисленко, мой товарищ с другого катера, — с «Наварина», я на «Синопе» хожу, — говорит: «Правильно, Алеша, решил командир. На Нахимовской, — это где в Севастополе гуляния, — хоть не появляйся. Дивчаты спрашивают все: «Что это вы плаваете, плаваете, а никакой славной победы нету?» Конечно, смешно значение придавать глупым словам девушек, которым до военного дела, как мне до римского папы, далеко, но определенно неприятно. И чего вы, папаша, улыбаетесь? Это ж с Кисленко было, а не со мной!»

— Валяй, валяй, брат! — поощряет Якимов.

— Так, с 10-го на 11-е затмение луны и облачность при штиле. Спустили катера. Мы с лейтенантом Писаревским пошли вперед. Остальные, в боевом порядке, в кильватере. Тут, знаете, нам подвезло. На море темно, а на берегу горит госпиталь. Пожар как-то у турок получился, и броненосец — черный на красном — очень хорошо приметен. Также еще затмение луны их напугало. Шайтан месяц украл. Бьют в барабаны, шумят. Ну, подходим! Я приготовился, проверил контакт. Слышу: с палубы кричат: «Кто идет», а мина уже шуршит по борту. Лейтенант Писаревский командует: «Рви!» Я кнопку только нажал, вдруг у моей руки отпорный крюк падает и «Алла, алла!» над самым ухом. Боцман наш Саенко кричит: «Турка!» Что такое — не сразу сообразить можно было. И главное, я взрыва жду. Наконец, из воды пыхнуло светом, столб воды и какие-то обломки у корабля взлетают вверх. Я тогда обернулся назад и вижу, с нами сцепилась турецкая шлюпка. Турки, душ до десяти, лезут с веслами. Я у одного перехватил весло, на себя тащу, а рядом лейтенант Писаревский только охнул и на дно повалился. Раскроили ему голову.

«И вдруг еще: бах! бах! Волна плеснула, взрыв, другая волна, второй взрыв, и с наших катеров «ура» кричат. Турки что-то лопочут, а наши опомнились, схватили ружья, стреляют. Да и лейтенант на колени привстал, из револьвера: трах, трах! В общем, все-таки натерпелись страху, пока турки отцепились».

— А броненосец-то что же?

— А броненосец, видать было, кренится и погружается в воду. Гвалт на нем поднялся, что на базаре в воскресенье. Самый лучший взрыв получился, — командир говорил, — у катера «Минер», самый глубокий. Он, можно сказать, добил этого «Асари-Шефкета».

— И, господи, страсти-то какие! На море-то, отец, не лучше, чем под Плевной. Также Алешеньку убить могут, — жалобно говорит мать.

— Могли, да не смогли. Чего ж тебе каркать да слезы лить? — обрывает Новгородцев. — Ну, Алексей, там даст тебе царь Георгия или не даст, — не офицер ты, чтобы обязательно помнил он, — а я тебя еще раз поцелую, и поклонись от меня своему начальству. Настоящий человек придумал эти самые минные катера в море посылать. С нас, с русских, теперь будут учиться в море воевать.

— Сам он придумал, сам Макаров, — напоминает Якимов.

— А коли так, то спасибо и первому его учителю. Вас тоже будут вспоминать. Ну-ка, старуха, достань нам с погребов твоих водочки, пропустим по случаю! Согласны, Федор Константинович?

— Так грешно ж отказаться, милейший хозяин!

.....

Флаги расцвечивания на кораблях в Одесском порту и звон колоколов в городе. Взята после четырех месяцев осады Плевна, и на берегах Вида сдалась армия Османа-паши.

С обнаженными головами люди становятся на палубе «Константина» на молитву. Степан Осипович нетерпеливо кивает попу, чтобы не затягивал молебна. Из группы офицеров Федор Константинович непрерывно следит за любимым учеником. Каково? Пять лет тому назад — мичман, теперь — капитан-лейтенант со старшинством, три ордена, золотое оружие!

— Козак! Настоящий козак! — повто-

рлет он беззвучно, любуясь мужественным профилем с длинным запорожским, заиндевевшим на морозе усом.

Наконец они остаются вдвоем в каюте командира.

— Расскажи, Степан Осипович, о гагринском деле. Это славно было у тебя! Не хуже подвига «Весты».

— Вот именно в этом роде, — иронически соглашается Макаров.

— Ты не признаешь подвига за делом Баранова?

— Как-то одна частная яхта с любителями шла под парусами из Кронштадта в Петербург. По неумелости ее экипажа черкнула бортом, лишилась рангоута. Газетки расписали любителей морского спорта героями: дескать, чуть не погибли. А наши военные шляпки тот же путь делают в любую погоду и ни одной веревочки не теряют. Так и с «Вестой». По глупости Баранов подставился пушкам турецкого броненосца, дал разворотить себе палубу и борт, убить несколько офицеров и матросов. Так это разве подвиг?

— Хм! Но...

— Но он написал ловкий рапорт, что дрался. Сомнительно, что его снаряды достигали цели. Но если бы Баранов не написал, то за него это сделало бы наше начальство. Оно только так и понимает морские победы.

— А почему же ты говоришь, что твое гагринское дело в том же роде?

— Да точно такое же! Я искал турецкие броненосцы для минных атак. Погода была переменная и преобладала скверная. Положение было такое, что среди бела дня подходить близко к берегу опасно — как пить дать, раскатит броненосец; а в сумерки да на рассвете — не много вымотришь. Но если мы не могли высмотреть броненосец, который караулил Гагринский проход, то он и подавно не мог высмотреть шедшие войска полковника Шелковникова, как об этом писалось в реляциях. Вы же знаете, что в ненастье корабль не видит даже самого берега. Ну, в общем, турок болтался зря. В ночь, когда я подошел, померещилось турку, что ли, или донесение получил о наших, или просто соскучился — начал наугад палить по ущелью. Со своей стороны, услышав выстрелы, я решил, что Гагры — в этом направлении, что здесь должен быть турецкий корабль. Ну, кочечно, я не представлял себе, как воздействую на броненосец. Нельзя же спускать катера

перед самым носом неприятеля! Ведь он же не позволит! Заметьте, дело было на рассвете. Ясно, что на фоне темного берега броненосец ничего не видел и стрелял для очистки совести, а я, подходя с моря, не видел броненосца. В то же время с берега Шелковников прекрасно видел в море и меня и броненосец и был уверен, что броненосец его расстреливает, а я слышу на выручку. По той же причине, пока мы таращили глаза, высматривая турку, он нас давно уже заметил и, махнув рукой на обстрел невидимого ущелья, устремился на добычу, которая сама лезла ему в рот. Мы его опознали милях в полутора, если не меньше. Не до атаки! Давай бог ноги! Такой full speed завернули, как, поди, и на пробе не случилось. А дело дрянное: нажимают, вот-вот начнет разыгрывать... Пароходик картонный, с начинкой из мин... Два-три удачных выстрела — капут... По счастью, шквал налетел с дождем, с туманом, со всякой нечистью. Эги не видно! Увернулись! Как разъяснило, не видать броненосца, потерял! Слава тебе, господи! А тем временем на берегу «ура» кричат и лезут на штурм неприступных высот, хотя свободно могли бы заняться этим делом и до нашего появления. Ведь если бы броненосец их видел и действительно по ним стрелял, разве бы он бросил такое важное занятие ради погони за каким-то пароходиком общекупецского образца?

— И все свои дела ты так расцениваешь?

— С чего бы? Вы о Гаграх спрашиваете, о «Весте» — я вам прямо и отвечаю. А минные атаки наши поучительны, даже безрезультатные багумская и сулинская. Только начальство мое бог умом обидел. Прежде морские войны состояли в крейсерствах и уничтожении торговых судов, значит и нам надо. Помилуй бог, сколько меня заставили потопить купцов и рыбаков! Тошнит! А знаете ли вы, Федор Константинович, что надо к войне с самой Англией готовиться? Британская манера такова — подставить кого-нибудь против врага: справится подставленный наемник — хорошо, не справится — сами возьмемся.

— По элементарному курсу русской истории семь раз урок сей получали. Через шведов, турок, пруссаков и французов.

— И один раз даже вывода не сделали! Семечкина, — есть такой неглупый капитан, теоретик, тактик, — сейчас послали в Америку крейсера покупать. Потратим мил-

лионы на огородные пугала, а здесь, у своих берегов, будем беззащитны против броненосцев Англии. А если бы мне дали один миллион, я бы миноносную эскадру за этот год своими средствами построил.

— Писал?

— Что писать? Всё беда, — покрепче, чем в Сухуме, — доказать разительную силу миногого оружия. Но я, Федор Константинович, упрям, я все-таки докажу, хотя в последний день турецкой войны.

Нервно потирая сухие ладони, Степан Осипович показывает выписки из газет:

— Смотрите, сколько судов у адмирала Хорнби в Средиземном море! В Безикской бухте броненосцы «Александра», «Азенкур», «Ахиллес», «Готспор» и «Руперт». На Мальте — «Свифт», «Девестейшен», «Султан» и «Резерш». Наконец, в Порт-Саиде — «Паллас». Сверх того в разных портах и в Черном море — пятнадцать неброненосных судов. И англичане имеют в огромном числе торговые суда, чтобы быстро перебраться в Турцию войска из Индии, с Кипра, с Мальты, из Адена и других приморских пунктов колоний. А мы...

Он бросает в ящик свои заметки и безнадежно машет рукой. Разве можно найти такие слова, чтобы рассказать, как бесплодно истрачено его время за год? Уже третий месяц он стал каботажником, капитаном грузового транспорта. Команду не каждый день даже удается учить военному делу. На каждом транспортном рейсе палубы завалены солдатами, в каютах пьяненькие кружки армейских офицеров за картами. В такой обстановке не то что учить, но и простую дисциплину трудно сохранять.

— Но Андрей Александрович Попов тут же? — спрашивает Якимов.

— Ну тут, в Ставке, в гостях у великого князя Алексея Александровича, командующего дунайскими морскими силами. Этот, конечно, когда-нибудь поймет, но поздно будет. Тоже придворный! Окончательно я к нему потерял уважение. Бутаков и Пилкин — только и есть два ума на флоте, но оба отсюда далеко.

— И у вас Плевна, — уныло выносит приговор Якимов. — Когда же, к черту, слетит короста с нашего государства?

— Когда-нибудь слетит, Федор Константинович, а пока будем делать что возможно. Расскажите об Амуре! Давно вы оттуда?

Мы спустили с плеч тяжелый год. Он надолго останется в памяти, как год военной славы и как год большого народного напряжения.

К. Н. Станюкович.

1

Через Балканский хребт навстречу пронзительным, ледящим ветрам идут батальоны Гурко и Скобелева. В густом, холдном воздухе — тридцатиградусные морозы! — искрятся, ослепляют оранжевые снега. В неизмеренные голубые высоты, под збеньящий фаянсовый купол неба петляют крутые, узкие тропы. Над дымчато-сиреневыми тучами, над белыми облаками, над головокружительными пропастями висят горы и сурово встречают русские войска.

На путях к Шипкинскому перевалу и Этропольскому ущелью коченеют солдатские ноги в худой обуви, и сердца перестают гнать застывшую кровь. Сотни, тысячи русских солдат навсегда остаются в снежных сугробах и ледяных завалах. Страшно торчат из-под снега скорченные, твердые тела и алебастровые головы.

Но остальные бредут вперед. Вперед, к долинам роз и виноградников. К теплому Мраморному морю, к древнему Константинополю.

В загроможденных льдом теснинах падают лошади. Снаряды в руки! Патронные ящики на плечи! В пушки впрягаются солдаты. Вперед! Пока турки не опомнились от поражений, не собрали новых орд из Анатолии, Сирии, Аравии, Египта, Триполи и Туниса.

Отряд Скобелева первым спускается с хребта и бешено атакует Шейновские редуты. Гурко 3 января громит турок под Софией. Тридцать две тысячи османов, блокировавших Шипкинский перевал, окружены и 9 января складывают оружие. Русские наводнили южные склоны Балкан. Неудержимая лавина бойцов, обмороженных, оборванных, закаленных свирепой зимой, катится к Адрианополю и Филиппополю.

А на восточной стороне Черного моря, где горы еще выше, где еще более жесткая зима, русскими взят Карс, совершается победное движение на Эрзерум, готовится штурм Батума. Перед ошеломленной Европой быстро развертывается последняя глава войны на суше. Ее события ярко свидетельствуют об очевидном неумении анг-

лийских инструкторов турок использовать превосходство морских сил Порты. Турецкие броненосцы Гобарта-паши и Манторпабея жмутся к берегам, ограничиваются помощью войскам, отступающим из Закавказья.

Может быть, потому, что на море мрачно? Что Черное море вздымается косматыми валами от Новороссийска до Босфора, от Фиолента до Керемпе? Но русские вспомогательные крейсеры, но наспех вооруженные купеческие пароходы «Константин», «Эльборус», «Веста» не отстаиваются же в укрытых от ветра бухтах Севастополя и Одесской гавани!

«Константин» выходит в очередной набег 10 января. Шторм кладет пароход с борта на борт. Даже катера, принятовленные на боканцах, черпают воду, когда пароход стремительно падает на седую волну. Зарываясь носом в бело-зеленую кипень, «Константин» медленно выпрямляется и снова кренится на другой борт. Потоки воды из катеров окачивают палубу и матросов, проверяющих крепления. От гуляющих по пароходу волн остается наледь. Она нарастает на рангоуте, на снастях, в пазах и углублениях палубы. И так длится война с борой три долгих дня. Только 13 января шторм стихает, сменяется крупной зыбью. Пароход на траверзе пустого, сожженного Сухума, затем дает свои позывные перед Потти и входит на рейд. Здесь Степан Осипович узнаёт, что в Батуме сосредоточилась турецкая броненосная эскадра, и снова торопится в море.

Обмерзшими руками сигнальщик вздергивает позывные. Держась за обледенелые поручни и скользя по наледи палубы, лейтенант Зацаренный наблюдает пароход «Россия» в подзорную трубу.

— Флигель-адъютант Баранов идет к фракцйскому берегу, Степан Осипович.

— Пусть его! Он не пожелал, чтобы мы совместно крейсировали.

— А почему?

— Официальное основание — у нас артиллерия слабая, мешать ему будем. Так сказать, двойная нагрузка. Ну, а на самом деле боится чужого глаза. Под наблюдением упрямого свидетеля в рапортах не сообразишь о попаданиях в турецкий броненосец, не превратишь в победу захват беспомощного парохода.

— Разве «Мерсина»...

— Конечно, если бы «Мерсина» могла управляться, Баранов не стал бы ее та-

щить на буксире. Случай помог. Впрочем, не один Баранов мастер врать. Зиновий Рождественский, его старший офицер, таков же.

— Он не остался на «Весте»?

— Нет, перешел вместе с Барановым на «Россию». Большим кораблям, говорят, большое плавание. Ну, и большим лгунам большие корабли.

Степан Осипович хлопает стынущими руками и горько продолжает:

— Беда в том, Измаил Георгиевич, что нас с ними под одну статью можно махнуть. Мы чины получали за декабрьскую атаку в Батуме, а мины, — утверждают турки и англичане, — выскочили на берег. Выходит, «наделала синица шуму, а море не зажгла».

— Они утверждали, что и в Сухуме мы промазали. А абхазцы показывали, что броненосец сидел в воде как птица. Показывали, что три дня откачивали в нем воду и потом на буксире увели.

— Тут, ясно, турки вралы. Но в Батуме... Трудно обвинять их во лжи, если нашли мины на берегу.

— Я взрыв слышал явственно. И сам Гобарт-паша заявлял корреспондентам, что одна мина обнаружена без носовой части.

— Да, но Гобарт этому дает объяснение. Мина, по его словам, ударилась о цепь, удерживавшую судно с берега. Очевидно, при этом она разломилась, носовая часть опустилась с обращенным вниз ударником и взорвалась о грунт. Вот вы и слышали взрыв.

Зацаренный отдаёт трубу вахтенному и уныло смотрит на голубую горную цепь. От хребта сбегает заснеженные треугольные призмы, а ниже их синее плоская возвышенность с темным лесом и белыми лысынами известняка. Здесь сбегает быстрая горная река Фортуна. Везло, должно быть, в жизни тому, кто открыл эту реку. У Зацаренного никогда в руках не было фортуны.

— Одни несчастья принес я «Константину». Лучше бы мы с вами перед войной не встречались в Бресте, господин капитан 2-го ранга!

— Вот еще глупости! Да я вас, Измаил Георгиевич, люблю и ценю больше всех моих офицеров. И вот, подождите, в это плаванье придет конец вашим неудачам. Ну, была полоса такая. Вы-то при чем, раз свое дело выполняли исправно и мужественно? А потом, что же, одной из наших

целей достигли — турки на Черном море давно перешли от нападения к обороне. Вместе с Гобартом прячутся за бонами.

Стал пашою Гобартов,
Этакое пугало!
Ну, и что с ним? Нездоров!
Миною затюкало. —

декламирует Зацаренный.

— Это что, тоже наши матросы приду-мали?

— Да.

— Ловкачи! У них про все складывается. Давеча проходил мимо кубрика, под гармонь частят:

Мина, мина Уайтхеда,
За волнами ты лупи!
Прогуляйся до соседа,
Броненосец потопи!

— И непоэтично и наивно, но чувства ясно выражены.

Сумрачный Максимович, зябко втянув голову в плечи, проходит от компаса с записью пеленгов и сердито бросает:

— Туман напирает!

Полоса тумана сначала неподвижно и низко лежит на норд-весте. Но пароход идет ей навстречу, и скоро обозначаются клубящиеся, мгlistые языки. Они скоро сливаются волну за волной, заходят справа, слева, горизонт укорачивается, подошвы гор ступеньваются, вершины их неправдоподобно плывут над туманом и медленно погружаются в тяжелую мглу. Ндолго «Константин» пыхтит на чистой воде. Форштевень со срубленным флагштоком и половина бака срезаются мглой, и две стены тумана плотно сходятся над пароходом. Теперь «Константин» медленно ползет во влаге. Крупные капли оседают на медных поручнях, ручейками сбегают за воротники. Одежда вахтенных набухает. Голоса становятся глухими, как будто все на «Константине» плотно завернуто в вату.

Проходит час, другой, третий, пятый. Степан Осипович с Давыдовым, Писаревским и Максимовичем не покидают верхней палубы. Степан Осипович следит за лагом и оборотами машины, чтобы не сделать ошибок в счислении. Низкий, непроницаемый потолок тумана давно закрыл Анатолийский хребет, а к полуночи, когда туман начнет подниматься, надо незаметно подойти к Батуму.

Но вот взметнулся край стены тумана, и за бортом тускло блеснула волна. Свинцовый, темный блеск на воде, а над мачтами синь зенита с блестящей Кассиопеей.

Стены мглы поднимаются как занавесы, и мир снова становится большим, чудесным, многоликим. Можно тянуться взглядом на север — до прекрасного ковша алмазов Большой Медведицы и на юг — к облитым лунным светом голубым гбам.

— Прекрасно вышли, штурман, даже на четверть мили не ошиблись. Еще с милю пройдем — и катера на воду.

— Ночь волшебная, командир. Грешно в такую ночь воевать!

— Разве? — весело откликается Макаров. — Ну, одним грехом больше — не беда.

Зацаренный хорошо выспался. Повязав башлык вокруг поднятого воротника теплого бушлата, зарядив револьверы, он бодро прыгает в катер:

— Отваливай!

Луна бежит к Батуму вместе с «Наварин» и «Синопом». Катера нешумно режут заштилевшую воду обочь широкой серебряной дороги. Сегодня их всего два. Макаров сказал, что уверен в удаче и не хочет отвлекать внимание лейтенанта «на четыре конца». Да почему-то сейчас и Зацаренный убежден в том, что потопит неприятеля. То ли потому, что зарядные камеры мин ограждены от сырости удобными чехлами, то ли потому, что холодная звездная ночь так хорошо приняла катера на успокоившуюся поверхность моря. Раз под Батумом не вышло, второй раз тут же не вышло, — теперь, в третий раз, обязательно должно выйти.

— Не подведет мина, Новгородцев?

— А с чего бы, ваше благородие? В две просмоленные парусины была завернута спусковая труба. И капельки не проникло.

— А если сдвинулся рычажок и воздух вышел?

— Никак не может быть.

— Обидно будет, если подведет. Может быть, и случая больше не представится.

— Отчего, ваше благородие?

— Не сегодня — завтра турки мириться захотят. Не ждать же им, пока наши в Константинополь войдут?

Алексей Новгородцев гладит холодное ложе своей «Крынки» и про себя отвечает лейтенанту: «Еще пустит ли нас Англия в Константинополь? Захочет ли царь воевать опять с Англией?»

Катера проскакивают перед мысом, и луна прячется за горой. Мелкий снежок и береговой туман сразу изменяют пейзаж.

— Тише ход! — командует Зацаренный.

Надо оглядеться, чтобы не проскочить мимо Батумской бухты. Самое лучшее — поболтаться час на месте, не уходя от ко-сы. Луна поднимется выше и откроет рейд.

— Самый малый, право руля!

— Есть право руля.

— Щешинский, подойдите ближе! По-дрейфуем, пока фонарь зажжется.

— Что-то маяков не видно, — откликает-ся Щешинский с «Синопа». — Неужели по-сле нашего декабрьского налета не зажига-ют?

— Гобарт, вероятно, распорядился. Учи-ся воевать британец.

— Будь я на его месте, ни за что не до-пустил бы наших блох до себя. Несколько электрических маяков, дозорные катера с электрическим освещением и картечницами, два-три дежурных корабля — и обеспечен разгром нападающего. Да, впрочем, никто и не рискнул бы тогда нападать!

— Голубчик Щешинский, наш командир непременно бы рискнул.

— Почему вы думаете?

— Вы у нас новичок, а мы, старые ма-каровцы, тактический принцип Степана Осиповича вызубрили: встретил слабей-шего — атакуй, встретил равного противни-ка — атакуй, встретил сильнеего — ата-куй! Всегда наступать, всегда поражать. Кстати, ваши охранительные огни помогли бы атакующему ориентироваться. А если нападут быстроходные миноноски, то ваши сторожевики полуплщуют друг друга и не-сколько не повредят миноноскам. Тут ведь выстраиваться в ордер-баталию некогда будет. Ночной бой короток, и нападающий почти не представляет цели. Не случайно мы из всех вылазок целехоньки возвраща-лись.

— Противник слабый.

— Неактивный, верно. Но обороняются турецкие моряки неплохо, не хуже своих товарищей на земле. А защита Плевны — славное дело, славное, ничего не скажешь!

Алексей Новгородцев, прислушиваясь к шопоту офицеров, борется с дремотой, счита-ет минуты до нового появления луны. Кажется, уже целую вечность катера кача-ются в темноте. А прошло не больше часа! На Млечном пути продолжают раз-гораться холодные созвездья, ниже звезд-ного пояса густая чернь вдруг поредела, и легкими контурами всплыли нагроможде-ния белых облаков.

— Наконец-то луна! — громко воскли-кает Щешинский.

Новгородцев встряхивается от дремы. Досадно, что он упорно ждал появления луны, а освещенные ею горы принял за облака. Он поднимается и постукивает отеж-шими ногами.

— Полный вперед! — командует Заца-ренный.

И «Синоп» проплывает снова за корму «Наварина».

Луна стоит высоко. Отраженный снеж-ными горами, голубой свет ее струится на Батум, на замок, на высоты Гунии, на чер-ные ущелья.

— На воротах свет загасили, а в окнах оставили, — бормочет Зацаренный, разли-чая огни на броненосцах.

На тени берега отчетливо проектируют-ся семь высокобортных башенных кораб-лей с большим рангоутом и несколько ко-лесных пароходов.

— Справа военный корабль под пара-ми, — шепчет Новгородцев. — Сторожит!

Сон теперь окончательно ушел от мине-ра, и азарт боя охватывает его. «Ну чего медлить, атаковать надо, пока не приметил турок», — думает он о командире, нагнув-шись к рычагу спуска. До сторожевого па-рохода меньше пяти кабельтовых, а до эскадры — добрая миля.

Но Зацаренный взвешивает, стоит ли противник удара дорогими минами?

Двухмачтовый винтовой пароход, фок-мачта его вооружена реями. На шлюп-бал-ках шесть больших шлюпок. Открытая ба-тарей из восьми пушек.

«Сколько в нем может быть тонн? — соображает Зацаренный. — Пожалуй, ту-рок крупнее «Весты», крупнее «Эльбору-са», значит не менее полуторы тысячи тонн. Вообще, кус неплохой. Да, а все же если проскочить мимо него вглубь рейда?»

Сзади него тяжело дышит боцман Саенко.

— Будто бы заметили нас, ваше благо-родие. Как на свет луны вышли, у них что-то огни замелькали. Переговариваются никак.

Размышлять некогда. Желтая вспышка прорезает ночь, и с визгом лопается перед катерами снаряд.

— Полный, на пароход! Приготовить мину!

— Есть полный.

— Мина готова.

Борт корабля с дымящей трубой быстро приближается.

— Сто сажен, пятьдесят, сорок! Стоп, машина!

— Пли! — кричит Зацаренный, круто кладя руль.

Он напряженно отсчитывает мгновения. Вот мина выскочила из трубы, открылся водяной резервуар, и она опустилась на девятифтовую глубину. Заработали рули и винт. Пошла! Итти-то всего минуту. Господи, а вдруг под киль или мимо? Ну конечно же! Уже пора быть взрыву! Просадил!

Он оглядывается на корму. Пароход удаляется, спокойный, уверенный, защищенный восемью пушками.

Вдруг черный столб воды с громким всплеском взлетает к брам-реям, и грохочут взрывы. Пароход быстро кренится на правый борт, обнажает киль и скрывается в широкой воронке.

— Утонул, — неуверенно говорит Зацаренный. — Утонул в одну минуту.

Из рапорта С. О. Макарова от 16 января:

«Мина с катера лейтенанта Зацаренного ударила в корпус у грот-мачты турецкого парохода, а мина, пущенная лейтенантом Щешинским, была направлена несколько правее, причем обе взорвались одновременно. До того момента как скрылись мачты погибшего парохода, прошло не более двух минут. Только небольшая часть из числа команды была видна на поверхности моря. Лейтенант Зацаренный, однако, не мог оказать им помощи, так как с береговых батарей продолжали огонь, а из Батума показалось судно.

В 3¼ часа поднял катера и направился для отвлечения внимания неприятеля к Семсуну, на вид которого прибыл с рассветом 15 января...»

Телеграмма главному командиру черноморского флота и портов:

«Государь поручает вам передать его царское спасибо командиру, офицерам и команде парохода «Константин». Макарова жалует своим флигель-адъютантом, Зацаренного — следующим чином и Щешинского — георгиевским крестом 4-й степени. Поздравьте их от меня с этой новой царской милостью и скажите им, как я горжусь быть генерал-адмиралом у таких моряков.

Константин».

18 января «Константин» стоит в Одессе, и Алексей Новгородцев получает разрешение уйти на берег. На лестнице порта он встречает Якимова.

— Ну, молодец, опять ты стрелял миной?

— Да, ходил с лейтенантом Зацаренным.

— И получил царское спасибо?

— Получил царское спасибо.

— А командир твой, значит, во флигель-адъютанты произведен?

— Да. Но что это за звание, Федор Константинович?

Старик сплевывает на сторону и сердито говорит:

— Приближенное к царю. Высокая милость! По гражданским чином — камер-юнкер.

— Понимаю, — в раздумьи говорит Алексей. — Вы за командира беспокоитесь, Федор Константинович?

— А как ты думаешь? Теперь ему самое время пропасть. Тридцати лет нет — флигель-адъютант, капитан 2-го ранга, кавалер орденов. Хоть кого с ума сведут такие успехи за один год.

2

Турецкие делегаты путешествуют со Ставкой русского командования, но мира не подписывают. Они продолжают надеяться на перемену судьбы, на вмешательство Англии, уже придвинувшей свои броненосцы к Стамбулу, уже транспортирующей в Средиземное море войска из колоний и Портсмута.

— И Англия действительно может выступить, — рассказывает Степану Осиповичу адмирал Попов в Севастополе. — Ну, от Австрии мы откупилась, скажу тебе по секрету, еще перед войной. Она займет Боснию и Герцеговину.

— Коренные сербские земли продали немцам? — изумляется Макаров.

Адмирал морщит лоснящийся нос и жуется бороду:

— В сущности, Австро-Венгрия — тоже славянское государство. Во всяком случае, из двух зол нам пришлось выбирать меньшее. Лучше Вена, чем султанское правительство. Новая Германия к нам относится прохладно. Бисмарк ведет дружественную политику, пока это выгодно для его дальнейших целей. Франция еще не оправилась от войны, и она одинаково не может простить ни Англии, ни нам, что при

разгроме ее в 1870 году Германия имела руки свободными. Объединенная Италия — фуфышка, — фыркает старик. — Задешево продается любой стороне, да, кажется, долго ее никто не купит. Зачем? Для петушиных перьев ее берсальеров и громоздких броненосцев, которыми сардинцики управлять не умеют? Одним словом, мы против Англии одни. А победа стоила дорого, и армия плохо снабжена. Через весь Балканский полуостров придется слать транспорты, если англичане войдут хозяйничать в Черное море.

— И вы боитесь их морской силы?

— Как не бояться!

— Сила, конечно, большая. Но мы все же не беспомощны, Андрей Александрович, если действовать быстро.

— Твоими минными атаками? Будь у нас два десятка быстроходных миноносков, ты был бы прав. Но с убогими катерами — нет. — Старый адмирал пренебрежительно машет рукой.

— Я думаю как и вы, Андрей Александрович, об этих катерах. Писал же вам, какие следует строить. Но что бы вы сказали о минных ловушках, о секретно расставленных подводных минах на фарватерах и входах в гавани? Если англичане нарвутся три-четыре раза на такие мины, они станут страшиться ходить у занятых нами берегов, и блокаду прорвем.

Адмирал недоверчиво смотрит на Макарова. Он сам до старости сохранил любовь к новшествам. Годы потратил на возню с подводной лодкой Александровского, неудачливого изобретателя из петербургских фотографов, десять лет строит свои круглые суда. Но макаровские предложения — другого порядка. Ничего нового не выдумывает Макаров, а мудрит с тем, что есть. И сразу не поймешь, чего он хочет. Так было с трубами. Он, Попов, оттого и пренебрег в свое время докладом о «Русалке», что никакой новой техники не предлагал мичман. А подумать, что созданным инженерами водоотливным средствам мичман знает лучшее применение, кто же мог? С минными катерами такое же второе дело. Опять не новшество, а новое использование.

— Еще новое использование мин? — спрашивает он сердито.

— Не новое, а более удобное в военных условиях. Сбрасывать с парохода на ходу, незаметно для противника.

Адмирал фыркает и хмурится. Если

Макаров так высказывается, то, наверно, испытал уже. Без фантазии и пыла. Практикой доходит.

— Испытывали?

— Не довел до конца пробу. Мне с неделю бы еще на свободе поработать — получится. Вот только снабдили бы меня минами, тросами!

— Ладно, распорядись. Составьте от моего имени записку! Так или иначе, минную защиту болгарских портов будем создавать.

Адмирал вдруг проявляет прыть. Посылает телеграмму в Петербург, добывается назначения «Константина», «Весты» и «Владимира» в полное свое распоряжение для новых минных операций.

Уже через два дня на «Константин» грузят пироксилин, мины, проволочные проводники и приготавливают его к перебазированию на Бургас.

— Ну-с, господин флигель-адъютант, — говорит адмирал, появляясь снова на «Константине», — дойду с вами до Бургаса и отправлюсь в Адрианополь. А вы действуйте и мне отписывайтесь!

Степан Осипович широко пользуется разрешением адмирала. Уже в середине февраля он может послать адмиралу порядочный отчет:

«Бургас, 13 февраля 1878 года»

Ваше превосходительство, Андрей Александрович!

Все согласно вашей инструкции исполнил в точности:

1) Пароход «Танис» сняли с мели.

2) Был в Кюстендже и узнал, что оттуда исправно действует телеграф.

3) Был в Мидии, взял оттуда целую сотню писем, потому что оттуда нет ни почты, ни телеграфов.

Сегодня пришла сюда «Веста», привезла часть вещей, переименованных в рапорте командира. Так как пироксилин не был доставлен в Севастополь ко времени отхода, то мы его имеем далеко не в таком количестве, в котором он нужен. Посоветовавшись с командиром пар. «Веста», решил, что ему полезно отправиться в Севастополь, чтобы забрать то, что туда успеет подвезти за это время. С «Весты» я принял половину всех доставленных ею вещей и весь пироксилин, и потому, помимо мин, сгруженных на берег с полной для них принадлежностью, я имею на пароходе пироксилину почти на 40 мин.

Рассчитываю, что если бы внезапно было получено приказание мне итти для исполнения дела, я мог бы взять с берега недостающий пироксилин из числа 150 пудов сгруженного мною на берег или, в крайности, отправился бы в море с 40 минами.

Я делал опыт откладывания мин на ходу. С этой целью под кормой было подвешено на дюймовом проволочном тросе 2 сегмента весом в 26 пудов, от которых шла на нос оттяжка из того же троса. Вследствие такого распределения троса сегменты всегда находились под водой на желаемой глубине, и потому при ходе мина, поставленная на этом сегменте, была почти в тех же условиях, как и по течению.

Тросовые концы значительно отклоняют мины, и поэтому мы к следующей пробе приготовили небольшие проволочные концы. Мы пробовали их в течение получаса на ходу в 5 узлов, и при этом они не подвергались никаким изменениям. Опыты привели меня к заключению, что на больших глубинах нельзя и думать об установке мин на тросовых концах.

Завтра я буду испытывать установку мин, попробую мины на проволочных тросах, присланных из Кронштадта, и попробую уменьшенный заряд в полтора пуда пироксилина. Кроме того, я полагаю, что у мин, которые будут поставлены на большей глубине, полезно иметь более сухой пироксилин. Подсушка пироксилина дает еще 12 фунтов пловучести. Употребление тонких проволочных концов, уменьшение заряда до полутора пуда и сушка пироксилина дадут возможность рассчитывать на установку мин даже на 40 сажен глубины. Полагаю, что они будут действительны до 3—4 узлов течения.

Я делаю все приготовления к заряданию мин, но, чтобы быть вполне готовым, мне надо совершенно зарядить мины, к чему я и приступлю. Пироксилин буду сушить. Трос проволочный, если потребует, перевию, сделав его в половину тоньше. Завтра опять буду в море. Одобряете ли Вы мои распоряжения?

С. Макаров».

В ожидании ответа Макаров делает новые и новые опыты и уже рисует себе специальный тип корабля — минного заградителя, быстроходного, со специальными ящиками для плотной укладки мин на па-

лубах, с рельсовым путем на корму для быстрой откатки в воду, с минной лабораторией для вооружения.

Алексей Новгородцев вместе с другими минерами лишился в эти дни отдыха начисто. С побудки и до темноты идет приготовление мин и тросов, с побудки и до темноты на разных скоростях «Константина» и на разных глубинах сбрасываются и вновь поднимаются мины.

Степан Осипович носится с бака на ют и делает непрерывно записи в аккуратно расчерченных таблицах, объясняя всем тактическое значение нового дела.

И Алексей, несмотря на усталость, работает споро, восхищается командиром. Если бы он сейчас встретил Якимова, он сказал бы старику: «А плохо вы, Федор Константинович, знаете своего ученика! Что ему флигель-адъютантское звание? Простите, положил он на него... Он теперь новые средства войны придумывает, и в голову ему не приходит бездельно пользоваться придворным чином».

26 февраля мичман Нельсон-Гирст, ездивший с письмом к Попову, возвращается в Бургас.

— Отчего вы так долго путешествовали, мичман?

— До Константинополя за адмиралом ездил.

— До Константинополя?

— Так точно. В Сан-Стефано на берегу Мраморного моря нашел его. В самый день подписания мира.

— Подписан мир?

— Господи, разве вы не знаете?

— Откуда же? В этой болгарской дыре ни телеграфа, ни почты. Газета из Одессы у нас двухнедельной давности.

— 19 февраля, в день освобождения крестьянства от крепостной зависимости. Так и связывают символически — начало и конец царствования.

— Почему же конец? — добродушно улыбается Макаров. — Зарапортовались, мичман! И адмирал, вероятно, на радостях мне ничего не ответил?

— Сказал, что на днях вызовут вас с пароходом в Константинополь. Пускай, сказал, ваш командир те работы свернет и пароход приведет в порядок, чтоб перед иностранцами не стыдно было!

— Ну, «Константину» после его дел не перед кем охорашиваться. Но подкраситься надо. Договор-то вы привезли?

— Как же, его в тот же день пачками раздавали! Заранее был отпечатан.

Степан Осипович, оставшись в своей каюте, долго читает длинные статьи.

Порядочно расширены границы Сербии и Черногории. И они и Румыния окончательно признаются независимыми. Смутное начинается со статьи шестой о Болгарии. С одной стороны, как будто хорошо — в Болгарию включается Румелия, и ей дается также выход в Эгейское море. Но с другой — Болгария остается данницей Турецкой империи, и за последней остается право иметь в ней войска, железные дороги и телеграфы. Так это значит первые уступки Англии? О Дунае весьма глухо. Почему права, обязательства и льготы международной нижнедунайской комиссии остаются неприкосновенными? Зачем не ликвидировать позорное наследие Парижского трактата 1856 года? Это же внутреннее дело балканских, дунайских стран и России, а не англо-французских комиссаров и спекулянтов...

Так что же теперь мы получаем?

«Вознаграждение за войну, а равно убытки, причиненные России, заключаются в:

а) девятистах миллионов рублей военных издержек (содержание армии, возмещение припасов, военные заказы),

б) четырехстах миллионов рублей убытков, причиненных южному побережью государства, отпускнуой торговле, промышленности и железной дорогам,

в) ста миллионов рублей убытков проторей и убытков русским подданным и учреждениям в Турции.

Итого тысяча четыреста десять миллионов рублей.

Принимая во внимание финансовые затруднения Турции и сообразуясь с желанием его величества султана, император всероссийский соглашается заменить уплату большей части исчисленных в предыдущем параграфе сумм следующими территориальными уступками:

а) Тульчинский санджак, то есть уезды (казы): Килии, Сулины, Махмудие, Исаки, Тульчи, Мачина, Бабадага, Гирсова, Кюстендже и Меджидие, а равно острова Дельты и Змеиный остров. Не желая присоединять себе означенной территории и островов Дельты (вот и напрасно! Пункты стратегически важные... Опять испугались Европы), Россия предоставляет себе променять их на отчужденную от нее

трактатом 1856 года часть Бессарабии, граничащую с юга руслом Килийского рукава и устьем Старого Стамбула. Вопрос о разделе вод и рыбных ловель имеет быть решен русско-румынской комиссией в годовой срок со времени ратификации мирного трактата.

б) Ардаган, Карс, Батум, Баязид и территория до Сагандуга.

в) Территории, означенные в параграфах а и б, уступаются России взамен суммы тысячи ста миллионов рублей. Что касается остальной части вознаграждения, за исключением десяти миллионов рублей, следующих русским учреждениям и подданным в Турции, то есть трехсот миллионов рублей, то способ их уплаты и предназначаемые к тому обеспечения будут определены последующим соглашением между российским императорским правительством и правительством его величества султана...»

Неужели же ничего о проливах? Бог с ним, с Константинополем, но в итоге кровавой войны в проливах должен же быть создан такой режим с участием России, чтобы никакой флот не мог входить в Черное, — прежде всего, внутреннее, русское! — море для нападения на русские берега. Неужели только одна эта вялая 24-я статья?

«Босфор и Дарданеллы будут открыты как во время войны, так и во время мира для торговых судов нейтральных держав, приходящих из русских портов или отправляющихся в оные. Вследствие сего Блистательная Порта обязуется впредь более не устанавливать недействительной блокады портов Черного и Азовского морей, как не соответствующей точному смыслу декларации, подписанной в Париже 4-го (16-го) апреля 1856 года».

Да это же ничего не стоит! Никаких гарантий не дает!

«Вот так мир! Довоевались! Болгар оставили туркам. Себе получили то, что отняли у нас в Крымскую войну. И все с реверансами Европе, Англии, Австро-Венгрии. Тьфу, какой позор!»

3

Высокое, весеннее мирное небо. В первый раз после года войны «Константин» — перед проливом, разделяющим Азию и Европу. Сине-оранжевые горы и серо-зеленые каменистые холмы Анатолии и Фракии плывут навстречу пароходу.

Маячные башни Анадолу-Фенер и Румели-Фенер сурово высаты на обнаженных скалах. Турецкая кочерма с повисшим кремовым парусом не бросается в испуге к берегу, и что-то приветственное кричат люди в алых фесках, и приспускается перед андреевским флагом алый флаг с белой звездой в белом полумесяце. Неделю назад матросы «Константина» свозили с такой кочермы людей, поджигали ее, и на таком же бирюзовом штилевом море долго светился пловучий костер, бледный как яичный желток.

Малым ходом подвигается «Константин» по извилистому рукаву Босфора, и глупая мысль тревожит Алексея Новгородцева, когда он глядит на батареи Анадолу-Кавак и Кефели-Киой. Что, если сообщение о мире — обман? Если турки нарочно впустили пароход и сейчас расстреляют грозу турецкого флота из многочисленных орудий, защищающих пролив? Но до берега всего несколько десятков сажен. Воздух прозрачен, и, кажется, можно протянуть руки к толпе аскеров, что высыпали вперед амбразур осмотреть русский миноносец. Аскеры весело жестикулируют: идет русский корабль, значит скоро султанский фирман распустит их по родным казам, на землю, ждущую труда.

За Каваками величественные генуэзские руины и пестрые турецкие деревушки, мраморные дворцы и сады, чудесные леса и бесконечные пристани со спнувшими рыбачьими парусами. Так много поражающих картин, что матросы и даже свободные от службы офицеры устают восхищаться. После прохода Буюк-дере, летней резиденции российского посла, офицеры уже невнимательно слушают объяснения Максимовича, много раз ходившего в Стамбул. А штурман, исправив курс, готов рассказывать без конца о примечательных местах Босфора. Здесь Дарий Гистасп наводил мост для своих полчищ. В этом дворце Махмуд Второй принимал великого Байрона. Эти дворцы называются: «Источником сладости», «Небесным ручьем», «Долиной повелителя».

Степана Осиповича, знающего Японию, Китай и Индию, трудно удивить. Он думает о том, что слишком много кричащей пестроты в итальянских, греческих и мавританских фасадах, в золоченых решетках, колоннадах и орнаментах фонтанов, что платаны, буки и кипарисы, голубые озера пролива и голубые далекие горы чужды

этим нагромождениям рабского труда, что у японских архитекторов больше такта и настоящего понимания природы, чем у слуг турецких деспотов.

Уже под вечер «Константин» покидает цепь мнимых озер. Горы и холмы окрашиваются в лиловые тона. На азиатском берегу сплошные сады и красно-черепичные кровли Скутари окутываются синей дымкой. На европейском берегу пылает скат Галаты до громады Генуэзской крепости на вершине горы, на розовом закате чернеют острые копыя минаретов и купола мечетей мусульманской столицы.

Босфор расширяется в последнее большое озеро. Вправо остается Золотой Рог с лесом рей и мачт. Пароход скользит вдоль длинного Стамбульского мыса, и вот, наконец, открывается серебристо-оловянное Мраморное море с утонувшими в зеленом сумраке Принцевыми островами.

На тихом рейде Сан-Стефано «Константин» один. На берегу, между черных, грустных кипарисов, костры и палатки войск. Костры армии, которая пойдет скоро обратно в Россию.

Степан Осипович ходит по юту, раздумывая о будущем. Милый Федор Константинович! Он испугался, что Степану Макарову вскружит голову новое положение. Чины, ордена, звание, конечно, радуют, но потому, что уменьшается зависимость. Два года понадобилось мичману Макарову для признания его планов по непотопляемости. Два месяца лейтенант Макаров с дипломатическими увертками проводил идею минной войны на море. И всего получасовая беседа нужна была, чтобы одобрили проект минных заграждений флигель-адъютанта Макарова. Творческая жизнь впереди, учиться и учить помнить войну! Совершенствовать морские силы, узнавать моря, средства кораблей и нового оружия. Сейчас даже трудно сказать, что он выберет, но только не почетное безделье. Нет, Петербург с должностью в морском министерстве или в гвардейском экипаже его не прельстит.

Склянки отбивают полночь, сменяется вахта, и матросы, шепчась о новых местах, укладываются среди спящих товарищей на палубе. А впрочем, что загадывать? Мир еще непрочен. Англия считает сан-стефанские требования России недопустимыми, оспаривает их. Перед самым уходом из Бургаса на «Константин» прислали особую команду гальванеров-минеров, приказали

забрать возможно больше мин, и в короткой записке Попов просил командира «Константина» обдумать, что он сможет сделать из Сан-Стефано против англичан.

Задача! Самому бы не пропасть! На всякий случай надо постоянно иметь в котлах теплую воду и некоторый жар в печах. Надо одну из соединительных скоб якорной цепи иметь в таком исправном положении, чтобы моментально расклепать канат. Вот, некстати две шлюпки на бакштове! Завтра же сказать Давыдову, чтобы не держал на воде лишних средств. И вообще здесь надо, по возможности, пользоваться турецкими частными шлюпками. Катера, в особенности не спускать без крайней нужды. Трубы и шланги для проводки горячей воды из судовых паровых котлов в катерные всегда иметь исправными, чтобы можно было на катерах поднять пар прежде съемки с якоря. Наконец, подкупее увольнять команду на берег. Разумеется, люди заслужили отдыха, но известно, что собрать команду с берега в чужой стороне не просто. А тут, в Сан-Стефано, рассказывают, уже вырос целый палаточный город с ресторациями греков, армян, петербургских, московских и одесских купцов.

Степан Осипович чувствует необходимость оформить свои мысли. Спускается в каюту, пишет распоряжения старшему офицеру, потом размашисто выводит на чистом листе:

«Проект инструкции командиру парохода «Великий князь Константин».

Он будет писать себе от имени адмирала Попова:

«Если о разрыве вы узнаете от самого неприятеля, то старайтесь бежать через Босфор, и только в том случае, если путь туда будет совершенно отрезан, — то через Дарданеллы. Проходя тот или другой пролив, вы забросаете его минами. Преследуя цель заграждения, вы можете рисковать самым пароходом и, если нужно, выбрестись на берег, истребив затем пароход взрывом или иным способом (к чему должны быть приняты меры заблаговременно)».

Так! Для первого пункта это хорошо определенностью задачи. Дальше пункт дипломатического свойства, снимающий с правительства ответственность за возможные недоразумения:

«В случае если вам удастся забросать пролив минами, вы примете возможные меры к предупреждению об этом нейтраль-

ных коммерческих и военных судов, а самое заграждение, насколько позволят обстоятельства, будете оберегать.

Если вы увидите от неприятеля в Черное море и найдете необходимым скрыться в порт, то выбирайте для этого Одессу, Севастополь или Керчь. Пройдя же благополучно Дарданеллами, вы действуйте как военный крейсер, стараясь пополнять свои запасы угля и провизии с неприятельских коммерческих судов».

Воображение Степана Осиповича подсказывает новый вариант. С той же уверенностью он быстро пишет:

«Если вам удастся захватить неприятельский пароход, более отвечающий возложенному на вас поручению, то можете перебраться на него с командой и всеми принадлежностями и продолжать плавание на нем, предварительно уничтожив свой собственный пароход или оставив его в нейтральном порте. Затем, если вам понадобится, то можете скрыться в одном из нейтральных портов, преимущественно Италии и Франции.

Вообще же, по невозможности, вследствие военных обстоятельств, предупредить инструкцией всякую случайность, вам предоставляется, уходя от неприятеля, полная и безграничная свобода действий, имея в виду, что наибольший вред, который вы можете нанести Англии, — это забросать минами Босфор. Затем, если бы эта главная задача оказалась невыполнимой, то в Средиземном море уничтожение английских коммерческих судов с английским грузом — другая важная услуга, которую ожидает от вас правительство».

Завтра он явится к адмиралу Попову с рапортом и отдаст записку. Пусть старик подпишет, чтобы во всякой обстановке «Константин» мог свободно действовать.

Он внимательно перечитывает крупные строки проекта. Как будто все охватил, все продумал. Конечно, успех будет лишь в том случае, если о разрыве его поставят в известность свои. Внезапность — половина дела; тайная подготовка — больше чем половина. Наполеон с целым флотом прошел до Египта, обманув английских адмиралов, потому что французы умели действовать не болтая. Да и Попов с Лесовским в шестьдесят третьем году неплохо провели англичан. Правда, Мраморное море — вроде мышеловки. С двух сторон в узкостях англичане могут держать дозоры. А, верно, не держат по кичливой самоуверенности. Это

надо в ближайшие же дни проверить. Заглянуть и в Дарданеллы и к Измиду.

С этим решением он захлопывает папку, запирает ее в ящик и укладывается спать. Но сон не идет. Может быть, потому, что в открытый иллюминатор проникает день, может быть, потому, что возбужденному уму представляются будущие боевые столкновения.

Когда он наконец забывается в коротком, тяжелом сне, ему представляется, что он попал на цейлонскую ловлю жемчужных раковин. Уже в Коломбо выпалили из пушек, и флотилия одномачтовых донни подошла к жемчужным банкам с обычным для сингалезцев и малайцев шумом. Сотни ныряльщиков в воде. Шлепки камней, привязанных к их поясам, крики захлебывающихся и напуганных акулами, крики надсмотрщиков и восторги от находки больших жемчужин оглушают Степана Осиповича. Он просыпается и недоумевает. Гам, слышавшийся во сне, продолжается, доносится через иллюминатор с воды и палубы. Недовольно он натягивает сапоги и выходит наверх.

Солнце восходит за розовыми домами Сан-Стефано и золотит далекий Стамбульский мыс. Вокруг парохода десятки острых канков и шлюпок, наполненных бронзовыми людьми в полосатых тельняшках, ярких куртках и халатах. Соломенные шляпы, узорчатые чалмы и грязные фески в лодках, в воде, на трапах. Загорелые руки протягиваются к матросам со связками бананов, мешками апельсинов, коробками фиников, устрицами, омарами.

— Добре господин!

— Десять парочка!

— Дешево бери!

Степан Осипович ищет Давыдова. Офицеры, как и матросы, занялись торгом, плотно окружили каких-то торговцев. Вот что значит отложить распоряжение на несколько часов! Сразу полный ералаш, точно не военное судно пришло в военное время.

— Давыдов! — кричит он лейтенанта.

— Вас разбудили, командир? — со счастливой улыбкой спрашивает лейтенант, появившаяся с какими-то невозможно яркими остроносными туфлями в руке.

— Дьявола разбудить можно было! Прократить это безобразие! Чтобы ни одна шлюпка не приближалась на пятьдесят сажен к пароходу, и всех посторонних вон!

От внезапно охватившей его и грубо

прорвавшейся злости ему самому делается неловко. «Чорт знает что! Трудно умело пользоваться властью», — говорит он себе, снова сбегает в каюту, захлопывает дверь и прислушивается к боцманскому свистку. Его приказание живо выполняется сконфуженным старшим офицером.

4

Тоскливо, донельзя скучно тянутся недели. Уже одолевает константинопольская жара, а служба непонятно какая: слухи о войне не прекращаются, но и подготовки к ней никакой. То для забавы главнокомандующего Николая Николаевича Старшего адмирал Попов приказывает устроить практические минные атаки; то отправляет «Константина» в Одессу с высочайшим пассажиром, тупым, самодевольным, горластым Николаем Николаевичем Младшим, о котором зубоскал Михаил Дмитриевич Скобелев говорит, что «сынчик еще больше папаши годится в командующие — ростом с Ивана Великого»; то, наконец, заставляет конвоировать по Мраморному морю насмех морякам всех стран чудовище «Ливадию», круглую, невозможно безобразную царскую яхту.

Степану Осиповичу надоели экскурсии армейских офицеров и чиновников, надоели нелепые расспросы сухопутных — ни в одной стране, кажется, нет такого потрясающего невежества в морском деле. Только двум гостям, перейдя на Константинопольский рейд, он радуется — Скобелеву и Василию Васильевичу Верещагину.

Конечно, Скобелев — притворщик, ломака. В этих тщательно расчесанных рыжик бакенбардах с чрезмерным запахом духов, капризном грацировании, шелковой рубашке, выставяющейся из-под белого кителя, есть что-то нарочитое, театральное. И Скобелев явно любит только себя, только свою популярность. Но он безусловно умен, смел, чужд рутине. Не преклоняется перед немецкой армией и даже после Седана считает, что русским генералам надо учиться у Суворова, а не у Мольтке.

А Василий Васильевич — превосходный человек уже без всяких «но». Какой художник, какой рассказчик, какой наблюдатель! И к тому же — моряк. С полуслова понимает все. Не напрасно учился в Морском корпусе, не случайно ходил в лихое дело на Дунае с лейтенантом Скрыдловым. И оба они часто жалеют, что Василию Ва-

сильевичу не удалось попасть во время войны на «Константин». Айвазовский писал кзенно, вылизывал корабли, и никакой мысли. А Верещагин, конечно, почище Тернера изобразил бы морской бой, взрыв и потопление неприятеля.

— Ну, ничего! — успокаивает себя и Макарова Василий Васильевич. — Мы с вами молоды, повидаем войну еще не раз. Жадность у меня до страшного, необычного. Какие, батенька, я сценки видел на Балканах! Вот напишу горы трупов, замерзших на снегу, дух займется. Или турок — отца с сыном — я наблюдал. Прижимаясь друг к другу, постепенно кочене-ли. Старик, едва живой, обнимал уже холодный труп юноши. Если бы вы видели его глаза!

— Ужас войны?

— Хотя бы и так! Пускай люди знают, что воевать — нелегкое дело, с крепкими нервами нужно и во имя чего-то.

— Пгавильно говорит Верещагин, — лениво картавит Скобелев, расчесывая свои бакенбарды и попивая ледяной оршад. — Год повоевали и бгитанцев испугались. Гогчаков у Бисмагга ищет тепегь поддежки. Дугаки немцам вегят.

— Михаил Дмитриевич славянский мир хочет поднять, со всей Европой воевать за Византию, — подсмеивается Верещагин.

— Фантастический роман можно написать, занятно будет, — улыбается Макаров.

Скобелев сердится: почему же фантастика, шутка? Надо лишь решительно изменить политику в отношении поляков, внушить, что Россия серьезно намерена стать во главе славянского мира. С поляками, чехами, словаками, сербами, болгарами, украинцами Австрии Россия будет иметь население половины Европы. Немцы тогда подождутся, перестанут интриговать. А англичан надо бить в Средней Азии. Дальше придвигаться к Индии — это сделает их сговорчивее, откажутся соваться в ближневосточные дела.

Верещагин продолжает подзадоривать:

— И вы, Михаил Дмитриевич, впереди на белой лошади. А? Белый генерал во главе славянских народов! И Константинополь — столица Всеславянского союза.

— Белый генерал, белый генерал! Знаете, что я так пгигучил солдат к бесстгашию. Я под пулями, и они не боятся... А насчет Константинополя помолчите! — добавляет он сердито. — И без того гегиманд неожиданный.

Степан Осипович слушает дружескую перебранку и смотрит на далекий Семибашенный замок, в котором когда-то держали московских послов от начала до конца очередной русско-турецкой войны. Сколько уже территорий и народов перешло от Турции к России! А все ли благоприобретенные подданные привязались к России? Не было бы в прошлом году высадки турок в Абхазии, если бы там население стало душой русским. Панславистская романтика генерала — блеф. На деле и славян и не-славян одинаково при наших порядках грабят и оскорбляют.

— Послушать вас, Михаил Дмитриевич, — начинает он, — мы и в самом деле Англию можем уязвить в Азии. Помните, давеча вы меня соблазнили двинуться с вами в закаспийскую экспедицию. Я думаю, еще несколько миллионов квадратных верст пустынь и гор хотя и приблизят, но не сделают нас сильнее против густо населенной Индии. Надо, чтобы разницу в отношении к себе азиатцы увидели. А мы сейчас, ей-богу, не лучше, а хуже английских колонизаторов. Они душат, но и устраивают какую-то культуру, а у нас на Кавказе поглядели бы... Разве кто из чиновников понимает русскую культурную миссию? Вор на воре...

— Верно моряк говорит, Михаил Дмитриевич: в Туркестане Кауфман постарался немало. Помните мой самаркандский альбом? — Верещагин тычет спутанной бородой через Золотой Рог на Стамбул. — Сюда пустить — ой, ой, что натворят!

Степан Осипович встает у фальшборта и показывает генералу рукой на высокие серые броненосцы англичан:

— А главное, Михаил Дмитриевич, через Гималаи и Тянь-Шани вы этих не достанете.

— Ну, это ваша, моряков, обязанность, — опять лениво и досадливо отделяется генерал.

— Конечно, наша. Но вы же общий государственный план намечаете, а морякам в нем ничего не оставили. Право, это не случайно. Флот у нас считается каким-то придатком. В мировой истории всякая почти великая держава погибала, лишившись значения на море. В древности Карфаген был разрушен, потеряв господство в Средиземном море. Испания погибла, а Англия возвысилась, потому что поменялись значениями их флоты. Голландия не вылезла в сильные державы, когда Англия разгро-

мила ее эскадры. Наполеону крест был задолго до Москвы уготован Трафальгарским сражением.

— Да мы же, капитан, не могская стгана!

— Мы? Что вы говорите, Михаил Дмитриевич! У нас большая половина морских границ. Что они частью во льдах — наша беда. Но теперь, когда техника шагает в сапогах-скороходах, и льды научатся форсировать. Но не станем говорить о севере! На Тихом океане мы уже второе столетие. А что сделали? В это царствование за гроши отказались от американского побережья и несколькими военно-каторжными поселениями обозначили свою азиатскую морскую границу. Это теперь, когда даже Япония и Китай обзаводятся европейскими флотами.

Он давно так не волновался и сам не знает, как все новые и новые аргументы приходят на ум:

— Да вот вы о славянстве толковали! Знает это славянство российские обещания! Оно на Адриатике бралось за оружие в надежде на российскую помощь и в чешменскую эпоху и позднее, при адмиралах Ушакове, Сенявине, Лазареве. А мы что делали? Мы никогда не отстаивали морских опорных позиций. Надавил Наполеон в Эрфурте — отказались от республики Ионических островов. Нажала Англия — бросили строившиеся в Греции базы и самих греков. Вот так и с болгарями будет.

— Прямо профессор истогии, — насмешливо цедит Скобелев. — Вас не удивляют, Василий Васильевич, познания Макагова?

— Это все и мне с корпуса известно, Михаил Дмитриевич. А вы запомните, чтобы в роли военного министра не перехватывать у моряков кредитов! — язвительно говорит Верещагин. — Однако хватит, господа, политики! Поедем в город! Степан Осипович, вы говорили, что у вас найдется штатское для себя и генерала?

— Как же, лондонские костюмы! Если едем, я прикажу подать катер.

— Едем, едем, конечно!

Воздух на рейде дымный, откуда-то тянет смешанными запахами смолы, рогож, ванили и кокоса. Катер скользит между колесных пароходиков и темных кайков. Фиолетовая вода у деревянных свай пристани совсем потемнела, и в кофейнях, парикмахерских, в лавчонках, торгующих фруктами, уже уютно загорелись огни.

Они идут по булыжной пыльной набережной в разноязычной толпе, равнодуш-

ной к иностранцам, оживленно занятой едой, курением кальяна, разговорами. Трудно поверить, что страна пережила войну, что в пятнадцати милях от города еще стоит армия победителей.

И до войны и во время войны так же, должно быть, на знойных, душных и тесных улицах жарили на вонючем оливковом масле лепешки, приготавливали кебаб и кофе, пили сиропы, играли в нарды, шашки и шахматы. Конечно, разноплеменной Галате нет дела до судеб Турецкой империи, лишь бы ей не мешали торговать, есть, болтать и плодиться.

Верещагин идет впереди, впитывая жесты и краски этого выставленного напоказ наблюдателю человеческого муравейника. Скобелев и Макаров отстают, стесненные своими костюмами. Им жарко, неловко, особенно Скобелеву.

Генерал ворчит, что в Константинополе надо ходить по-турецки — в шароварах или совсем по-азиатски — в халате. Наконец не выдерживает и окликает Верещагина:

— Василий Васильевич, зайдём в кофейню!

Верещагин наклоняет голову и жестом показывает на узкий, крутой переулочек, который должен вывести их к европейскому ресторану на Султан-Валиде. Они пробраются через большую площадь. Уже стихла сутолока дня, и греки упрятывают в прилавки свои товары — ковры, медную посуду, сбрую, сыры, зелень, фески, но цветочницы, нищие, полуголые прокаженные и стаи паршивых грязных собак продолжают преследовать прохожих.

В ресторане много офицеров из Сан-Стефано, в кургузых, взятых напрокат пиджачках; русская речь покрывает голоса других иностранцев.

Скобелев, прищурясь, смотрит вглубь зала и машет рукой:

— Бгат ваш, сотник, кутит, Василий Васильевич. Возьмем его под опеку!

— Обязательно нужно, — соглашается Верещагин.

Александр Верещагин совсем непохож на брата. У него не сходит с лица улыбка жизнерадостного, всем довольного человека. Он пытается рассказать что-то о турецких женщинах и уверяет, что на него из-за белой кисеи чадры поглядывали не одни красивые черные глаза.

— Саша — мастер врать, — снисходительно объясняет Верещагин. — А впрочем, он недурно копирует. Вы слышали, Михаил

Дмитриевич, его рассказы о сослуживцах, о кубанцах и осетинах? Нет? Презабавно изображает.

Александр Верещагин довольно ухмыляется и без приглашения начинает:

— Это Цветков у нас есть, командир сотни. Глаза странные, оловянные и выказывают какое-то вечное недоумение. Как выдаешься с ним, обязательно спросит: «Почем нонче золото?», а потом о наградах: «Говорят, казаков представить хотят за понэсэнные труды». А то осетин, майор Лисенев. Он в компании обязательно провозгласит первый тост за командира полка: «Гяспядя, зя здравье нясяго хрябряго, любимяго пяльковника Пятра Фядэровича Сярокина!»

Скобелев хохочет, а Степану Осиповичу скучно, грустно и немного завидно. Александр Верещагин глуп, но вот как любит его знаменитый брат. Оба любят друг друга, и, наверно, все у них в семье дружны. О брате Сергее, убитом на войне, Василий Васильевич часто вспоминает с грустью и уважением.

Он вдруг поднимается и прощается: поздно уже, и надо быть на пароходе.

Небо совсем зеленое. На улицах пусто, шмыгают одичалые собаки и быстро пробегают редкие прохожие. Только на пристани толпа подвыпивших английских матросов.

Степан Осипович торопливо идет по деревянному ряжу, всматриваясь в огоньки катеров и шлюпок. Навстречу ему поднимается Саенко:

— Ваше высокоблагородие, а нам почту доставили. Письмо для вас из Николаева.

Степан Осипович под фонарем осматривает конверт. Черная траурная рамка уясняет все — умер отец. Рука с письмом застыла навесу. Умер! Ужели же и перед смертью не вспомнил о нем? Ужели же умер недовольный и неверящий в путь сына?

В прошедшем ноябре, после получения им чина капитан-лейтенанта и орденов, старик все-таки упорно настаивал, что Степану Осиповичу надо уходить на службу по Адмиралтейству. Последнее свидание было невыносимо тяжелым. Он жил на «Константине» в доке и не зашел даже к отцу проститься. Он виноват — не умел быть сердечным, нежным сыном, задевал гордость отца, прошедшего куда более трудный путь, чем он. Может быть, и его когда-нибудь так же не будет понимать

сын. Степан Осипович гладит конверт ладонью на колене; крупные, нечаянные слезы смочили бумагу. Да, да, он был самонадеянным, жестоко-себялюбивым, сухим поленом! Корил отца тем, что сам выбивался в люди.

Он не в силах сейчас вернуться к размеренной жизни корабля.

— Топлива много? — отрывисто спрашивает он боцмана и, получив утвердительный ответ, приказывает держать к азиатскому берегу. Роем золотых пчел сверкает темная гора Скутари, удаляются топовые огни кораблей на рейде, волна из Мраморного моря бьет в борт и бормочет старую морскую песню.

Теперь он совсем, совсем одинок, даже призрачной семьи нет! А если бы два года тому назад в Лондоне сумел подрасться за свое счастье, сейчас бы уже была семья, свой сын, может статься. Где теперь Катя Бровцына? Забыла? Отвернулась? Или почему-либо считает его виновником их разрыва?

Опустив голову на руку, Степан Осипович пустыми глазами смотрит на светящуюся воду Босфора. Хочется жаловаться, кричать от тоски. А кому жаловаться? Даже Верещагин не поймет, чего не хватает тридцатилетнему флигель-адъютанту, капитану 2-го ранга Степану Осиповичу Макарову.

Июнь и половину июля «Константин» в плавании. Под парусами переходит на рейд Сан-Стефано и отсюда следует к острову Принкино. Потом направляется в Бургас, Варну, Кюстендже, Сули и Одессу. Снова через те же порты в Константинополь и обратно к Ливадии. Затем крейсирует в Босфоре, Мраморном море и Дарданеллах.

Все это время в Берлине заседает европейский конгресс. Он наделяет Англию — Кипром, Австро-Венгрию — Боснией и Герцеговиной и перекраивает Сан-Стефанский договор не в пользу России. Вместо Великой Болгарии к югу от Балкан, в Турецкой империи создается автономная область — Восточная Румелия. Македонская часть возвращается Турции без всяких условий, и только на небольшой территории к северу от Балкан образуется Болгарское княжество. Приобретения России ограничиваются издавна принадлежавшей ей

Бессарабией и возвращением в Азии Ардана, Батума и Карса.

Степан Осипович не ждал другого итога берлинского сидения. Подготовили к нему скептические суждения Скобелева и Верещагина, негодующие речи старика Якимова. Федор Константинович после новой встречи в Одессе аккуратно снабжает Степана Осиповича вырезками из газет и журналов, в которых весьма откровенно изругивается правительство, да еще от себя приписывает горькие, патетические комментарии.

«Да, конечно, мы молили вздор о кресте на святой Софии и Царьграде, а не имели по существу ни ясной программы, ни сознательной цели, ни средств для борьбы. Что жаловаться на Европу, оставившую нас в дураках, — думает Степан Осипович, перечитывая статьи решений конгресса, — если внутри страны нет порядка, чтобы быть сильными для внешнего мира? Лорд Биконсфильд может иронизировать и заявлять в речах, что России и Англии хватит места в Азии. Европа может передавать под опеку Австро-Венгрии турецкие славянские провинции. При ненависти народа к высшим представителям государства, при растратах в интендантстве и на железных дорогах, при взяточничестве и неурожаях, доводящих до голода, победы перестают быть победами. Плевна повторится в десятикратном размере, когда существуют внутренние Плевны».

Не отвратительно ли, например, что генералы, которых навязали Макарову в прошлые рейсы пассажирами, везли десятки чемоданов, надеясь не уплатить пошлин? С одним превосходительством у него даже вышел крупный скандал. Не по этому ли поводу вызывает сейчас адмирал Попов?

Степан Осипович ненадолго задумывается. Среди почты еще одно надушенное, короткое письмо. Мелкий женский почерк на голубом листке и подпись: *К. Якимовская*.

Удивительное совпадение фамилии его новой корреспондентки с постоянным корреспондентом: Якимов, Якимовская.

Сходя в катер, он улыбается нежно сияющей дали. Там, на острове Принкино, в дни, когда он тосковал, подавленный смертью отца и ощущением собственного одиночества, произошла случайная встреча.

Как очаровательно умеет Капитолина

Николаевна слушать! Какое живое внимание к его профессии, ко всем злоключениям жизни моряка! Он прогоняет дерзкую мысль. Конечно, это письмо говорит только о хорошем, светском воспитании. Он был гидом Якимовских на острове Принкино и в Георгиевском монастыре, он доставил Якимовских в Константинополь на катере «Константина», он навещал их в Одессе, он написал. Она отвечает в прывилах вежливости.

Вода как сине-лиловое масло. Белые дома Сан-Стефано пекутся на солнце, и под кипарисами нет даже тени. Степан Осипович задыхается от жары, пока находит дом, в котором уютно расположился Андрей Александрович.

Старик лежит с газетой в гамаке у прохладного фонтана и молча указывает Макарову на низкий табурет. «Ну, значит, не для разнаса вызвал», — сообщает Степан Осипович, принимая приглашение.

Андрей Александрович читает и шевелит губами. Глаза его под очками мирны и строги.

— Читал, как Сольсбюри издевается над князем Горчаковым? И то правда, понадеялись Горчаков с Шуваловым на Бисмарка, а он сыграл другую партию. Обремились! Однако это уже теперь история. В общем, мир получили, Степан Осипович, — и хорошо. Давай теперь обдумаем, что нам делать? — говорит он, бросая газету в траву.

«Господи, неужели опять собирается заставить над поповками трудиться?» — приходит устрашающая мысль, и тут же вспоминается злое замечание Зацаренного, что если Попов проживет еще десять лет — то выдумает четырехугольные, квадратные и кубические суда.

Степан Осипович не может удержаться от улыбки:

— Служить будем, Андрей Александрович.

Попов спускает волосатые ноги в траву и фыркает:

— Конечно, служить. Да ты-то где будешь служить?

— Откровенно скажу, ваше превосходительство, предпочту службу в плавающем составе.

— И это знаю. Да еще кое-что о тебе стало известно.

— Что, ваше превосходительство?

— Точно юноша, скрываешься! Если вы, господин флигель-адъютант, задумали же-

ниться, то вам же без начальства не обойтись. Разрешение государя получать нужно.

— Я, право, не понимаю, Андрей Александрович.

— Будто? Но твой будущий тесть уже наметнул Чихачеву и мне написал-с. Желательно, милостивый государь, вашему предполагаемому родственнику, чтобы вы служили на Черном море, но в более почетной роли.

Машинально Степан Осипович расстегивает крючки воротника кителя и поводит смокшей шей:

— Господин Якимовский свою дочь компрометирует. А если Капитолина Николаевна согласия не даст?

— А кто же ей нужен? Иностранный принц, кандидат на болгарский престол? Или всякая смазливая девушка с институтским воспитанием может после Наталии Кешко мечтать о сербском короле? Не приbedняйтесь, Степан Осипович! Флигель-адъютант русского императора — персона.

Степан Осипович подставляет ладони к струе фонтана и жадно пьет воду. Неужели эта юная девушка может его полюбить? Он видит перед собой ее тонкий профиль под вуалью, трогательно завязанной бантом на шее, ее нежную руку с цветами, которые они вместе набрали, снова ее руку в густой, потемневшей воде, когда она задумчиво сидела в катере, укрытая от ночной сырости его пальто.

— Так что, Степан Осипович? — слышит он, словно издалека, голос адмирала. — Ты согласен?

— Я женюсь, ваше превосходительство. Но она...

— Какое мне дело до вашей женитьбы? Я спрашиваю: согласен ты быть командиром «Ливадии»?

Степан Осипович удивленно поднимает глаза:

— Мне быть командиром «Ливадии»?

Так вот зачем разговоры о женитьбе! Его хотят сделать ручным, лишить заня-

тый делом, превратить в безответственного исполнителя.

— А что ж такого? Ты флигель-адъютант, все равно имеешь право быть при дворе. А тут соединишь службу царской семье с личными планами.

— Но, Андрей Александрович, на такой службе о войне помнить некогда будет. Назначение — среднее между шкипером и лакеем. И, наконец, «Ливадия» — дрянное судно, посмешище. Ее надо решительно переделать.

Адмирал рывком вскакивает, запахивается в халат и багровеет.

— Вы, сударь, неисправимы! Можете итти-с! Можете итти-с! — вдруг взвизгивает адмирал и захлебывается в кашле. Глаза его наливаются кровью, он топает ногами и хрипит: — Я доложу генерал-адмиралу. Вы змея-с, змея! Возить государя — для вас не дело! Мною строенная яхта — посмешище! Хорошо-с, господин флигель-адъютант! Хорошо-с! Поищите себе других друзей! Идите же, идите вон!

Степан Осипович видит, что со стариком в его исступлении невозможно говорить. Да и что говорить? Он сказал чистую правду, и не от чего ему отказываться.

Не кланяясь, он поворачивается и крупными шагами идет по аллее. Розовая галька шуршит под его ногами. Вот тяжелая калитка и взморье. Мраморные, синие в белых прожилках волны, шипя, растекаются по песку, и вместе с линией горизонта медленно покачивается «Константин».

Бешенство старика не обидно, нет. Каково, разумеется, услышать в лицо от моряка, что ты — негодный конструктор. Обидно, что окончательно надо вычеркнуть из доброй памяти «беспокойного адмирала», первую страстную привязанность юности.

Ну что ж, зачеркивать — так зачеркивать и итти своим путем-дорогой!

Конец первой книги

Бор. Колоколов

В ГОЛУБЫХ СНЕГАХ

1. МАДАМ БОМБА

Временами на заливе становилось совсем тихо. Из леса доносился отдаленный гул орудий. К нему прислушивались молча, настороженно. Постепенно эхо замирало, и снова возникали привычный шум сосен да журчание теплого ключевого ручья.

Над ручьем поднимался пар. Было слышно, как подтаявший снег с шуршанием падает в воду, как бурлит ручей, осиливая снеговую запрудку. Тогда, чтобы отвлечься, кто-нибудь из сидящих вокруг костра, не поднимая головы, скажет:

— Шумит забавник!

А для Курьина вполне достаточно услышать один звук человеческого голоса: Он сразу привяжется с вопросами, втянет в такой спор, что на целую неделю хватит разбираться.

— Вот ты считаешь себя умным, — говорит он, — а скажи, каким манером лучше всего обхитрить зенитку?

Ему не отвечают. Все уткнули носы в огонь костра, думают свою беспокойную думу. Кажется, для летчика ничего не может быть хуже, как ждать погоду, бездействовать в такое время, когда знаешь, что твоя помощь дозарезу нужна наземным войскам.

Со стороны моря непрерывным потоком плывут густые черные тучи. С перерывами падает снег. Мокрые хлопья уже запорошили все тропы от костра к самолетным стоянкам.

А Курьин не унимается:

— Не знаешь, так и скажи! А на мой

взгляд, если она, гадюка, метит в голову или норовит под живот, ни за что не уходи в облачность!

У Курьина маленькие, вдумчивые глаза. Узкий нос, как будто чуть свернутый на сторону. Но в лице Курьина есть что-то привлекательное.

На несколько минут у костра воцаряется тишина. Вновь становятся слышны ручей, падение талого снега и беспорядочный грохот повозок со стороны дороги.

От командного пункта вразвалку идет командир. Издали, в комбинезоне и унтах, он похож на медведя, ставшего на дыбы. У него понуро опущена голова — значит, полет не разрешили. И всем становится не по себе: кто достает папиросу и прикуривает от уголька, кто шелестит газетой, шелкает рукавицами, отогревая заокостеневшие пальцы. Всем хочется, чтобы заговорил Курьин, но теперь он молчит, обиженный недавним невниманием.

Не сказав ни слова, он встает и идет от костра в лес.

— Всегда такой обидчивый! — В голосе татарина Нурситова чувствуется обида. — Курьин, захвати хвост! — кричит он едогонку. — Песню спою.

Вскоре Курьин возвращается с хвостом. Костер вспыхивает с новой силой. Искры взлетают к макушкам высоких елей.

Нурситов склонил набок коричневое лицо с раскосыми глазами. Он улыбается широким ртом и тихо запекает. При этом

он легонько ударяет в ладони, перевертывая их, словно комкая кусочек белого теста. — Вот черт! — в который раз восхищенно выкрикивает Курьин.

В этом его высшая похвала бесхитрому напеву, залетевшему с далеких, знойных степей в суровые северные леса.

После обеда полет разрешили. Над командным пунктом расцвела зеленая ракета. Волнами большого прибоя прошел по заливу рокот машин. Самолеты стайками улетали на север.

На этот раз Нурситову хотелось попутно исполнить свою маленькую клятву. Как-то, вот также у костра, они заспорили с Курьиным, откуда появляются сопровождающие истребители. Курьин с присущей ему горячностью принялся доказывать самые невероятные способы взлетов, патрулирования за облаками. Затем он таинственным шопотом стал рассказывать о подземном аэродроме, будто бы расположенном под корнями елей.

Над ним подшучивали, смеялись, но толком никто не знал, откуда появляются «истребки». Нурситов в присутствии всей эскадрильи тогда же дал слово проследить за моментом их взлета. Пока ему выполнить свое слово не удавалось: то облака закроют землю и лес, то на приборы засмотришься, а они уже под крылом.

Нурситов рванул на себя штурвал. Самолет бросило кверху.

В краях эскадрильи плыли юркие истребители. Они то терялись в облаках, то вновь, точно просачиваясь, выступали из туманного марева.

Впереди эскадренный самолет с резкого виража кинулся к земле. За ним следовали остальные. Одна за другой машины окунались в серую, разжиженную мглу облачности.

На спину легла упругая тяжесть. Нурситов выровнял самолет, прибавил обороты винтам. В грохоте моторов он едва разобрал голос штурмана. Курьин из своей кабины телефонировал:

— Чуть доверни вправо, сейчас буду бомбить!

Впереди, у высокого здания, уже выкатился дымовой шар. Лопнул, и из него, как из раскрывшегося на глазах бутона,

потянулись желто-красные лепестки пламени.

Ефрем Нурситов проворно работал руками, переключая рычажки, двигая педали, штурвал.

Немного ниже самолета рвутся снаряды. Они также похожи на бутоны темных цветов, из которых то и дело вырываются на свободу узкие полоски огня. И всюду, куда ни поверни голову, искрами мелькают трассирующие пули.

Ефрем сжал зубы. Что-то остро кольнуло ногу. Хотелось закричать, но он сдержал себя. Перед губами микрофон, соединяющий его со штурманом. «Нечего зря беспокоить», — подумал он, и, как бы в ответ на мысли, слева замигали зеленые лампочки. «Все в порядке», «все в порядке», — говорили они. Нурситов выключил микрофон и нажал ответную кнопку зеленого огонька.

Шедшая впереди машина Копылова отстала. Ее окружили, поставив на место ведущей. Так шли, кажется, минуту-две...

Затем Нурситов увидел, как вспыхнули разом оба мотора, и копыловская машина, охваченная со всех сторон пламенем, повалилась к земле. За машиной вырастал густой столб черного дыма...

На аэродроме никто не разговаривал — слишком велико было горе. Только изредка Нурситов повторял одну и ту же фразу:

— Такой башка, такой башка!

Копылов на самом деле был великолепный летчик. Техник и моторист до сих пор не верили в его гибель. Они поминутно закидывали головы и смотрели в ту сторону, откуда обычно появлялись самолеты. Они знали, что Копылов так дешево не отдаст свою жизнь врагу, они верили Копылову. Но, думая так, они упускали одно обстоятельство — против шальной пули ни один смельчак не выстоит.

Под огнем шипит снег. Кто-то бросил в огонь битую тару. Пламя щелкает сухим хворостом и жадно грызет его.

Голова так отяжелела, что ее невозможно поднять от колен, посмотреть в костер, в лица товарищей. Ефрем делает усилие и поднимает влажные глаза.

С непокрытыми головами, с горем наедине, люди в тяжелом раздумьи.

С залива метет поземкой. Холодное солнце, блеснувшее в полдень над лесом,

ушло в облака. Редкие просветы цветут бледной синевой.

Под костром протаяла глубокая, черная яма. Она увеличивается, обтаивает, плывет.

— Прими ногу! — Ефрем толкнул в бок задремавшего приятеля.

Тот очнулся, убрал от огня большую рыжую унту.

Незаметно к костру подошел комиссар. Узкое, вытянутое лицо, впалые щеки, но горячие, приветливые глаза.

— Прошу почтить вставанием память товарищей! — проговорил он сдавленным голосом.

Все поднялись. Рослые, в распахнутых комбинезонах.

Ефрема подхватили под локти. Он встал, с трудом преодолевая боль.

В белесые волосы комиссара залетал снег. Снежины то и дело прилипали к широкому лбу и тут же таяли. Он сказал, еле скрывая волнение:

— Погода не предвещает ничего приятного. Но мы должны подняться и сбросить на голову врага новый бомбовый груз.

Минуту длится молчание.

Нурситов стоит бледный, с потухшими глазами. Но вот он разжал узкие губы, и глаза его заблестели решимостью:

— Я предлагаю взять под плоскость еще по один мадам бомба.

Эти слова показались неуместной шуткой. Никто не улыбнулся. Да и увеличить бомбовую нагрузку на пятьсот килограммов — дело рискованное.

Плывет тишина. Журчит теплый ручей, шумят макушками вековые сосны. И вдруг все разом зашумели, как будто рядом провралась плотина.

Залив ожил. К самолетам бежали люди. На руках они несли бомбы, тащили их волоком, везли на кенгах, листах фанеры, железа, на детских салазках с плюшевыми сиденьями.

Мадам бомба!

Мадам бомба — завладела всеми.

Вскоре самолеты поднялись и ушли на задание. Но после второго полета Ефрем не смог вылезти из кабины. Приземлив машину, он потерял сознание.

Правая унта была полна крови.

2. ГЛЫБА

Незнакомые с летным делом обычно не придают значения номерам, украшающим хвостовое оперение самолета. Долгое время таким был и я. Но проходили дни, и меня все чаще начинало разбирать любопытство, каким образом летчики определяют, чья машина находится в воздухе. Так это у них просто и безошибочно получается. Запрокинут голову и скажут:

— Нестеров пошел в зону.

Позже, когда нужно было отыскать кого-нибудь на аэродроме, меня адресовали просто:

— В третьей эскадрилье, самолет с хвостовой пятеркой.

Тогда я и понял, что каждый самолет, как дом на улице, имеет свой твердо установленный номер. По номеру узнаются и его жильцы.

На этот раз над заливом кружился самолет с крупно выписанным номером четыре. И все в один голос повторили несколько странную фамилию:

— Глыба!

— Глыба!

На старте самолету выложили посадоч-

ный знак. Огромная серая птица, не делая круга, взметнулась над высокими макушками и круто пошла на посадку. Спустила несколько секунд самолет замер у креплений, вмороженных в лед. Я увидел летчика.

Да, это был действительно Глыба! Широкоплечный в плечах, высокий, самолетная плоскость едва приходилась ему по грудь. Он ступал по заливу тяжелой походкой.

«Нечего говорить, этот может», — думалось мне, когда он проходил мимо.

Летал Глыба мастерски. За ним уже числились сотни часов полета в самых трудных условиях. В какие только переделки он ни попадал и всегда выходил победителем.

Еще в начале боевых действий на Карельском перешейке он попал в зону сильного зенитного обстрела. Получил несколько пробоин, угрожавших гибелью самолету.

В пяти минутах лета до аэродрома вспыхнули оба мотора. Он приказал штурману и радисту прыгать, а сам приземлил самолет.

После неудачного прыжка над лесом

комиссар, летавший с ним за штурмана, слег в госпиталь. Временно был назначен другой.

Погода не улучшалась. Стояли хмурые дни. Непрерывно валил мокрый снег. О полетах нечего было и думать. Но Глыбе не сиделось. Он стал настаивать, чтобы ему разрешили полет. Наконец, разрешение было получено. Без лишних приготовлений он ушел на задание.

На этот раз он получил свыше трехсот пробоев. Машина не повиновалась управлению. Перебитую тягу руля глубины радист всю дорогу держал руками. И Глыба вновь привел машину на аэродром.

Вылез, достал из кабины раненого штурмана. Взял его на руки и понес к костру, то и дело проваливаясь в сугробах.

Через шесть дней из госпиталя вышли оба комиссара, шутили:

— С тобой, Глыба, комиссару летать опасно!

Сегодня Глыба считал себя именинником. Ему поручили разведать глубокий тыл врага.

На земле лежал густой туман, небо затянуло тучами. С величайшим трудом пришлось ему преодолевать облачность. Иногда он вырывался из туч и в редкие разрывы, точно в окна, камнем кидался на войска противника.

Прямо из-под крыла вырывались лес, узкая кайма дороги, запруженная лыжными, повозками, орудиями. Люди шаркались в стороны, скатывались с дороги к опушке леса, беспорядочно стреляя по самолету.

На обратном пути, когда Глыба перелетал линию переднего края обороны, в упор застрочили зенитки. Самолет попал в лавину огня.

И вот теперь Глыба сидит возле камина, спокойный и молчаливый, как будто ничего с ним не случилось.

Я всмотрелся в его широкоскулое лицо. Оно не было красиво. Большие, жадные ноздри, немного обвислые губы, но густые ресницы и вьющиеся рыжеватые волосы как-то скрашивали резкие черты.

«Он совсем не такой, каким обычно рисуют прославленного летчика», — думал я.

— Получил от Оли письмо, — вдруг тихо произнес он.

Потрескивали дрова. В темном углу передергивалось отражение пламени.

Глыба стал рассказывать. У него есть жена Оля. Маленькая, белокурая, хрупкая женщина. Сегодня в конверте вместе с письмом она прислала носовой платок. Оля последний месяц в положении. Она ждет сына, он — дочь.

— Перед вылетом на фронт мы всю ночь не спали, — говорит он, немного смущенный, — подбирали имена. Оля предлагала много и ни одного подходящего. Так к общему знаменателю и не пришли. Вы мне не поможете?

Я охотно согласился.

За ночь мы перебрали, кажется, все человеческие имена.

— Георгий, Леонора, Михаил, Лена, Галина, — перечислял я.

В верхнем этаже прокричали подъем. На нарах закопошились люди. К рассвету мы сблюбовали два имени — Валентин и Ирина.

Сергей влез в комбинезон. Одевая унты, неожиданно обернулся:

— А ведь, честное слово, будет здорово: Валентин Сергеевич!

Я ничего не ответил. Я только подумал, какие это должны быть счастливые дети, имена которым даны здесь, в суровых лесах Финляндии, на передовой линии фронта.

Глыба вышел. В окне мелькнули его широкие плечи. Он двигался по тропке, легкий и помолодевший. И мне показалось, что рядом с ним идет его Оля.

3. ЛЕСЕНКА ВЫРУЧИЛА

В этом, очень неуклюжем с виду, но удобном для жилья, доме, где квартировала котановская эскадрилья, тепла было сколько угодно. Заботливый хозяин, видимо крайне чувствительный к холоду, понастроил такое количество голландок и плит, что их при более благоразумном

расположении хватило бы еще на три избы. Словом, после дня, проведенного на заливе, было где обогреться и просушить меховые чулки.

С наступлением сумерек сюда, по недавно проямтой тропе, гуськом пробирались люди с аэродрома. Минувя перевернутые на

берегу рыбацкие лодки, раскинутые на кольях мерзлые сети, люди углублялись в лес. Дальше дорога шла вересняком, вздымалась на гору и тут угловато ломалась.

Котанов шел первым. Его походке, нагминающей плавное покачивание баркаса, подражала молодежь. Зато у более опытных, повидавших виды летчиков она вызывала усмешку.

— Важничает! — заметит кто-либо на ходу.

— Комэск, ничего не попишешь, — скажет другой, оглядываясь через плечо.

В этих шуточных замечаниях наилучшим образом сказывалось ироническое отношение к молодому командиру эскадрильи. Летчики — народ открытый, прямой, они не будут хитрить и лукавить. Не понравился — будь любезен, убеди делом, докажи, что ты стбйщий человек, — в момент переменятся и отношения и взгляд. Котанов чувствовал свою молодость среди бывалых летчиков, но с доказательствами не спешил. Казалось, признание ему безразлично.

После знойных степей Халхингола северная природа пришлась ему по вкусу. Он сразу по достоинству оценил красоту высокого хвойного леса, прелесть незамерзающих ключей и глубоких снежных завалов.

Иногда Котанов уходил в лес и подслуг простаивал возле рябины, отягощенной красными гроздьями. Радист Писаков, проследив как-то за прогулками командира, рассказывал:

— Ей-бо, иду, а он стоит около рябины и любитесь невесть чем. Небось стихи составлял!

Но странности командира не привлекали внимания. Да, по совести сказать, и некогда было присматриваться к его чудачествам. Приходилось иногда совершать в один день до трех рейсов в тыл врага. Такие станции, как Ланперанта, Кархула, Котка, Кямьяре, Выборг, стали знакомы не только по карте района полетов, — они ментально различались по силе зенитного обстрела.

В соседних эскадрильях, расположенных вдоль по заливу, появились первые потери в людях. Переживались они тяжело. В котановской эскадрилье потерь пока не было, зато от соседей живо доходили черные вести. Они особенно неблагоприят-

но действовали на молодежь, впервые попавшую в боевую обстановку.

И вот однажды утром, обходя комнаты, Котанов приказал всем раздеться до пояса. На дворе стоял такой мороз, что и в доме людей, одетых в меховые комбинезоны, пробирал озноб. На командира смотрели с нескрываемым удивлением. Котанов стоял с обнаженными плечами, широко расставив мохнатые унты, покачиваясь. Затем обмотал шею вафельным полотенцем, взял со стола мыльницу и тихо проговорил:

— А ну, кто со мной на ключ умыться?

Это было равносильно тому, чтобы пойти и окунуться в прорубь. Никто не решался первым выскочить на мороз. Толпились в дверях, шушукались, поглядывая на Котанова, как он неторопливо, вразвалку, шагал к ключу, бывшему фонтаном. А спустя несколько минут у струи стало тесно от широких спин. Обволакиваемые сизоватым парком, люди брызгались, толкали друг друга, смеялись, подшучивали:

— Вот это душ! Чистый Кавказ!

С этого дня стали принимать холодную ванну. Люди повеселели, приободрились. Котанов чуть ли не ежедневно собирал всех у костра, объяснял, какой маневр когда следует применить, как отразить атаку истребителей.

Ночью Котанов часто просыпался, вставал с кровати. Курил. Долго сидел в темноте, прикуривая папиросу от папиросы. Пустая банка из-под шпрот наполнялась окурками. Однажды он не вытерпел, зажег небольшой огарок свечи и тихонько толкнул в бок спавшего по соседству флагманского штурмана Макуху:

— Миша, ты спишь?

Тот откинул уголок одеяла, улыбнулся:

— Разве я могу спать, когда у командира назревают роды?

— Мишка, чертяга, — сдвинул он его руку. — Честное слово, собираюсь родить. Понимаешь? ..

Михаил откинул одеяло, закурил.

В глухой тишине потрескивал обтаивавший огарок, изредка стреляли сжимаемым морозом углы да где-то далеко, видимо у последних стоянок, зенитчики испытывали пулемет.

Командир спросил полушопотом:

— Ведь может же быть такой случай?

Может. Поэтому на каждый самолет нужно сделать веревочную лесенку.

Михаил от всей души широко улыбнулся. Ему понравилась мысль командира.

Когда из штаба армии поступило разрешение на полет, на залив упала первая вечерняя мгла. Заветрило. Колочая поземка помела с севера на запад, откуда в ясные дни отчетливо виден купол кронштадтского собора. Перемена погоды не радовала, но особенно и не огорчала. Люди уже привыкли ко всяким ее капризам и рвались вылетать даже в дни сплошной облачности.

Стройно в небо ушла первая эскадрилья. За ней на старт вырулила вторая.

Закинув голову, Котанов беспокойно оглядел низкие облака. Хотелось проскочить в образовавшийся голубоватый разрыв. Он поднял на руку полевую сумку, еще раз окинул небо и поспешно заговорил:

— Летим на Выборг!

Выстроившиеся в полукруг летчики, штурманы, радисты слушали со вниманием.

— Необходимо вывести из строя объект «Д». Допускаю бомбометание в пути, если будет обнаружено скопление противника. Помните о выручке! Заходит первый справа. Лесенки у всех сделаны?

Летя эти лесенки! Ими занимались все свободное время, плели из канатов, троса, тайком посмеивались. Все были того мнения, что лесенка — очередное чудачество командира. По его предположениям, она предназначалась на случай вынужденной посадки для кабины радиста. В эту кабину на аэродроме обычно влезает по металлической стремянке. Но так как никто не собирался делать вынужденных посадок, то все считали эту затею пустой и ненужной.

— Сделали?

— Сделаны, — неохотно отозвались вразнобой люди.

— Тогда по самолетам!

Винты подняли резкий снеговой вихрь. Снег блеснул синевой, кинулся вслед за машинами.

Во всю необъятную ширь залива лежал валунами покров — мягкий, нетронутый, синий. По всему извилистому берегу запорошенные снегом стояли леса.

Люди жались к лесу. Около него как будто теплее. У опустевших стоянок чернели невысокие грудки снарядов. Напро-

тив, в жиденьком ельнике, меркли костры. Люди старательно носили хворост, кидали его охапками на раскаленные угли.

Всякий раз те, кто оставались на земле, раскладывали костры: прилетят, обогрются, поведают о полете. А пока длились минуты ожидания, охотники побеседовать рассуждали о жизни.

— И до чего теперь народ смысленный пошел! Вон у меня дочка пишет в письме, что белофиннам нас не осилить, — говорит инженер Хвоцев.

Рядом техник в засаленной мелюскинке начинает рассказ о своем сыне:

— И у меня такой же...

Потом разговор переходит на другие темы: о России, об ее войнах, полководцах, с новой прочитанной книге, взрывателях, с сожженных у печки унтах. Так и плетется кружевом неторопливая беседа, незаметно переходя от одной темы к другой, от одного человека к другому.

— А ладно ли будет, ребята, — вновь заговаривает Хвоцев, — если к люковому пулемету приспособить тросик? По-моему, затея нехитрая, но полезная.

Он не успел развить свою мысль до конца. В небе загрохотали моторы. Из-за леса со всей быстроты на залив упала первая эскадрилья, за ней неожиданно круто стали опускаться самолеты Котанова.

Люди повскакали от костров. На лету с беспокойством и тревогой подсчитывали:

— Второй здесь!

— Шестерка пришла!

— Мой дома!

Техники и мотористы бежали к стоянкам принять свои машины.

И вот в эту минуту на заливе произошло нечто неправдоподобное.

Самолет Котанова, в клубах снега подруливавший к месту стоянки, неожиданно замер. Из распахнувшегося бомбюлка вывалился человек. Из кабины радиста по веревочной лесенке полез кто-то непомерно большой, в изодранном комбинезоне. В той же кабине поднялся другой, без шлема, в одной кротиковой маске на лице, таща на руках человека. Он осторожно подал подоспевшим людям окровавленного бойца.

Со всех сторон к самолету сбегались люди. Они тихо переспрашивали:

— Сгорел?

— Кто, Грудин?

— Шесть человек в самолете!

Люди плотно обступали машину. Сдви-

зуб брови, они сурово и вместе с тем восхищенно следили за Котановым. Он ловко отстегнул парашютные лямки, соскользнул с плоскости. Не поднимая головы, всмотрелся в задымленную кайму горизонта.

Командир взял под руки раненого и, ни к кому не обращаясь, попросил:

— Подхватите ноги!

Что же произошло в полете? Об этом мы узнали гораздо позже, когда Грудин был отправлен в госпиталь, а все остальные хорошо отоспались.

Задание было уже выполнено. От сброшенных бомб внизу полыхали строения. Широкое пламя заливало военные объекты противника и вновь припадало к земле. Прогорклый, удушающий чад тянулся до самых облаков, мешая просматривать землю. Он растекался по всей омертвевшей округе. Бомбы падали в его кисею, точно в сети. Прорываясь, они вскидывали на воздух груды камня и земли.

Самолеты взяли курс на свой аэродром. Рассеивая винтами облачное марево, они ровной, журавлиной стайкой улетали на запад.

В этот момент зенитка опередила мысль уйти в облака. Она зачастила метко. Все небо мгновенно покрылось зловещими золотыми брызгами.

В порывистых движениях воздуха машину бросало, точно утлую лодчонку в восьмибальный шторм. Впереди, сверху, с боков, со всех сторон металась огненная струя. Они прорывались под самую машину или взлетали в густую облаковую темень.

Вначале Котанов решил набрать высоту. Он уже качнул баранком, но мгновенно с силой кинулся к земле.

Выводя машину из пикирования, заметил падающий самолет. Машина с хвостовой девяткой быстро шла на снижение к маленькому озерку, оцепленному с одной стороны лесом, с другой — бревенчатыми постройками.

Девятка! Мгновенно вспомнился грудинский экипаж рослых, молодых ребят. Откинул очки. Рискуя быть подбитым, повел эскадрилью по кругу.

Теперь уже отчетливо было видно, как из-за низких строений, придавленных снегом, выбегали белофинны. Они беспорядочно стреляли по приземлившемуся самолету. Обходили его неровной цепочкой.

Котанов осторожно оттолкнул от себя штурвал. Машину качнуло и потащило к земле на бреющий.

Стрелки дали по длинной пулеметной очереди. Цепь поредела, перестала извиваться.

Дальше раздумывать было некогда. Он повел самолет на посадку. С грохотом пронесся над деревней, скользнул по макушкам густого леса, почти не касаясь лыжами снегового покрова, бешено прогнал машину вдоль озера.

Оглушительный взрыв, неожиданно взметнувшийся над озером, поглотил шум моторов. Могучим эхом он опажнул леса.

Самолет Грудина горел. От него медленно отползали три черные людские точки.

Котанов в микрофон приказал радисту: — Выбросьте лестницу!

Оставшиеся в воздухе самолеты прикрывали посадку. Они то и дело пронеслись над лесом, посылая густые струи свинца.

Грудин бежать не мог. Одна пуля прошибла ключицу, другая застряла где-то повыше ступни. Его волокли, подхватив под локти. Позади оставался едва приметный кровавый след.

Откинув колпак, Котанов отдавал распоряжения:

— Один в бомболюк, быстрее! К радисту! Ничего, поместитесь.

К самолету бежали белофинны. Подгоняемые иступленными криками, они стреляли вверх и, уткнувшись, замирали в колючем снегу.

Самолет поднял обжигающий вихрь, грузно качнулся и почти без пробежки ушел в небо.

В полете радист выбрал из-за борта веревочную лесенку.

4. ЧЕРНЫЙ КОТ

Метель разразилась около полудня. За легкими вьюнами набежал недобрый северный ветер. Он потрянул макушками при тихшего леса, перекинулся к подножью и побежал ровным снеговым покровом. По

заливу заматалась огромные полчища колючих снежин. Ветер потушил костры.

У командного пункта надсадно закричала сирена. Ее иступленный вой сливался с завыванием вьюги, предвещая близкую

беду. И почти в ту же минуту беда свершилась. Из льда вырвало несколько креплений. Ураганом потащило самолеты. Одним порывом ветра выбросило на лед бомбы, сложенные штабелями неподалеку от леса. С грохотом они покатались по заливу, подгоняемые могучими порывами то и дело набегавшей ветровой волны. Смелчаки кинулись их догонять.

И вдруг ветер неожиданно замер. В наступившем посветлении залив стал похож на далекую северную зимовку. Рядом с наметенными дюнами стояли самолеты. Ураган повернул их по-своему. Стропы, крепления, радиомачты с тонкими проводами антенн покрылись пушистым инеем. А вдалеке, среди волнистых переливов снега, чернели фигуры людей, старательно собиравших раскиданные ураганом бомбы. Издалека доносились звучные голоса, сливаясь в одну протяжную ноту.

— Не успели уложить бомбы в ровные штабеля, как со стороны моря снова хлынули мощные потоки ураганного ветра.

Ветхий мезонин стонал от ударов воздушного шквала.

Мозаев попытался пробежать недочитанную страницу, но усталость брала свое. Он отложил книгу, поглубже закутался в кожаный, на меху, плащ.

Подступал первый, самый чуткий сон, когда в дверь кто-то зацарапался и постучал. Он вздрогнул. Встал. Распахнул половину скрипучей двери в темноту чердака.

На пороге появился большой черный кот. Сверкнув крупными зеленоватыми глазами, кот обмахнулся пушистым хвостом.

— Ну, входи, не стесняйся!

Кот вошел.

Мозаев захлопнул дверь. Нерешительно перебирая мохнатыми лапами, кот поплеялся на огонь жестяной времянки.

Подсев рядом на перевернутый табурет, Мозаев протянул ему остатки ужина. Кот с жадностью проглотил кусочки колбасы, хлеба, облизаался, улегся в отсвете тлеющих углей и, пошевеливая хвостом, подозрительно оглядывал склонившегося над ним человека.

Неугомонный ветер попрежнему колотился в подслеповатые окна мезонина, шумел макушками елей и оголенными ветвями берез. Сыпучий снег царапался о дощатую переборку. Слышались шорохи, скрип, то отдаленное, то близкое завывание вьюги.

Притретый тлеющим огоньком, кот замурлыкал. Снисходительно, как бы говоря: «Ну ладно, погладь», прижался к ноге Мозаева.

Мозаев тут же придумал коту звучное имя «Гум». Представил себе его историю — беглеца, скрывшегося в лес искать пищу после поспешного отступления хозяев. Он сразу полюбил черного Гума и положил его к себе на кровать.

С этого вечера в ветхом мезонине белой виллы вместо одного стало два жильца. Они скоро превратились в больших, а лучше сказать — неразлучных друзей.

Черный Гум ходил за своим хозяином по пятам. Каждое утро он приходил на залив, садился неподалеку от самолетных стоянок и терпеливо ждал, пока Мозаев летал на боевые задания.

Казалось, он понимал необходимость коротких расставаний.

На заливе было много людей. Всем хотелось приласкать, потрогать замечательного кота с пушистыми кисточками на ушах, но Гум не признавал чужой ласки. На его спине моментально вздымалась высокая шерсть, с урчанием он морщил верхнюю губу, обнажая острые клыки. А вечером Мозаеву приходилось выслушивать жалобы на недотрогу-кота, на его хищные, рысьи повадки.

Однажды в мезонин пришел командир звена Дроздов. Указывая пальцем на Гума, он сказал Мозаеву:

— Придется его пристрелить. Сегодня искусал моего штурмана. Это не кот, а какая-то злая дворняга.

— Ладно. Он мне самому надоел, — сказал Мозаев, хотя не хотел это говорить.

С неделю Мозаев не брал Гума с собой на аэродром. Выводил его гулять ночью. А ночи стояли звездные, вытканые короткими тенями. И так было хорошо сидеть на пне у опушки, следить за прыжками Гума.

Прошла еще неделя упорных боев с белофиннами. С каждым днем наши войска уходили все дальше вглубь высоких лесов. С каждым днем все чаще улетали самолеты громить засевшего в дотах врага. Жизнь рассматривалась в эту пору в двух планах — бой и отдых. Черный кот стал вновь вместе с Мозаевым появляться на заливе.

И вот как-то обычное направление жизни, заученное умным котом, оказа-

лось нарушенным. Как всегда, они после завтрака пришли на залив. На заливе они расстались. Мозаев поднял Гума, потрепал, потискал сильными руками. На глазах у всех отпустил кота и, не оглядываясь, пошел к самолету. Гум присел у края дороги. Там он пропадал до вечера.

В лесу сгустились черные тени. Все самолеты вернулись с заданий, притихли у стоянок, и лишь на месте мозаевской машины блестели кольца самолетных креплений.

Встревоженный кот беспокойно заглядывал в незнакомые лица:

— Мя-у! Мя-у!

Кто-то ему сказал:

— Грустишь? Ничего, завтра будет дома!

Но кота это не успокоило. Он два раза сбегал в мезонин, вернулся и очумело метался между стоянками. Его пробовали поманить:

— Кис-кис!

Гум быстро повертывал голову и мчался в лес.

Всю ночь из леса раздавалось отчаянное мяуканье Гума.

Наутро, когда машины были снаряжены к новому боевому полету, в небе появился одинокий самолет. Он отлого шел на снижение. Точно почувствовав своего друга, кот опрометью бросился по заливу. Людям это показалось любопытным, и они стали наблюдать за Гумом.

А кот мчался большими прыжками, вздымая за собой легкое облако снежной пыли.

В последний момент приземления самолета он яростно кинулся ему навстречу, и самолетная лыжа прошлась по его пушистому черному телу.

Мозаев подрулил на место. Вылез из кабины. Отстегнул парашютные лямки и первым делом спросил:

— Кота не видели?

— Бегал тут, — ответил кто-то.

Мозаев прошел к лесу. Сложил лодочной рукавицы и несколько раз прокричал:

— Гум! Гум!

Из леса никто не откликнулся.

Но пропажа Гума сильно подействовала на Мозаева. Было похоже, что он потерял в своей жизни что-то очень дорогое. Возвращаясь, он садился к печурке. Прислушивался к каждому шороху и настойчиво ждал черного Гума.

В эту ночь на дворе не было вьюги. Гулял совсем молодой ветерок, подстать округлой и свежей луне. Мозаев, полулежа, дремал в кровати.

Ему показалось, кто-то постучал в дверь. Он не сказал обычного в таких случаях: «Войдите». Он вскочил на ноги и толкнул дверь. На пороге, осветив маленькую комнату зелеными огоньками, лежал Гум, собравший последние силы, чтобы добраться до мезонина.

Он взглянул в последний раз в полные слез глаза склонившегося над ним летчика, и черное обмерзшее тело Гума вдруг вытянулось, удлинилось и стало холодным.

Д. Грибакин

СТАРШИНА СТЕПАН ДЫБИН

РАССКАЗ

Старшина танковой роты Степан Дыбин, маленький светловолосый человек, с вечно смеющимися глазами, любимый бойцами, строгий, но любящий бойцов, неожиданно пропал без вести.

Рано зимним утром, при свете костра, замаскированного шатром из еловых веток, он начисто выбрился; сбегал на походную кухню, умылся теплой водой и сказал приятелю, повару Небогатову:

— Смотри длинный! На звезды смотри! Бой будет отчаянный!

— Звезды как звезды и луна, что моя поварешка, — ответил повар и предложил: — Скушайте, товарищ старшина, мисочку ущицы. — Плеснул в миску ухи, оглядел небо тем же взглядом, каким смотрел в котел на пшеничную кашу, желая узнать, готова ли. Спросил: — И откуда вы взяли, мой милый друг, что бой будет отчаянный?

— Наблюдение. Так уж заметил. Как ясное небо, значит самолеты появятся, картошку повезут сбрасывать. Танкам облегчение, подмога с воздуха. Дорога все ж бомбами расчищается. За танками стрелки. Пулеметчики... А ущица недурна — подлей, пока на морозе не остыла.

Подзакусив ущицей, старшина выпил огромную рыжую кружку сладкого чаю и пожал повару руку:

— Передай лейтенанту Икожину, иду выполнять его приказание.

С тех пор Степана Дыбина не видели.

Через три дня забежал в часть военфельдшер стрелкового полка, сказал, что

Дыбин умер от ран, и попросил прислать за ним машину.

Доктор Нартов, человек добродушный, чрезвычайно любезный и любящий поговорить, был занят игрой в шахматы с начальником штаба Зиминим (часть находилась на отдыхе). Прекратив игру, он вылез из санитарной машины, послал шофера Утина к медицинскому пункту.

Медсанпункт отстоял в трех километрах, к нему вела широкая лесная дорога, свободная от войск. Но вернулся шофер только через четыре часа.

— Вы долго ездили... — ворчливо начал доктор, но его перебил Утин:

— Я не хотел брать этот труп, а они говорят — берите и хороните.

Подошел к санитарной машине майор Бахрушин. Распахнул дверки автобуса и взглянул на носилки.

Утин спросил:

— Товарищ майор, кому разрешите передать документы старшины Степана Дыбина?

Майор взял документы.

— А это будет кто-то другой, — сказал Утин и чуть не заплакал.

— Как другой? — изумился майор.

— Четыре часа не брал, искал нашего старшину, говорят — это Дыбин. В шинели лежали его документы.

Майор с доктором Нартовым влезли в санитарную машину. Приподняв шинель стального цвета с четырьмя треугольни-

жми, увидели младшего комвзвода в танковой гимнастерке, — застывшее лицо с черными усиками, приоткрытый рот.

В санитарной машине лежал другой человек, не старшина Степан Дыбин.

Майор приказал военному врачу Нартову узнать в медицинском пункте, где старшина Дыбин, а начальнику штаба старшему лейтенанту Зимину похоронить неизвестного танкиста.

В хвойном лесу, в кустах можжевельника, там, где толл разрывал мерзлую почву, а снег траурно почернел, — приняла земля бойца.

И последнюю песню ему, павшему в бою неизвестному младшему комвзводу, не жалкая прохныкала кладбищенская птаха — за соснами салютом воинской почести бабахнула батарея, и, словно эхо отвечало, над лесом колыбался гул артиллерийской стрельбы.

Доктор Нартов нового почти ничего не узнал, раненый был привезен в тяжелом состоянии в полковой лазарет с батальонного пункта медпомощи, покрытый шинелью стального цвета, и умер от ран, не приходя в сознание.

Бои продолжались.

Некоторое время поговорили об этом странном случае, решили, что Степан Дыбин где-либо попал под снаряд, и поговорив так, в походной горячке, скоро о нем забыли.

Однажды с полевой почты красноармеец Зорник принес майору Бахрушину письмо, оно было из госпиталя от капитана Сухова, командира танковой части. Он писал:

«Врачи не дают мне много разговаривать, и писать я еще сам не могу, а рассказать вам многое уже теперь хочется, диктую сестре, уж прошу извинить, что опишу не все сразу.

Я получил приказ атаковать противника в районе высоты 64,5. Мои танки шли лесом по снегу: дорога была разбита артиллерией, автомашинами и повозками. Танки, двигаясь вперед, ломали на своем пути небольшие сосны и ели. Идя лесом и обочинной, я опасался, что могу попасть на минное поле. Но все обстояло благополучно. Я подошел к роше «Молоток», в ней не были расчищены завалы. Срубленные ели и высокие пни загромождали мой путь.

Я взмахнул флажком, остановил колонну и выскочил из башни вправо на дорогу.

Механик-водитель Синюгин вылез с топором из люка на броню танка и прыгнул в сторону завала.

Я не успел его предупредить. Он схватил одно из деревьев, преградивших нам путь, и пытался оттянуть его в сторону. Появился клуб дыма, и снежная пыль залепила мне глаза. Завалы были минированы. Силой взрыва механик-водитель Синюгин был отброшен на броню танка.

Я увидел его окровавленного, потерявшего сознание; у него были раздроблены ноги. Я и сейчас помню его лицо с маленькими черными усиками.

Он не один раз ходил со мной в атаку, умело водил машину и никогда не жаловался на усталость. Он был скромным и выносливым бойцом».

...На этом письмо капитана Сухова обрывалось.

Майор Бахрушин вызвал комиссара Добрынина и доктора Нартова. Вскоре и все в части узнали, что неизвестный младший комвзвода с черными усиками, привезенный шофером Утиным с медицинского пункта, оказался механиком-водителем Синюгиным, из части, действовавшей на соседнем участке фронта, на левом фланге.

Доктор Нартов сказал Зимину — начальнику штаба:

— Интересно, при чем здесь старшина Дыбин Степан?

Повар Небогатов также прослышал о письме и подумал: «Может быть, взрывом мины был ранен или убит и Степан Дыбин».

Через несколько дней красноармеец Зорник принес с полевой почты второе письмо от капитана Сухова.

«...первым, кто подбежал к механику-водителю Синюгину, был маленький светловолосый человек, с нашивками старшины.

Он помог мне и моим бойцам отнести раненого в случайно оказавшийся недалеко батальонный пункт медпомощи.

Там старшина спросил меня:

— Кто поведет машину в бой?

— Пересяду в другой танк, кого-нибудь высажу.

— А эта машина?

— Она в бой не пойдет. Ее вести некому.

— Ее есть кому вести, — сказал старшина, — разрешите мне сесть за рычаги!

Он достал документы, среди них было удостоверение на право управления танком.

Мне понравился этот старшина; было приятно смотреть на его скромное лицо и смеющиеся бодрые глаза.

Я видел искренность в его поступке, и это меня подкупало. Каждая боевая единица была важна при выполнении той задачи, которую я имел.

— Вы поведете мою машину, старшина Дыбин, — сказал я, как-то сразу запомнив его фамилию.

Старшина спрятал документы в шинель. В спешке в госпитале я не обратил на это внимания. Он надел летний танковый шлем механика и отдал свой зимний меховой. Распоясался. Снял шинель и накрой ею раненого.

— В танке в шинели будет неловко.

— В ватнике не застынете, — согласился с ним я и поправил шинель.

Раненому наложили временные повязки и готовили к операции.

Пока мы были в батальонном пункте медпомощи, красноармейцы-саперы разминировали завалы, и моя колонна на исходные позиции пришла без опоздания.

Точно в назначенные часы я повел танки в атаку. И здесь Дыбин крикнул:

— Забыл документы в шинели, — и прибавил газу. Он знал, что вернуться назад мы не можем.

— Вернемся, разыщем, — ответил я старшине, но думал уже о другом...».

Майор Бахрушин посмотрел на последнюю страничку, она была неисписана, письмо опять обрывалось.

— Дыбин Степан ушел в атаку, что стало с ним дальше, нам опять неизвестно, — сказал майор и вложил письмо в конверт, на котором стоял штамп полевой почты.

— Старшина правильно поступил... будь я на его месте, я сделал бы то же самое, — решительно заявил начштаба.

— Что и говорить, случай обыкновенный, — заметил доктор Нартов, схватив начштаба за пуговицу шинели, но его перебил комиссар Добрынин, который вызывал политруков. И когда собрались политруки, комиссар приказал письмо капитана Сухова прочитать бойцам и младшим командирам.

Письмо капитана Сухова читалось бойцам утром у боевых машин.

Еще с ночи падал снежок, ветер шумел и слизывал хлопья снега, покрывавшие деревья.

Когда прочитали письмо, шла артиллерийская подготовка. Ухали орудия.

Послышалась команда майора Бахрушина:

— К машинам!

И танки ушли в бой. Атака, в снегопад и сильный попутный ветер, была внезапной для противника. Все танки, выполнив задачу, вернулись целыми из боя.

В армейской газете «За родину» часть майора Бахрушина похвалили.

О Степане Дыбине знала вся часть. О нем говорили много. Он вдруг стал любимцем бойцов и командиров, хотя он и не сделал как будто ничего особенного.

Нового письма от капитана Сухова ждала вся часть. Она жила обычной фронтовой жизнью: ходила в атаку, бойцы ночевали на жалюзях боевых машин; в свободное время просматривали газеты в надежде узнать что-либо о капитане Суховом или Степане Дыбине.

Но в газетах о них не было ни одного слова. Бегали за красноармейцем Зорником. Его всегда можно было узнать издалека с большой кипой газет подмышкой и пачкою писем.

— Товарищ Зорник, нет ли письмеца майору? — спрашивали его.

— Нет, — отвечал Зорник. — Не поступало.

И вдруг почтарь Зорник, возвращаясь с полевой почты, стал радостно отвечать:

— Есть письмецо майору Бахрушину, — и помахивал письмецом перед носом каждого встречного.

Но это были письма от жены, от сына или от приятелей.

Наконец пришло очередное письмо и от капитана Сухова из госпиталя.

Это было после удачной операции, проведенной частью против противника с форсированием реки, поверх льда которой на полметра глубиной наледь стояла вода, хлынувшая через взорванную плотину из водохранилища озера «Н».

Бойцы были у машин, скальвали с танков лед. Промерзли. Майор приказал всем после работы сушиться у костров и отдыхать. Ожидали получения нового боевого приказа.

Прослышав о письме капитана Сухова от красноармейца Зорника, повар Небогатов сбегал к машинам, шепнул:

— Принесли.

И все поняли, что принесли, и, несмотря на усталость и желание заснуть, подходили к закоптелой баньке, в которой поместился майор.

— А вы чего? — спросил майор. — Марш отдыхать!

— Да мы послушать хотим, не устали, — отвечали ему.

Майор махнул рукой и сказал комиссару Добрынину:

— Пускай слушают!

Чтец взгромоздился на ящик из-под снарядов, откашлялся.

Казалось, что и лес приготовился слушать. Артиллерия молчала. И лишь где-то вдали слышалась трескотня пулеметов.

Рядом на рябине, не пугаясь людей, прыгали с ветки на ветку, щебетали и клевали карминовые ягоды красногрудые снегиря.

«... Дыбин оказался прекрасным механиком-водителем, — писал капитан Суховой, — он спокойно вел машину.

Танк не капризничал, без рывков и излишнего рева мотора спокойно бежал он в бой.

В атаку я повел подразделение старшего лейтенанта Кухнюка. Мы преодолели противотанковый ров и остановились у каменных надолб в районе роши «Сапог». Вскоре нам удалось этот «Сапог» отнять от противника.

Почти в упор бронебойными снарядами мы стреляли в гранит, раскалывали громадные камни, разбивали их на части. И нам удалось при помощи наших пушек пробить себе узкий проход в надолбах. В эту узкую щель прошло целое подразделение. Противотанковых пушек противник в этом месте не имел. Снаряды левой артиллерии вреда танкам не принесли.

Но вскоре мои машины попали под огонь противотанковых орудий.

Однако противник был сбит с большими для него потерями; я видел много убитых.

Подразделение Кухнюка подбило две противотанковых пушки. Мимо одной из них я проходил. Заметил на броневом щитке орудия, замаскированного белыми мазками краски, рисунок черепа. Враг старался напугать нас даже этим.

Стрелковая часть, действия которой мы поддерживали, давно работала с нами. Привыкла к нам, понимала нас и в нужную минуту оказывала ответную помощь.

Мы далеко от пехоты не отрывались и уютжили траншеи противника.

Но все же в этом бою мне не посчастливилось. И старшина Дыбин здесь был

ни при чем. Он до конца был хорошим механиком-водителем.

Наш танк был подбит 76-миллиметровым снарядом. Он ударился в землю у правого борта машины и разорвал гусеницу.

Мы взялись за люки, хотели выбраться из танка, чтобы поставить запасные траки. Из-за кустов подполз солдат и бросил на жалюзи горящую бутылку. Бутылка упала на металл, разбилась. Танк загорелся. Дым медленно стал просачиваться в боевое отделение.

Я увидел впереди в траншее пулеметное гнездо противника; когда проходили мимо танки, пулеметчики попрятались на дно окопа, затем повыползали из нор и начали вести огонь, чтобы отсечь от танков пехоту и обеспечить действия бутылочников — поджигателей танков.

Пехота оторвалась и залегла в снег.

Но мой танк был еще жив.

Я открыл огонь по пулеметному гнезду.

Снаряд лег точно в траншею. Облачко дыма пошло на меня. Пожар был над торным отделением, позади башни.

Мелькнула мысль: «Сгорим не сразу».

Я успел сбить из пулемета бутылочника, подбиравшегося, со своим примитивным, но зловредным средством, к танку с квадратом на броне, к машине командира подразделения Кухнюка.

Дым все сильнее просачивался в боевое отделение; стало тяжелее дышать, и я подумывал, как бы нам выбраться из танка.

Я приказал Дыбину открыть нижний люк и выползть под машину. Я дал ему в руки запасной пулемет, а башенный стрелок сбросил в люк несколько магазинов, набитых патронами.

Вращая башню, я посмотрел назад, от нагрева металла ее уже начало заедать.

Огонь поднимался. Горел бензин в карбюраторе и трубопроводах.

«Сейчас полетят бензобаки на воздух...» — подумал я и заметил еще одно пулеметное гнездо. Оно было замаскировано снегом и ветками.

Я услышал под танком огонь пулемета. Стрелял Степан Дыбин.

Больше я ничего не помнил. Я потерял сознание от газов и удушливого дыма, который как-то внезапно наполнил башню танка. Вероятно башенный стрелок подтащил меня к нижнему люку.

Меня, посиневшего, вытащил через люк старшина Степан Дыбин.

Волоком оттянул в огромную воронку авиабомбы.

От морозного воздуха я очнулся, увидел серое, затянутое облаками небо. Мне казалось, что оно колышется надо мной.

Я увидел Степана Дыбина. Он, укрываясь за бугорком, лежал на краю воронки и вел из пулемета огонь.

Я был слаб, я пополз к Дыбину, он был совсем близко, я почти касался его ног. Дыбин оглянулся. Что-то блеснуло, и я опять потерял сознание.

Мы оба были сбиты взрывом мины, залетевшей в нашу воронку.

И вот я лежу в госпитале, на мягкой кровати, укутанный в марлевые бинты и в теплые одеяла.

Нас обоих подобрали танкисты, вернувшиеся к отсеченной пехоте, и на танках вывезли из боя.

Где Дыбин Степан, мне неизвестно...»

— Да что же это такое, — воскликнул повар Небогатов, — неужели мой друг Степан Дыбин погиб!

— А главное, — сказал доктор Нартов рыжеватому начштаба, — неизвестно, какое ранение получил наш старшина.

Начальник штаба Зимин его не слушал и смотрел вверх.

Высоко в небе в сизо-голубой морозной дымке плыли скоростные бомбардировщики. Они сбросили свой груз на передний край обороны противника, и послышалось раскатистое:

Ра... Ррр-а... Ра-ра... ррра.

Ждали следующего письма от капитана Сухового.

А он больше писем не присылал.

Как-то раз танки находились в бою.

Повар Небогатов, напевая одному ему

известную мелодию, смахивающую скорее на прерывистый свист пара из кипящего котла с кислыми щами, варил вкусный обед.

Подбросил дровец в топку, расколол запас несколько чурок и увидел красноармейца Зорника, как всегда с большой кипой газет и пачкою писем.

— Дайте водицы испить, товарищ старший повар, — попросил Зорник и протянул газету: — Прочитайте на свободе!

Нацедил Небогатов в кружку воды.

Зорник выпил ее и полегоньку побрел от кухни.

Повар опустился на березовую чурку дров, посмотрел на первую страничку газеты «Красная Звезда», вверх, в правый угол, и закричал на весь лес:

— Зорник! Вернись, Зорник!

Зорник прибежал — чуть газет не уронил, а повар Небогатов в правый верхний угол первой странички газеты «Красная Звезда» пальцем тычет, газету почтарию протягивает.

— Смотри! Лицо чуть-чуть другое, фотограф не сумел замаскировать шраминку на губе.

— Да это же Дыбин Степан! — посмотрев на газету, воскликнул Зорник. — И какой я почтарь — не первый новость узнал!

— Жив мой приятель Степан Дыбин! — радовался повар Небогатов.

Вскоре на имя майора Бахрушина было получено письмо из госпиталя, очень короткое.

«Не считайте меня в самовольной отлучке. Степан Дыбин».

А капитан Суховой также прислал известие:

«Портрет Дыбина видел в газете».

«ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» ИНТЕНДАНТА КУЗНЕЦОВА

1

Враг налетел внезапно — на бредущем — и ударил сверху из всех пулеметов.

— Рассеяться! Ложиться! Зарыться!

Команда выполняется с молниеносной быстротой. Через минуту отряд лыжников разбросался отдельными белыми точками по обширному снежному полю. Одни зарылись в глубокий и рыхлый снег. Другие успели добежать до близких торосов и белыми халатами своими слились с ледяными складками.

Комиссар Богданов и техник-интендант Кузнецов лежат рядом. Кузнецов всегда возле Богданова. Как будто он взял на себя охранять комиссара в бою и быть готовым оказать помощь, когда понадобится.

— Жив? — тревожно спрашивает Богданов.

— Еще поживем, товарищ комиссар! — весело отзывается Кузнецов.

Низко кружат белофинские самолеты над заливом. Улетают и вновь возвращаются гудящие шмели. В предвечернюю тишину врывается стрекочущая пулеметная дробь. С жалобным звоном разбитого хрустала разлетаются во все стороны ледяные осколки.

— Ишь куражатся! — вслух размышляет Кузнецов. — Погодите радоваться, сейчас наши налетят! Жарко станет!

Похоже на то, что «фокеры» сами это чувствуют. Очень уж они заметались, все торопливее, все бестолковее расстреливают свои пулеметные ленты.

— Кузнецов, слышишь? — прерывает его размышления комиссар.

Оба прислушались. Сомнения не могло быть — стон раненого. Богданов и Кузнецов вскочили, подбежали к раненому, лежавшему недалеко. Только потом, когда раненый боец был отнесен в тыл, Кузнецов подумал про Богданова и про себя: «Все-таки вскакивать не надо было, могли нас заметить. Ползти надо было... ползти, как доктор приполз!»

А доктор приполз с такой быстротой, как будто всю жизнь только таким образом и передвигался.

Недаром в лыжном отряде так любили и ценили своего врача, своего «лейб-хирурга», своего «профессора» Федосова. Отроду было ему всего-навсего девятнадцать лет, и был он пока не профессором и даже не доктором медицины, а всего-навсего военфельдшером. Но поищите среди знаменитейших в мире хирургов такого, который мог бы так быстро и спокойно работать под градом пуль, который так бегал бы на лыжах и так ползал по льду и снегу! В обстановке лыжного похода военфельдшер Федосов был самым нужным из всех профессоров и светил медицины.

Федосов справился быстро. Ловко работая руками, несмотря на тридцатиградусный мороз, сделал перевязку, отправил раненого бойца в тыл и деловито поспешил ползком обратно. На других участках боя, следуя примеру Федосова, бойцы-санитары Мустафин и Крылов также пере-

вязывали раненых под огнем, перетаскивали на пункты сбора.

Кузнецов молча притронулся рукой к плечу комиссара и указал в пространство. Высоко шли с юго-запада, прямым курсом, несколько серебристых машин.

— Наши! — вполголоса сказал Кузнецов.

— Фокеришки, фокеришки-то улепетывают!

Радостно на душе. Можно вставать, двигаться дальше.

2

В минуты отдыха, лежа на снегу, Кузнецов вспоминает, как это все произошло.

Давно это было. Впрочем, по мирному счету, пожалуй, не так уж давно, что-то около двух недель назад. Смешно даже представить себе, что он, Николай Михайлович Кузнецов, сидел за канцелярским столом и занимался «делопроизводством».

Это была, впрочем, не захудалая мирная канцелярия. Это тоже был участок войны, и весьма важный.

Кронштадт. Конец января. Петровских времен казармы, раскидистые, сурово-деловитые. Кипучая суетолака ОВСа (Обозно-вещевое снабжение). Техник-интендант Н. М. Левин-Кузнецов заведует делопроизводством ОВСа. Работы много. Кузнецов работает хорошо. Он понимает, что дело нужное, государственное, народное. Но у него своя заветная цель, свое место на войне. Он ждет только случая занять его. Ждет с нетерпением.

И случай приходит. Начинается формирование лыжного отряда моряков-добровольцев. И какая удача! Командиром отряда назначен Лосяков, наш Лосяков, прямой начальник Кузнецова.

Интендант Кузнецов стоит перед начальством:

— Товарищ капитан, не могу больше!

— Чего это? — спрашивает капитан.

— Здесь оставаться не могу. Что ж это выходит? Все товарищи там, и думы мои там, а я здесь... Разрешите зачислиться в отряд.

— Со стула на лыжи?

— Так я же на лыжах здорово хожу! — слегка прихвастнул Николай Михайлович. — Я же больше всего люблю лыжи!

У командира были возражения: в ОВСе

тоже люди нужны, Кузнецов хорошо знает работу ОВСа.

Но техник-интендант не отставал:

— Я же там больше пользы принесу! Ну, просто не могу больше сидеть за столом! Ну, просто я вас очень прошу, товарищ капитан!

Капитан, наконец, уступил. Техник-интендант Николай Михайлович Кузнецов был зачислен в отряд лыжников начальником тыла. На него легла забота о вещевом, боевом и продовольственном снабжении всего отряда.

Работа была большая, напряженная. Но вот все организационные преграды преодолены. Все трудности позади, отряд выступил своим ходом, на лыжах, и 29 января 1940 года прибыл на территорию противника в форт Ино.

Цель достигнута. Впереди стычки с врагом. Подвиги.

Так думал интендант Кузнецов. Но его ждала опять «мирная» работа!

30 января прибыли в финскую деревушку Руси и здесь обосновались. Рытье землянок, оборудование их, размещение и устройство людей — все это легло на Кузнецова. Николай Михайлович ревностно работал: это уже не «делопроизводство». Но соблазн был велик. Опять началось прежнее кронштадтское томление. Тянуло вперед, в самый бой. Опять заговорил «личный интерес».

Лыжникам поручена увлекательная, опасная, разведывательная работа. Нет, Кузнецов такого случая не упустит!

И вот каждый день, точно аккуратный службист, являлся он к своему командиру и заводил один и тот же разговор:

— Назначьте, товарищ капитан, куда-нибудь!

— А начальник тыла — это что? Мало?

— Не мало, ничего не говорю. Но все-таки — тыл.

— Так тыл-то ведь на фронте?

— А мне бы, товарищ капитан, еще «фронте»! Ну, просто не могу, когда другие в разведку идут, сидеть в землянке!

Не хотелось командиру лишаться превосходного организатора в тылу отряда. Отнимать же у пылкого интенданта надежду тоже не хотелось. И капитан Лосяков со дня на день оттягивал решение вопроса. Но настойчивость интенданта и на этот раз победила.

Волнуясь и торжествуя, вступил Кузнецов на лед в памятную ночь 12 февраля. Вместе с лыжным отрядом он выступил на Муурилу.

Ни мрак ночи, ни тяжелые частые торосы не помешали опытному лыжнику командиру Жукову привести свою группу еще до рассвета в точно указанный час на точно указанный квадрат позиции обороны. Группа расположилась здесь для охраны тыла и флангов батальона морской пехоты, наступавшего на Муурилу.

И вот он здесь, на ледяной равнине моря, на самом фронте. Даже много впереди фронта. В течение первого перехода Кузнецов видел врага лишь в поднебесье. Но теперь он уже уверен, что встретится с ним лицом к лицу и возьмет его за горло. Как только группа останавливалась, Кузнецов начинал оглядываться по сторонам, не видать ли противника? Но вокруг — только свои, верные товарищи-балтийцы, славные крошадтцы.

Утром 13 февраля походная рация предложила лыжному охранению вернуться на командный пункт в Лаутеранту. Там Кузнецов и утомленные бойцы немного отдохнули, поели горячего и, соединившись с первой ротой лыжного отряда, под командой старшины Армизонова, вновь двинулись к той же Мууриле.

Заняв позиции, командиры взводов начали подтягиваться к муурильскому берегу, откуда встревоженный враг уже вел беспрепятственный огонь.

Обстрелянный еще накануне Кузнецов считал себя уже закаленным фронтовиком. Поэтому его несколько не удивило, когда командир Лосяков выбрал именно его для ответственного поручения: наблюдать за действиями нашей артиллерии, расположенной на мысе Тамико, за разрывами ее снарядов и помогать начштаба Чепрасову через походную радио корректировать артиллерийскую стрельбу.

Неприятельский пулеметно-ружейный огонь разрастался. Для того чтобы тщательно следить, как ложатся и рвутся наши «гостинцы» с Тамико, и докладывать об этом Чепрасову, Кузнецову приходилось ежеминутно высовывать голову из-за торосистой укрытия.

С берега охотилась за ним «снайперская» смерть. Но он не думал об этом и не замечал этого.

Зато он заметил нечто другое, более

тревожное: неприятельские снаряды стали приближаться к командному пункту лыжного отряда. Здесь находились командиры Лосяков, Чепрасов, комиссар Богданов и капитан Панфилов.

«Надо уходить. И немедленно», — подумал наблюдатель. Внимательно осмотрев местность, подобрался он к командиру и изложил свои соображения.

— Да, надо отходить, — согласился капитан Лосяков. — Но куда?

Кузнецов указал на огромный торос, похожий на крепостную стену. Защита прекрасная, спору нет. Но торос расположен метрах в трехстах впереди. Как осуществить переход, если впереди открытая снежная равнина и враг бьет по ней непрерывным пулеметным огнем?

— Больше некуда! Другого выхода нет! — настойчиво доказывает Кузнецов.

На том и порешили. Вылезли из-за торосов и поползли. Впереди капитан, за ним начштаба и другие. Замыкал шествие Кузнецов.

Медленно двигались лыжники. А самому Кузнецову казалось, что они не передвигаются вовсе. И в это время никто не ведет наблюдения! Артиллерия лишена глаз.

Кузнецов не выдержал. Заспешил. Гибким белым ужонком вился он по снегу. Вот он уже обогнал ползущих впереди, вот поровнялся с командиром и взволнованно зашептал ему:

— Разрешите, товарищ командир, я пойду вперед?

Доводы были веские: Кузнецов стремился поскорее достичь нового наблюдательного пункта, чтобы снова наладить наблюдение и сделать артиллерийский огонь с Тамико более действенным.

Капитан Лосяков разрешил. Недолго думая, Кузнецов вскочил на ноги, пробежал метров пятнадцать и снова упал на живот. Так, чередуя ползанье с короткими перебежками, он первым добрался до торосистой стены и сразу возобновил наблюдение.

Вечерело. В морозе дымчато-лиловые спускались сумерки. Уже весь отряд подтянулся и залег за ледяной стеной. Пора было броситься в атаку.

Но как с условным сигналом?

Ибо договорились: после сигнала тремя ракетами — одновременный дружный рывок

на берег. Но была опасность в густых сумерках осветить ракетой собственный командный пункт и подвергнуть его еще более ожесточенному обстрелу финнов.

Перед командиром вырос опять тот же беспокойный интендант. Он вызвался пустить ракету. Он отползет для этого метров на триста влево.

— Это дело! — одобрил командир.

И вот через несколько минут на значительном расстоянии от командного пункта три молнии прорезали потемневшее небо.

Лыжники ринулись к берегу.

А Кузнецов, выполнив свою задачу, прибежал на командный пункт возбужденный, пылающий. Чуть не плача просил:

— Товарищ капитан! Просто не могу! Разрешите идти вместе с отрядом?

— Ложись с нами! — сурово отрезал командир.

— Есть ложиться с вами, — дрожащим голосом, но четко повторил Кузнецов и покорно улегся рядом.

Вот не везет! Такая атака! Ведь это то, о чем он мечтал! Не понимает капитан!

Но обида растаяла мгновенно. Взволнованно следил он за неудержимым бегом балтийцев. Навстречу им неся ружейно-пулеметный огонь, сбоку ложились артиллерийские снаряды с далекого острова Бьерке-Койвисто. В вечернем воздухе вспыхивали и долго висели осветительные ракеты, бросая вниз, на снежную пустыню, холодный, безжизненный свет. Не отрываясь от бинокля, восхищенным и завистливым взглядом следил Кузнецов за атакующими товарищами.

Почему же они вдруг замедлили бег? Вот они остановились вовсе и залегли метрах в четырехстах от берега. Не случилось ли чего?

— Товарищ командир, позвольте сбегать туда? Только посмотреть обстановку и доложить.

Он весь дрожал, ожидая ответа.

— Иди, раз хочешь! — коротко согласился Лосяков.

— Только посмотрю — и сейчас обратно, — уже на ходу бросил Кузнецов и словно провалился за крутым ледяным бруствером.

Когда через минуту начштаба Чепрасов выглянул из-за торося, то увидел лишь неясный силуэт Кузнецова, который, то пригибаясь, то выпрямляясь, то ползком, двигался по глубокому снегу,

В отряде Кузнецов сразу узнал причину остановки. Передышка была необходима. Были убитые, были раненые. Презирая опасность, носился под огнем «лыжный профессор» Федосов, попевая повсюду. Были удивительны, казались невероятными неумолимость и мужество этого самоотверженного юноши-фельдшера. Откуда брались силы у этого на вид тщедушного парня? Обнаружив раненого, он, не ожидая помощи, взваливал его себе на спину и тогда, когда тот превосходил его самого ростом и весом, и тащил в безопасный тыл. Легко раненым он делал перевязки на месте. Здесь, как и во многих других тяжелых боях, рождалась заслуженная слава и росла любовь моряков-лыжников к своему боевому, бесстрашному товарищу-врачу. С восхищением глядя на самоотверженную работу Федосова, думал интендант Кузнецов: «А я вот... Что я успел? Какая от меня польза?»

Николай Михайлович вернулся и доложил о создавшемся впереди положении.

Капитан Лосяков быстро принял решение:

— Надо идти туда. Сосредоточить наш отряд за торосям вблизи берега и оттуда совместными силами нанести последний удар.

Вышли из-за торосястога прикрития.

Бодро и радостно торопился впереди всех Кузнецов. Наконец-то, он удостоился! Наконец-то, он идет в дело, в атаку! Бешеный, непрекращающийся огонь противника только возбуждал его. Он даже не гнулся к земле, шел вперед с какой-то твердой уверенностью, что пуля не посмеет остановить его: ведь он еще не сделал своего дела!

5

Может быть, потому, что Кузнецов шел, подняв голову, именно он первый заметил каких-то людей, неожиданно показавшихся слева.

Доложил командиру.

— Что за люди? Откуда?

Пригляделись в бинокль. Неизвестная часть в составе, примерно, взвода держала направление к берегу. Однако по одному этому признаку нельзя было с уверенностью определить, чьи люди. Всяко на войне бывает!

На этот раз Кузнецову не пришлось

упрашивать командира. Капитан Лосяков сам позвал его:

— Надо выяснить, что за люди.

— Есть, товарищ командир.

Гордый первым опасным поручением, не выпрошенным, а, так сказать, заслуженным, — командир убедился, что ему можно доверить такое дело, — Кузнецов ловко перемахнул за торос и бросился выполнять приказание. От непрерывного движения и радостного боевого возбуждения он не чувствовал крепкого мороза. Было даже жарко.

«Неизвестные» оказались передовым взводом наступавшего батальона соседней дивизии. Взвод оторвался от своей дивизии и потерял ориентацию. Среди людей чувствовались усталость и легкая растерянность.

Кузнецов ободрил бойцов. Это было не трудно. Достаточно было сказать им, что они не одни на этом поле, что рядом с ними балтийцы, что скоро начнется атака, в которой и они могут сыграть роль, — и люди опять превратились в боеспособный, крепко собранный взвод.

«Как лучше использовать это неожиданное подкрепление?» Эту задачу Кузнецов решил быстро. Он дал взводу задание: подойти к самым проволочным заграждениям и ждать его сигнала — трех гранатных взрывов. Когда лыжники капитана Лосякова также подойдут к проволочным заграждениям и бросятся в атаку, неожиданное выступление «неизвестного» отряда откуда-то слева может сыграть немалую роль. В ряды наступающих это внесет новый прилив бодрости, в ряды неприятеля — растерянность.

Он предложил находившемуся при взводе младшему командиру принять на себя командование, еще раз разъяснил маленькому отряду его задачу и пустился в обратный путь под тем же огненным дождем.

Кузнецов был доволен жизнью и доволен собой. Даже слегка гордился своими действиями и своим планом. Ведь это был его собственный, его самостоятельный план боевой операции!

Когда раскрасневшийся, радостно возбужденный докладывал он командиру о своих действиях и о своем плане, на лице капитана Лосякова заиграла улыбка:

— Прямо военспец! Не техник-интендант, а стратег! Действия ваши, интендант Кузнецов, в общем одобряю.

Командир поднялся, для того чтобы отдать последние перед выступлением распоряжения. Заметив, что Кузнецов чего-то ждет, добавил:

— Останетесь на командном пункте!

На этот раз Кузнецов несколько не огорчился. Со стороны по довольной, чуть-чуть лукавой улыбке на его лице казалось, что он ничего не имеет против такого решения. Хватит, мол, на сегодня! Слышком много переживаний и впечатлений за один день! Он не прочь воздержаться от новых.

Он только заметил как бы вскользь:

— Вот с батальонцами-то как быть, товарищ командир? Кто их найдет у проволочного заграждения и поведет? И опять же, они только меня одного и знают, — сказал и скромно умолк: «Дальше как вам, мол, будет угодно».

— Да-а! — задумчиво протянул капитан Лосяков. — Что ж, завязал узел — так и развязывай! Придется вам туда и направиться.

— Есть, товарищ командир! — откровенно весело крикнул он. — Я не против!

6

Наступила яркая, морозная ночь. Небо сверкало золотой россыпью звезд. Тверже стал наст, слегка похрустывая под мягким нажимом соген ног. Впереди трещали пулеметы, часто шелкали одиночные выстрелы «кукушек». Где-то ухали орудия, и небо озарялось далекими, похожими на зарницы вспышками.

Совсем близко на белоснежном фоне залива четко выступила путанная сетка проволочных заграждений. Левее, приближаясь к той же цели, бледно-туманными видениями двигались люди «неизвестного» взвода. Впереди выступал Николай Михайлович Кузнецов. Он был доволен. Все шло гладко. Приказ его выполнен точно.

Вдруг огневая струя трассирующих пуль, напоминающая звездный поток, прорезала мрак. За ней другая, третья... Стальной ливень!

С близкого берега обнаружили «неизвестный взвод» и били по нем. Неожиданность удара привела младшего командира в замешательство. Заметив его растерянность и нерешительность, Кузнецов взял командование на себя. Итти вперед под непрекращавшимся огнем было бессмысленно. Кузнецов приказал залечь в снег.

Напрямок за проволокой белел огромный снежный намет, похожий на вал, за которым круто высился подъем на берег. На небольшом открытом пространстве берега подле самой опушки леса виднелись два весьма невинных на вид холмика. Но Кузнецов сразу угадал их предательскую сущность. Это были земляные огневые точки, так называемые зот'ы, родня дот'ов.

Это они извергали убийственный огонь по взводу.

Где-то поблизости шла суетливая, тревожная жизнь. Мелькали неясные тени врагов. Поминутно взвивались сигнальные и осветительные ракеты. Их было так много и были они так разноцветны и многообразны, что их можно было принять за мирный праздничный фейерверк.

Яркие вспышки неприятельских ракет освещали бойцов у проволоки. Но заодно они выдавали и самих «пиротехников». Кузнецов воспользовался удобным моментом и пальнул в одного из ракетчиков. Стрельнул и инстинктивно отскочил в сторону. Секунда промедления — и он был бы изрешечен ответными снайперскими пулями, изрывшими его недавнее снежное ложе. Потревоженные осиные гнезда зот'ов обрушили свою ярость на то же злополучное место.

Удачный опыт поощрил Кузнецова. Острым зрением он уловил приготовления к пуску новой ракеты. Прицелился и ждал. При вспышке нажал гашетку. Выстрел почти слился с криком на берегу. Там качнулось и тяжело осело белое видение. Опять Кузнецов сразу же после выстрела отскочил в сторону. И еще раза два зот'ы и снайперы начали рвать на куски уже покиннутую им снежную лежанку.

Свою охоту за «пиротехниками» Кузнецов вел на некотором расстоянии от расположения бойцов своего взвода, чтобы не навести ответный огонь белофиннов на своих.

Сама по себе эта маленькая «единоличная» операция дала неплохие результаты. Но общего положения она не могла изменить. А положение стало незавидным. «Неизвестный» взвод застрял. Зот'ы отрезали путь к берегу.

Пришлось интенданту Кузнецову снова, рискуя быть настигнутым меткой снайперской пулей, пробираться бегом и ползком к командному пункту с докладом.

— Раз нельзя вперед, отведите людей назад и перебросьте сюда на правый фланг! — приказал Лосяков.

7

Только добрался взвод до правого фланга, внезапно ожила снежная равнина, наполнилась многообразными шумами топота ног, шипения ракет, гудения проволоки, выстрелов, человеческих криков.

Понеслись к берегу лыжники-балтийцы: бегом, вперебежку, низко пригнувшись, смотря по ситуации. Огонь — с берега. Огонь — на берег. Трясется на кольях, как в лихорадке страха, железная паутина проволочных заграждений.

«Вот оно, настоящее! — пронеслась мысль. — Пора!»

Кузнецов быстро достал из-за голенищ валенок три гранаты и швырнул их высоко в воздух, одну за другой.

Больше чувством, чем зрением и слухом, ощутил он бурный рывок к берегу своего взвода. Молодцы-«батальонцы»!

Подача условного сигнала потребовала минутной остановки. Кузнецов оказался позади.

«Что же это со мной? Как же это я?» Он рванулся вперед, понесся. Догнал. Обогнал. И вот он впереди.

Кузнецов с тремя моряками первыми оказались у проволочного заграждения.

За проволокой из снежных нор раздаются хриплые, гортанные возгласы:

— Русс, давайса!

— Руки в гору!

Неуверенно звучали плохо выученные русские слова. Кажется, крикуны сами чувствуют их бессмысленность, их смехотворную нелепость. Трое лыжников несколькими меткими гранатами послали до предельности ясный ответ. Предложения о сдаче больше не повторялись.

Левее возник сильный снайперский обстрел. Неприятельские снайперы засели позади проволочного заграждения в рядных воронках. В самих заграждениях имелись глубокие снежные лазы, по которым снайперы свободно общались со своими огневыми точками на берегу. Чтобы проникнуть туда и самим воспользоваться проходами, нужно было выкурить врага.

Кузнецов с короткой дистанции, целясь в воронки, швырнул туда две гранаты. Трое моряков, бывшие неотлучно с ним, сделали то же самое. Снайперы замолкли.

Путь к проволоке свободен. Кузнецов и его товарищи рванулись туда. И вдруг...

— Стой!

Этот крик, покрывший шум стрельбы, испустил лейтенант Чепрасов и через момент, сообразив и оценив опасность, повторил еще громче:

— Стой! Заграждения под током!

Среди ровных рядов безобидной колючки выделялся один, кольцевой спиралью немного приподнятый над землей. Это была страшная западня, мгновенная электрическая смерть для того, кто прикоснется к ней.

Перед самой проволокой остановились балтийцы, соображая, каким ударом лучше и скорее сразить электрическую змею.

И вдруг радист Андреев передает Лосякову приказ комбрига:

— Выходить из боя! Возвращаться в Лаутеранту!

Нехотя, глухо ворча, отходят лыжники вглубь залива. С ненавистью шлют на берег последние выстрелы.

У Кузнецова оставалась последняя граната. Он вспомнил об этом.

«Не таскать же домой!» Пощупал валежник и вытащил из-за голенища гранату. Подержал в раздумье и яростно швырнул в сторону врага. Граната без вреда гулко разорвалась невдалеке, на гладком снегу. Кузнецов сразу успокоился. Казалось, граната унесла с собой нервное возбуждение, злое, досадное чувство.

Лыжники отошли на порядочное расстояние. Показался «лес» из натыканных в снегу снежных полозьев. Лосяков скомандовал:

— Встать на лыжи!

Кузнецов молча шагал подле командира. Наконец не выдержал:

— Обидно как-то, товарищ командир!

— Кто тебя обидел? — с удивлением обернулся Лосяков.

— Как же не обидно?! В атаку шли. людей потеряли, ребята на самый берег выходили... Еще чуть-чуть — и в Мууриле... И вдруг отходим!

Командир замедлил ход, дав Кузнецову приблизиться. Поровнявшись, сказал:

— Обижаясь зря! Надо понимать обстановку. А комбриг понимает. Муурила от нас не уйдет. Не сегодня — так завтра. Вот почему из-за нее не следует рисковать лишними людьми. Атака наша ложная. Понятно? Мы диверсией на себя до чорта фиников притянули. А севернее комдив Лазаренко с Красной Армией ударил по дотам. Я слышал, прорвались там наши. Может, по-твоему это тоже зря? — Лосяков хитровато посмотрел на интенданта.

Тот внезапно остановился и радостно вскрикнул:

— Прорвались?

— Точно!

— Я б за это... не знаю что! — Взволнованный Николай Михайлович растерянно оглядывался по сторонам, словно подыскивал нужные, но убежавшие слова.

— А ты говоришь — зря! — с ласковой укоризной покачал головой командир.

Возвращаясь с отрядом домой, техник-интендант Кузнецов с гордостью думал о первом своем боевом походе, ощущал полное удовлетворение. Он сумел-таки отстаивать свой «личный интерес», сочетав его с общим.

Вадим Шефнер

ОНА ГАДАЕТ

Бурлит ручей,
 несет песок и глину,
Смеется и бормочет,
 как живой.

А я в него цветок лиловый кину,
Лиловый колокольчик полевой.

Чтоб жизнь моя всегда была легка мне,
Неси его, ручей, среди полей,
Не нанеси, ручей, его на камни,
Волною озорною не залей!

.....

Бурлит ручей,
 несет песок и глину,
Летят стрекозы,
 крыльями звеня.
Я алый мак в ручей веселый кину, —
Плыви за мною,
 догони меня!

ВЗМОРЬЕ

Водой отражена, к прибрежным ивам
Протянута заката полоса,
И легких яхт белеют над заливом
Латинские косые паруса.

Пускай ты веришь книгам и друзьям
И женщине,

 но здесь в часы заката
По дальним, неизведанным краям
Твоя душа томлением объята.

Так слушай шум береговой осоки,
На паруса далекие гляди,
Тверди на память Лермонтова строки
И верь в себя —

 все счастье впереди.

Пусть ночь придет,
 пусть небо станет серо!
Но не навстречу ль утренней звезде
Плывет заката пышная галера
По нефтью отливающей воде?

ЖАРА

Не поздней ночью и не утром ранним, —
Мы в полдень трактором ехали, когда,
Как бы обремененные познаьем,
От зноя провисают провода.

(О этот зной томительный, когда
Нам чудятся ручьи и горы льда!
О полдень ослепительный, когда
Вскипает в радиаторах вода!)

И, изменяя солнечным высотам,
Усталый от своих небесных дел,
Спикировал

 и бреющим полетом
Степной орел над нами пролетел.

Пусть от земного запаха полыни
Он опьянел,
 его замучил зной,

Но тень его, как бритва по щетине,
За нами шла по зелени степной.

А мы остались там, где льется,
Усталости не зная никогда,
Струя артезианского колодца,
Холодная подземная вода.

Усталые от солнца и от пыли,
Томимы жаждой с самого утра,
Мы эту воду пригоршнями пили
И в радиатор лили из ведра.

А там, где воздух знойными волнами
Струился, как расплавленный металл, —
Там жаждущий

 орел следил за нами,
Чертил круги
 и очереди ждал.

ПУТЬ В ПЕТРОГРАД

I

Мне было десять лет, а сестре восемь, и вот однажды мы проснулись и вдруг увидели нашего папу: он стоял посередине кельи, спиной к нашей кровати, его красноармейская шинель была нараспашку, в правой руке — мешок, а левой он обнял маму и, быстро похлопывая ее по плечу, говорил:

— Ну ничего, ничего...

— Муська, — закричала я, — война кончилась! Папа приехал!

Тут папа обернулся, шагнул к нашей кровати, и мы оцепенели от страха: голова у него была бритая, лицо худое, темное и без усов, а мы знали, что он в косоворотке, с усиками и волнистыми волосами, — мы целых семь лет знали его по студенческому портрету и почти забыли, какой он — живой.

— Вы наш папа? — вежливо спросила Муська.

— Ну да, — ответил он и, в шинели, сел на край кровати; от него пахло незнакомо — сукном, махоркой, дымом, — пахло папой. Он не знал еще, что с нами делать, и осторожно потрогал левой рукой сперва мою макушку, потом Муськину, а в правой руке все держал и держал свой мешок: ведь он ехал издалека, с войны, и, наверное, все время так держал мешок, чтобы не украли. Мама наконец взяла мешок у него из рук и сказала:

— Поцелуй же ребят.

Но папа не поцеловал нас.

— Вынь им сахару, — сказал он, пристально глядя на Муську. Мы — впервые за последние три года — ели сахар, свирепо хрустя и захлебываясь, и все смотрели на нашего папу и привыкали к нему.

— Папа, — спросила я, — голодное время тоже кончилось? Да, папа?

Мне хотелось говорить слово «папа» все время.

— Кончилось, — ответил он.

— И мы поедем в Петроград, папа?

— Ну конечно. Я же за вами приехал...

— Скоро, папа?

— Через три дня.

Мы завизжали и захлопали в ладоши, — они были липкие от сахара и склеивались. Папа в первый раз улыбнулся, он немножко привык к нам.

— А пароходы не ходят! — воскликнула Муська. Она была упрямой, она была скептиком и не верила всему этому счастью. — Как же мы?

— А мы прямо на лодке поедем. На большущей такой — знаете? До станции Волга.

Мы задохнулись от восторга.

— А Тузик? — опять воскликнула Муська. — А как же наш Тузик?

— А Тузик останется в Угличе, — ответила мама.

Мы переглянулись и смолчали: теперь, когда кончилась война и голодное время и мы едем в Петроград, немислимо было поверить в такое горе, как разлука с Тузиком.

II

Она прибежала к нам ранним зимним утром, таким, когда все розовое и как бы сахарное, и стояла перед нашим крыльцом, дрожа как нищенка. Она была рыженькой, остроухой, с пушистым лисьим хвостом.

стом, с белой грудкой, с милыми человеческими глазами. Она была ужасно рыжей на сахарном снегу, в розовом свете утра.

— Тузик! — воскликнула я, увидев собаку. — Муська, это Тузик!

— Правда, Тузик, — обрадовалась се-стра.

— Тузик, Тузик! — позвала я.

Собака завилала пушистым хвостом-метелкой, потом тоненько поскулила и взглянула мне в глаза — доверчиво, прямо, с дикой мольбой.

— Муська, она есть просит!.. Она к нам пришла поесть попросить!..

О том, что собака хочет есть, я догадалась потому, что мы сами постоянно хотели есть и ничем, никак не могли насытиться, — так мало еды было тогда в стране. Я вытащила из сумки кофейную лепешку и, отломив половину, бросила Тузику. Он съел эту совсем не собачью еду с такой свирепой жадностью, что я тотчас же отдала ему и вторую половинку.

— Мы съедем в школе твою лепешку, — сказала я Муське, и она согласилась.

А Тузик прижился у нас, привязался к нам, и мы привязались к нему.

Эту снежную, длинную зиму двадцатого — двадцать первого года мы коротали вместе — голодные, зябнувшие дети и голодный, нищий зверь. Мы с сестрой потихоньку от мамы крали у самих себя куски драгоценной еды и подкармливали Тузика. Мы с ревом и воплями добились разрешения держать его не в сарайчике на дворе, а брать в келью, — горсовет недавно вселил нас в Девичий монастырь. Ух, какие это были медленные, ледяные вечера с вонючей, слепой коптилкой, с грозным ревом близких монастырских колоколов, с горячею тоской о Петрограде! Мама говорила, что увезла нас из Петрограда для того, чтобы мы там не умерли с голоду; но мы помнили, что три года назад в Петрограде мы ели гораздо лучше, чем теперь в Угличе, что там была даже колбаса, а в нашей столовой горела висючая лампа с абажуром. Мы вспоминали эту светлую лампу, как живого человека, и нам все казалось, что она горит в Петрограде, хотя мама говорила, что бабушка и бабушка тоже давно сидят с коптилкой. Но невозможно было представить, что во всех, во всех городах так же темно и холодно, как у нас в келье! А мама по вечерам уходила на работу в школы ликбеза, где старухи учились читать как маленькие, и мы

сидели одни, запертые в сводчатой, морозной келье. Угрожающе ревели колокола, чернели полукруглые окна, поблизости было кладбище с могилами каких-то старцев и если б не Тузик, то было бы совсем страшно. Придвинув смердящую коптилку к самым книжкам, закутавшись в одеяла мы учили уроки, а Тузик сидел прямо против двери, наострив уши, готовый защитить нас от старцев, если они вдруг станут сюда ломиться.

А утром Тузик провожал нас в школу..

Ну, с чем можно сравнить — с любовным свиданием? со славой? — те минуты, когда вас провожает в школу ваша собака; когда она деловито бежит впереди вас и можно совсем негромко окликнуть ее, чтобы она остановилась и оглянулась; когда все мальчишки завидуют вам (я уже не говорю о девчонках!), и свищут, и подзывают собаку, и соблазняют ее чем кто может, даже настоящей хлебной корочкой, но собака не обращает на них ни малейшего внимания и бежит только с вами, — ваша, преданная вам любимая рыжая собака!

А ведь Тузик провожал нас в школу каждый день, а потом даже встречал у школы после уроков! Это уж было полное торжество и счастье.

Так мы вместе коротали зиму, встречали милую волжскую весну, голодали и делились едой, ждали папу, ждали конца войны и возвращения в Петроград, к хлебу, к родным, к светлой висючей лампе. Не могло быть, чтоб лампа в Петрограде не горела.

III

И сборы в Петроград начались на другой же день. Незнакомые мужики принесли прямо в келью большие фанерные ящики и сверток рогожи, и к запаху папы присоединился запах путешествия, отъезда — щемящий запах дерева, воздуха и рогожи. Мы сразу полюбили эти новые недомашние вещи — забрались в ящики и посидели в них, завернулись в рогожи и ходили так по комнате, и папа строго прикрикнул на нас. Нам и это было приятно, это означало, что папа с нами не просто так, а уж действительно как настоящий папа, и вообще все на самом деле, потому что он еще прибавил:

— Лучше бы собирали, что в Питер взять.

Мы кинулись разбирать наш скудный детский скарб, книжки и игрушки, и вдруг почти все, что еще вчера радовало и было любимым, оказалось недостойным Петрограда: солдаты из щепок, цветные черепочки и деревянная ложка, запеленутая в тряпки, которую мы называли Маленький Ванька.

Мы, конечно, забирали Мишку с одним пуговичным глазом и продавленным животом — ведь Мишка был еще петроградский, а черепочки, Маленького Ваньку и даже самодельные звездочки из цветной бумаги, которыми украшали в прошлом году елку, решили оставить в Угличе.

— В Петрограде мы наделаем больших звездочек, золотых, — сказала я, — а эти какие-то сморщенные... И черепочков мы там наберем новых, блестящих, там таких много, я знаю...

— А старичка возьмем? — шопотом спросила сестра.

Я тоже перешла на шопот:

— Старичка — да!

И, бросив сборы, мы побежали за нашим старичком.

Мы нашли его ранней весной в монастырском саду, среди еще голых кустов терновника: он сидел на корточках, горбатенький, темный, опустив корявые ручки до самой земли, неестественно повернув вправо сердитое задумчивое личико с острой бородкой. Подкравшись поближе, мы увидели, что старичок не настоящий, не живой, а этакий необыкновенный древесный корень, то есть на самом-то деле он, конечно, был живой и только перед нами, перед людьми, прикидывался корнем.

Мы устроили старичку дом под маленькой, но удивительно густой и угрюмой елкой, похожей на шатер (ведь старичка нельзя было тащить в келью, это же была не игрушка, а житель иного, недоступного для людей мира), и старичок жил под елкой, как в капище, в темнозеленом сумраке, в тишине и тайне. Никто, кроме нас, не знал о старичке и его таинственной жизни, да и нам ни разу не удалось подсмотреть ее, хотя мы очень старались. Но мы догадывались обо всем! Мы даже рассказывали друг другу, как наш старичок ночью бегаёт по саду и все трогает своими корявыми ручками, а иногда зачем-то выкапывает ямки. А бегаёт он — как ступка — переваливаясь с боку на бок, ведь ног-то у него нет!.. И так было

интересно и жутко верить этому, и мы побаивались даже нашего старичка и очень любили его, но, конечно, гораздо меньше, чем Тузика.

Мы захватили с собой старую клетчатую тряпку и благоговейно, немного сгращась, вытащили старичка из-под елки. Заглянув в его опустевшее капище, я еще раз убедилась, что мы уезжаем в Петроград. А старичок был безучастен, — горбатенький и темный, он думал о чем-то своем, страшном, и неестественно повернутое личико его было, как всегда, сердитым и задумчивым. Я завернула старичка в тряпку очень быстро, чтобы никто не увидел. Мы говорили все время шопотом.

— Дома его не будем разворачивать, да. Лялька?

— Да, да, не разворачивать. А то мама увидит.

— И папа.

— Да, ведь и папа! Папа приехал.

— Ага. Папа приехал. А где старичок будет жить в Петрограде, Лялька?

— Как где? В нашем саду! Муська, ты помнишь наш сад? Какой он огромный, верно? Ты помнишь, когда мы в Петрограде играли в палочку-выручалочку, мы прятались в сирени. Кусты тоже очень огромные.

— Ага. Я помню. Наш сад очень огромный. А наш петроградский дом еще огромнее. Ты знаешь, через три дня мы будем жить в нем!

Мы изумленно смотрели друг на друга и смеялись от счастья.

— Побежим скорей собираться!

Я прижала завернутого старичка к груди, и мы понеслись к нашему корпусу. Липы монастырского сада, ликуя, гремели круглыми, как бы жестяными, листиками. июльский, медовый, сияющий ветер летел нам навстречу, мы нарочно бежали что есть силы, опрометью, и вдруг из-за кустов, обиженно лая, выскочил Тузик.

Он бросался на грудь то ко мне, то к Муське и все вертел хвостом и обиженно лаял, и мы остановились как вкопанные.

Мы поняли: Тузик все знает: и что мы уезжаем в Петроград и что мама и папа не хотят его брать с собою. Он узнал это по чужому запаху папы, по запаху ящиков и рогожи — тревожному запаху отъезда.

Мы кинулись к Тузику, обнимали его, целовали в прохладный нос, а он, повиз-

гивая, горячим ласковым языком быстро и щекотно лизал нам лица.

— Тузинька, Тузинька, — громко сказала я, — ты с нами поедешь, не бойся!

И как только я сказала это, то сразу поняла, что это неправда, что мы не возьмем его в Петроград, ведь мы же вчера весь день просили, и папа сказал, что нет и нет, сами-то едва доберемся.

— Возьмем, возьмем, — твердила я отчаянно, — возьмем!

IV

В день отъезда мы ловко сунули завернутого старичка в большой ящик, сбоку, под самую рогожу, и не успели отскочить, как опять пришли незнакомые мужики, заколотили ящики и повезли их на пристань. А через час пошли на пристань и мы. Тузик деловито бежал рядом.

Мы так ласкали, кормили и любили его все эти дни, что теперь он был совершенно спокоен. В пути он даже отбежал на минутку, чтобы обнюхаться со знакомой собакой и сообщить ей, что едет в Петроград. Но только на минутку, а потом в три прыжка догнал нас и, преданно заглянув мне в глаза, засеменял сбоку, не отставая.

Мы с Муськой молчали, подавленные своим предательством.

На пристани наш папа, очень потный и худой, суетливо подбежал к нам.

— Ну, можно садиться, можно садиться, — торопил он и первый стал прощаться с углицкими знакомыми. — Ну, давай бог. Спасибо. За жену, за ребят — за все спасибо. Прощайтесь, ребята...

Он взглянул на нас с тревогой и жалостью.

— Ну... прощайтесь со своей собакой.

— Папа! Возьмем его! Возьмем, папочка, милый, родной, дорогой...

— Да ты же видишь, девочка, лодка полнехонька. А на станции еще что будет. Нет, нет, невозможно. Мы с вами-то намаемся... Ну, поскорей, поскорей!

Мы присели перед Тузиком на корточках. Сердце у меня нехорошо замирало, точно все время проваливалось в живот.

— Прощай, Тузинька, — прошептала я, обнимая собаку. — Спасибо за все.

— Не сердись на нас, — прибавила Муська. Она плакала очень крупными беззвучными слезами.

Какой-то дядька в полосатых штанах наблюдал за нами.

— Чья собачка-то? — спросил он.

— Наша, — ответила я и, взглянув на дядьку, увидела, что у него доброе круглое лицо. — Возьмите ее себе! Возьмите дяденька! Только, пожалуйста, кормите ее. А то она умрет.

Дядька кивнул головой.

— Ладно. Возьму для ребят. Собачка веселая, чисто детская.

Вынув из глубины полосатых штанов веревку, он завязал ее на шее Тузика, а концев взял в руку.

— Ну, садитесь, садитесь, садитесь, — торопил папа. — Да не ревите вы, девочки, ведь к бабушке-дедушке едете.

Мы сели, и лодка отчалила. На минуту замерев, Тузик рванулся к нам, веревка врезалась ему в горло, он захрипел, залаял, завизжал. Я крепко зажмурила глаза, чтоб не видеть его.

— Ну, господи благослови, — сказала мама. — Ну, посмотрите же последний раз на Углич, дети. Ведь сколько здесь пережили!

Мы посмотрели угрюмо. Углич высылся на берегу, узорный, древний, зеленый; там оставалось голодное время, темные зимы, коптилки, война, там оставался Тузик у каких-то чужих ребят, на веревке.

— Тузик! — заорала вдруг Муська. — Тузик за нами бежит!

Да, он бежал по берегу с веревкой на шее, он бежал за нашей лодкой и, услышав муськин крик, на мгновение остановился и отчаянно залаял.

Тут мы зарыдали в голос, заревели, захлебнулись в слезах:

— Он сдохнет! Он умрет! Тузинька, милый!

— Да побежит, побежит и отстанет, — старался перекричать нас папа. — Эх, дурак мужик, не сумел удержать!

— Дети, перестаньте, — сердилась мать. — Вы мне все нервы вытянули с вашей собакой! И без нее тошно...

— Пушай поплачут, в Волге воды прибавится, — пошутил сурового вида лодочник.

О, что они понимали, взрослые, озабоченные чем-то невеселым, раздраженные люди!

— Ту-узинька, — кричали мы, и весь мир тонул в наших слезах.

Он останавливался и горько выл, а потом бежал опять. Лодка шла быстро, со-

бака не отставала. Вдруг Тузик побежал вперед так стремительно, что почти исчез из глаз. Мы заревели еще громче. Тузик стал совсем капельным, потом мы увидели, как он прыгнул в Волгу.

— Тузик утопился!—прорыдала Муська.

— Да нет же, — закричал папа, — на казанье с вами, он к лодке плывет.

И верно, Тузик плыл навстречу. Одна только рыжая его, остроухая голова торчала над водой. Он плыл к нам с мучительным ужасом в глазах, и силы оставили его почти у самой кормы. Но тут сурового вида лодочник подцепил Тузика рукой и, крикнув, втащил в лодку.

Мокрый, жалкий Тузик быстро лизал мне и Муське соленые вспухшие лица и взвизгивал виновато, точно — как папа маме третьего дня — хотел сказать: «ну ничего, ничего».

V

Мы ехали по Волге целый день и целую ночь, и ночью сперва было очень интересно, — казалось, что можно даже, если изловчиться, подцепить из воды серебристую звездочку как рыбку, и на берегах толпились теплые, уютные огоньки, но потом очень захотелось спать.

Мы долго не могли примоститься, всюду выпирали ящики, потом сползли на мокрое днище, положили головы на Тузика, как на подушку, и задремали.

Однако проснуться пришлось почти сразу — мы подъехали к станции Волга. Кругом был темнорозовый туман; мы причалили прямо у берега. Мучительно хотелось спать, и все было как во сне: и то, что мы долго карабкались по какому-то мокрому, холодному, сизому от росы откосу, и то, что потом сидели в какой-то вонючей избушке и ехали на нестерпимо скрипящей телеге, и когда уже взошло солнце, приехали на станцию Волга и вошли, наверное, в вокзал. . .

И тут я до того поразилась, что сон как сдуло: столько людей, столько людей было кругом — и в вокзале, и на платформе, и вокруг вокзала, и все они были на одно лицо, — не мужское и не женское, а просто лицо, желтое, как церковная свечка, с синими тенями у глаз, со слившимися прядями серых волос (потом я узнала это лицо на плакатах Помгола), — и кто лежал, кто стоял, кто сидел, но все как-то клубились, кричали, кишели, и ди-

ким бедствием, дикой стихией веяло от этих сине-желтых клубящихся людей, от режущего плача грудных, от пронзительного запаха мочи и гари.

«Это потому, что кончилась война. . . это все домой. . . В Петроград, как мы! Все, все в Петроград. . . И мы, как они, мы такие же, мы все вместе в Петроград, в Петроград», — стремительно пронеслось в уме, и вдруг я ощутила себя во власти этой стихии, этого бедствия так, точно меня — отдельно — вовсе и нет на земле, а есть только эти усталые, рвущиеся в Петроград люди, и ты где-то там, среди них.

И мы с мамой сели прямо на пол, в гущу людей, тесно прижавшись к одной сине-желтой тетеньке, почему-то до ужаса похожей на нашу маму. Я не могла отвести от нее глаза. Кто-то толкнул меня в плечо. Я оглянулась: это был наш Тузик. А я совсем забыла о нем. Мы сидели на вокзале долго, и с ненасытным любопытством, со страхом разглядывала я обглоданных голодом людей, как мы рвущихся в Петроград, и с жадностью, с восторгом, со страхом прислушивалась к первому смутному и огромному ощущению бытия.

Потом нас отыскал папа и отвел за вокзал, в опрятный желтенький домик. Хозяйка была плавной, толстой теткой, ее звали Анисья Иванна, в комнате у нее висело много темных икон и приятно пахло свежим сеном, и было очень тихо, а под окнами зеленела лужайка, вся в огромных кружевных ромашках.

Но видение вокзала не покидало меня.

Мы умылись здесь и попили горячего кипятку с овсяным, еще углецим, хлебом, поделившись пицей с Тузиком. Он был уверен, что теперь-то уж его возьмут в Петроград, и спокойно, весело вилял хвостом. Хозяйка глядела на нас, подпирая лицо толстой розовой рукой. Она была не такая, как женщины на вокзале, ей, наверное, жилось хорошо, наверное она была спекулянткой.

— Возьмите нашего Тузика, — сама, совершенно спокойно сказала я Анисье Иванне. — Нам не довести его до Петрограда. На вокзале вон что делается.

И сама удивилась, услышав, что последнюю фразу сказала как большая. Видение вокзала не покидало меня. Я чувствовала: за ним распахнется что-то еще необъятнее.

— Да, возьмите Тузичку, — прошептала и Муська и заплакала очень крупными

слезами. — И напишите, как он будет жить... у вас...

— Собачка, видно, ласковая, возьму, — равнодушно пропела Анисья Иванна.

Посадка была дикой. Нас подали в окно, потом кто-то чужой бросил на верхнюю полку. Потом забравшиеся в вагон стали выталкивать тех, кто еще лез в окна, и в вагоне, в дрожащем желтом свете свечи, в полутьме, люди галдели и клубились еще страшнее, еще печальнее, чем на вокзале, но я уснула мгновенно, едва голова коснулась полки.

VI

... Мне казалось, что кто-то быстро гладит меня по лицу прохладной пушистой лапкой.

«Белка», — подумала я, не удивляясь, и в ту же минуту мне приснилась оранжевая сосновая роща, где сосны стояли очень прямые и яркооранжевые, и между ними неподвижно висели зеркальные солнечные блики и тени. Было очень жарко, руки и щеки прилипали к смоле, было душно от сияющей жаркой смолы, от солнца, от яркого цвета сосен, а белка щекотала лицо быстро, нежно, всеми волосинками, расторопно перебирала пряди на лбу.

— Белинька, милая, — шепеляво пробормотала я, смеясь и радуясь, — вот я поймаю тебя сейчас и привезу в Петроград!

Я подняла руку к лицу и открыла глаза. И мгновенно, с той неутолимой жадностью, которая вспыхнула во мне вчера на волжском вокзале, — стала смотреть и слушать, смотреть и слушать...

Стучал поезд. Смутный рассвет недолго, неуверенно освещал груды скрюченных круглых тел и мешков. Я взглянула вниз: непонятно как разместившись, клубившиеся, истошно кричавшие ночью люди спали. Все спали, спали сидя, впритык друг к другу, спали, опустив голову на колени, или спрятав лицо в ладони, или схватив руками затылки. Все спали, точно цепенели в глубоком, трудном раздумье, неподвижные, серые, и были похожи сверху на большие круглые камни, робко озаренные серым рассветом.

«Крепко спят рыцари Круглого Стола», — прозвучала в уме вычитанная откуда-то фраза, и так это похоже было!

Они спали, безмолвные, навсегда оцепеневшие в важном раздумье, и, спящие так, мичались в Петроград.

«... и крепко спят рыцари Круглого Стола... А белка?» Лапка ее все еще бегала по моему лицу. Но это оконная рама чуть-чуть опустилась, и легкий утренний воздух врвался в горячий вагон. Я подставила под живую эту струю открытый, шершавый рот, приостановив дыхание... Нет, спали не все: внизу, по моей полкой, невидные сверху, тихо гогорили двое мужчин. А за окном расстилось пустое, серое, туманное поле. Обгоревшая избушка боком проскочила мимо. Туман стал гуще, зарокотало железо: мы медленно ползли по железному мосту. Черные влажные балки плыли мимо окна. Нахохлившийся часовой, стоя на каком-то странном выступе моста, поднял глаза на поезд и взглянул мне прямо в зрачки. А внизу, за балками, тускло поблескивала вода — это была река. Холодная, строго поблескивающая, вся в парах, не кончаясь. уходила она в пустые туманные поля, где едва-едва, в тумане и утренних сумерках намечались кустарники. И на мгновение остро, почти болезненно, мне показалось, что все это уже было один раз в моей жизни: земля и вода в парах и тумане и пристальный взгляд часового прямо в зрачки — из пустоты и тумана.

— ... и вот, дружба, трудятся на этой реке массы народа, — нараспев сказал под моей полкой мужской голос: таким голосом говорили по ночам сказочники, — сипловатым, заговорщицким, чуть воспаленным... — Со всех концов Руси народ. Как при Петре Великом...

— Мы слышали, — ответил голос помоще, усталый и ломкий.

— И завезена туда удивительная машина. Это... это умнейшая машина, дружба! Она сама тебе этаким когтем земли подцепит и поднимет земли... Ну, скоко, ты полагаешь, подымет земли?

— Ну, скоко?

— А до ста возов земли! И она любую землю берет, и летом и зимой. А зимы у нас какие пошли? Голодные и холодные, и земля теми зимами — железная. А она этой земли не боится! Она ее копает и копает, копает до самого дикого камня и сыплет высокой горой...

— Ну и для ча ж это все?

Рассказчик глубоко, радостно вздохнул, и голос у него стал мягким и умиленным, точно засиял в сумраке; так, должно быть, умиленно сияли голоса сказочников, сообщавших о снятии заклятья.

— Ах... дура ты, дружба! «Для ча?» Да ведь там же водопад будет! Преогромнейший, дружба, водопад! И такой неистовой силы, что от этого водопада появится сам свет. Как от бога. Оно Волховстрой называется, дружба, Волховстрой!

— И много его будет, того свету?

— У-у, дружба! Всю Рассею светом зальет, до последней щелки. Белый свет, ясный, как денной. Одно слово — научный. И тут всем коптелкам конец придет... а уж лучина — что ж? Может, останется в песне: из песни слова не выкинешь.

Рассказчик передохнул, точно ему не хватало воздуха, и проговорил еще умиленной и сильнее:

— И сила от того света будет, от электричества, дикая сила! Этой силе все подвластное. Этой силой и железо можно точить, самое твердое, и машины двигать, и пахать можно, пахать, дружба, да не как мы сейчас, а тыщи верст зараз поднимать. Сила и свет — как от господ бога, — сила и свет. . .

Рассказчик опять вздохнул, помолчал. Стул поезд. Как бы оцепенев в глубоком раздумье, все спали, круглые и неподвижные, и, спящие, мчались в Петроград.

— Голодаем и холодаем, пусть хоть светло будет, — грустно сказал молодой голос. — При свете легче, чем в темноте, правда, дед?

— Может, правда, — равнодушно согласился тот и снова вдохновенно пророкотал: — Оно как брызнет, как засияет на всю Рассею, как заплащется! Ленин велел!

VII

В полдень мы приехали в Петроград, за родную Невскую заставу.

И оказалось, что наш петроградский дом вовсе не огромный, как мы думали все три года, а маленький. Он был очень даже маленький, и было совершенно непонятно, почему он так уменьшился, пока мы жили в Угличе и мечтали о нем.

А сада не было совсем, и даже зеленого забора с сердечками не осталось.

— В голодуху на дрова срубили, — сказала бабушка и в первый раз заплакала о саде. Вместо сада был домовый огород, очень маленький, — значит, и сад был маленький, — и новые, незнакомые нам жилички подкапывали на грядах картошку.

Итак, нашему старичку негде было жить.

Три дня, завернутый в клетчатую тряпку, он прожил за печкой в столовой, по-

том мы его вытащили, с великим благоговением и страхом развернули и поставили на стул. Поставили, взглянули и обомлели: старичка не было. Это был просто уродливый темный корень, правда, тот же самый, что и в Угличе, и отросточки по бокам у него торчали, которые в Угличе были ручками старичка, и нарост наверху, который раньше был сердитым и задумчивым личиком старичка, — все, все было на месте, но самого старичка не было!

Мы уж и так и так его вертели, смотрели на него и с боков и сзади, и на пол ложились и с полу смотрели, — нет, корень, а не старичок! Муська еще различала бородку и общие смутные очертания старичка, а я уже ничего не видала, кроме уродливого корня, и это, как я поняла теперь, была большая утрата.

Я хотела бы и сейчас иметь такое зрение, чтоб всюду видеть живых, таинственных человечков.

Бывшего старичка мы сами пихнули в плиту, потихоньку.

Но зато мы все время, оставаясь одни, вертели выключатели: как раз накануне нашего приезда в доме нашем провели электричество, и старая всякая лампа сияла теперь еще ярче, чем до отъезда в Углич. Как хорошо, что мы не верили маме, будто всюду было темно и холодно, как у нас в келье! И мне было радостно думать, что, наверное, этот свет с той самой туманной утренней реки, которую я видела из окна вагона, о которой говорил старик под моей полкой. Я никому не рассказала о подслушанном разговоре, — боялась, а вдруг окажется, что старик все выдумал? Но мечта о сияющем водопаде неистовой силы стала с той ночи любимейшей мечтой жизни.

Анисья Иванна, конечно, ничего не написала нам о Тузике, а мы с сестрой не заводили больше никакой другой собаки. Так почему-то, не хотелось.

Потом прошло девятнадцать лет.

Только через девятнадцать лет я снова отправилась в Углич.

Я ехала на открытие могучей угличской гидростанции. Она ослепительнее и в два раза сказочнее любимого гервенца юной советской России — Волховстроя.

И всю ночь под моей полкой двое спутников рассуждали о том, какая, в сущности, угличская станция маленькая: Куйбышевский гидроузел будет больше Волховстроя во много раз...

Л. Фридланд

МЕСТЬ

До революции я жил в небольшом донбассовском, тогда донецком, городке. Теперь он вырос, обстроился, есть у него и фабрики, клубы, Дворец культуры, а тогда это был сонный городок, с одним крохотным лесопильным заводом, 5 церквями, 12 трактирами и 3 захудалыми гостиницами. Была здесь и больница, которой я заведывал с помощью фельдшера, акушерки и двух сиделок.

В 19-м году Донецкий край походил на кипящий котел: всюду атаманы, есаульские сотни, налеты, с которыми боролись рабочие отряды. Наш городишко не раз переходил из рук в руки. Но к концу 19-го года уже двигалась на юг Красная Армия, регулярная, хорошо оснащенная, дисциплинированная армия революции.

Белые хозяйничали уже около трех месяцев в городке. Расправы по ночам стали обычным явлением. Расстреливали, конечно, тех, кто подозревался в сочувствии большевикам. На стенах домов были расклеены приказы деникинских генералов, предписывавших верить в непобедимость Добрармии и обещавших окончательный разгром «комиссарских банд».

Декабрьским утром городок был разбужен гулом пушек. Жители с тревогой ждали грабежей и убийств, неизбежных, когда военное счастье изменяло белым. Белогвардейцы безжалостно вымещали на беззащитном населении свои неудачи.

Днем канонада приблизилась к городу. К вечеру бои шли непосредственно у самых окраин.

В больнице была суматоха. Там лежали раненые офицеры. И вот их внезапно и

спешно эвакуировали. Раненых укутывали в тулупы, шинели, выносили и укладывали на телеги.

Поздней ночью я оставил дежурить фельдшера и возвращался домой. Фонари не горели. Слышались скрежет колес по снегу, лошадиное ржание, злобная ругань, окрики. Во мраке смутно различались очертания подвод, бегущих людей. Звук заглушались отчаянной стрельбой.

— Что происходит в городе? — спросила меня жена, дрожа от страха.

Я рассказал, что белых гонят, что дерутся на улицах. И действительно, уже стреляли в разных концах города, и временами было похоже, что стрельба идет по нашему дому.

Почти всю ночь мы не спали. Часов около четырех выстрелы стали реже, потом прекратились совсем. Я прилег, одетый, на диван и задремал.

Грохот разбудил меня. В дверь, выходящую на улицу, молотили с такой силой, что, казалось, хотят ее сорвать с петель. Я выскочил в коридор.

Стук оборвался, и кто-то крикнул задыхающимся голосом:

— Доктора надо! Доктора! Скорее!

Я открыл дверь и увидел рослую фигуру красноармейца в полушубке с острокопечной шапкой на голове. Держа в руке винтовку, парень шагнул через порог.

Я спросил:

— В чем дело? Я доктор.

— Давай, доктор, со мной! Скорее давай! С человеком худо, — сказал красноармеец.

Моя профессия приучила меня избегать вопросов, отнимающих время. Я взял медицинские инструменты, перевязочный материал, накинул пальто — и мы пошли.

На улице стоял предутренний туман. Снег скрипел под ногами. Морозный воздух был неподвижен, дома с закрытыми ставнями, казалось, спали, и все выглядело мирно, буднично. В ничем не нарушавшемся безмолвии было что-то сосредоточенное, притаившееся, настороженное.

Я рассмотрел своего спутника. У него было молодое, широкое, красное от холода лицо с коротким, прямым носом, крупными губами, светлыми бровями. На коже чернели морщинки, словно вьелась в них копоть. Очевидно, это был рабочий, недавно надевший шинель.

Мы подошли к длинному забору. Через калитку виднелся двор с садом и в глубине небольшой одноэтажный дом с мезонином. Крышу невысокого крыльца подпирали резные колонны. На ступеньках стояли три вооруженных красноармейца. Они повернулись на стук калитки, и один из них крикнул:

— Топай, Парфенов, скорее, а то не успеешь!

— Вот доктора веду. А как там?

— Радости мало!

Дорожка между крыльцом и калиткой была дочерна истоптана. По всему двору лежал нетронутый снег, и по его белой пелене шли петляющие следы ног, тянувшиеся до забора, — следы бежавшего человека.

Окруженный красноармейцами, следовавшими за мной, как студенты за профессором на обходе в клинике, я поднялся на ступени и толкнул дверь. В прихожей были разбросаны вещи: корзины, чемоданы, стулья. Потом мы прошли через столовую. Здесь мы остановились. Дальше пошел один Парфенов. Он ввел меня в следующую комнату, в спальню.

На кровати лежала женщина. Конвульсии сотрясали ее.

Это были роды.

— Вот, товарищ доктор, — сказал Парфенов, — окажите помощь!

Лицо женщины было искажено страданием. На губах запеклась пена.

Вдруг в глаза мне бросился маленький аптечный дузырек, валявшийся у ножки

кровати. Я поднял его. На дне его еще сохранился белый порошок.

Не оставалось никаких сомнений: женщина пыталась покончить с собой. Впрочем, это было не только самоубийство, но и убийство, так как начавшиеся роды говорили о втором существе, уже готовившемся жить.

Надо было действовать, не теряя ни мгновения.

Впрыснув женщине камфару, я поспешил на кухню. Вместе с Парфеновым мы принялись хозяйничать, разыскали большую кастрюлю, растопили остывшую печь. Нужно было прежде всего вскипятить воду. Пока шла возня с дровами, с кухонной посудой, я расспросил Парфенова, как он попал к этой женщине? Кто она такая? Что здесь произошло?

Красноармеец рассказал мне, что ночью, когда город был уже очищен от белых, патруль наткнулся в этом доме на офицера. Офицер сперва отстреливался, а потом бежал.

— Я и мой товарищ Петр Грачев и другие ребята кинулись в дом: нет ли еще офицера? А там баба! Мы к ней, а она хрипит, пену пускает. Не иначе как кончается. Мы ей подсобить желаем, а она шипит: «будьте прокляты!», еле языком ворочает, и пена изо рта. А глазами так и сверлит, точно прожечь хочет, верное слово! Буржуйская душа в ней говорит. Известно, офицерская жена!

— И я из-за нее не мотался бы за вами, — добавил он, — но дело ведь получилось совсем другое. Когда мы заскочили, смотрим — она разрешается. Кровь из нее хлещет, и ни туда ни сюда. Петр говорит: «Беги, Николай, за доктором, ничего у нее не выходит». И, верно, сама она уже синяя стала, даже дергаться перестала, а разродиться не может. Я — в больницу, а оттуда погнали к вам домой. . .

Вода закипела. Я наполнил большой таз и понес в спальню. Парфенов остался в кухне — на всякий случай готовить еще воду.

Женщина уже теряла пульс. Вскоре в руках у меня был маленький человечек, живая девочка. Я отыскал простыню, оделю и завернул новорожденную. Затем я впрыснул женщине еще один полный шприц камфары и спросил, указав на дузырек:

— Зачем вы это сделали?

Ее затуманенный взгляд ничего не выразил.

— Зачем вы убили себя? — повторил я громче.

В этот момент появился Парфенов с новой кастрюлей горячей воды:

— Еще чего надо? — спросил он, со смешным и радостным изумлением услышав детский писк.

— Ничего. Идите!

Женщина посмотрела ему вслед:

— Ненавижу их... — прохрипела она. — Все отняли... Мужа... жизнь... Ненавижу...

Она продолжала говорить своим прерывающимся голосом о каком-то имении в Саратовской губернии, о муже, пожаре, бегстве — и опять слова ненависти.

Вдруг она умолкла, лицо ее застыло и приняло спокойное, строгое выражение. Тонкая линия губ, резко очерченный подбородок, еле заметная горбинка носа придавали ей гордый, почти надменный вид.

Тишину нарушил плач ребенка. Я развернул одеяло и вымыл девочку в теплой воде; затем укутал ее в какие-то шали, подобранные здесь же на диване. Но что делать дальше? Кому сдать ребенка? Ведь надо было немедленно заняться им, его питанием, уходом.

Резко, будто над самым моим ухом, прогремел выстрел. За ним раздался другой, третий, началась беспорядочная трескотня.

Я подбежал к окну.

У калитки красноармеец, выронив ружье, медленно падал на снег.

Один из красноармейцев, находившихся в доме, вышел во двор и направился к воротам.

У самой калитки, почти в упор, выстрелили с улицы. Подоспевшие красноармейцы открыли стрельбу. Проходивший недалеко патруль погнался за человеком в шинели.

Увидев упавшего красноармейца, я оставил девочку и выскочил на крыльцо.

Парфенов и еще один красноармеец на руках внесли раненого.

— Вот шукура! — сказал Парфенов злобно. — Тут его бабу отхаживаешь, а он, гад, из-за угла стреляет!

Голова раненого повисла; это был тот, кого Парфенов называл Петром. Он был без сознания. Его внесли в дом, сняли с

него полушубок, гимнастерку, рубаху. Пуля ударила ниже подреберья.

— Кто же это стрелял? — спросил я перевязывая Петра.

Парфенов произнес:

— Это тот офицер, который ушел отсюда. Мы его упустили тогда и забыли о нем. А он о нас не забыл!

Уже стояло утро, морозное утро декабрьского дня. Солдаты еще возились у саней, укладывая раненого Петра. Лицо Парфенова было сумрачно. Предложение захватить с собой ребенка и отвезти в лазарет или, еще лучше, в больницу не вызвало с его стороны возражений. Кроме того, я просил сообщить в лазарет о трупе женщины и позаботиться, чтобы его похоронили.

— Чорт с ней, с бабой! — заметил он. — А дитё что ж, дитё ни при чем, хоть оно и змеино!

— Отправьте скорее раненого, — сказал я тогда Парфенову. — Ребенка я возьму к себе.

В конце недели вечером явился ко мне Парфенов.

— Вы помните меня, товарищ доктор? — сказал он.

— Помню, конечно. Очень хорошо помню. Помню и вашего товарища, который был ранен.

Парфенов нахмурился:

— Умер мой товарищ. Вчера умер. Перед смертью позвал он меня и сказал: «Коля, погибаю я от руки врага. Подлое это дело было, ведь мы его бабе помочь хотели тогда. Вот что обидней всего! Стой, Коля, твердо за революцию и про меня не забудь! Отомсти за меня, отомсти беспощадно! Дай клятву, что исполнишь!» Я обещал. Я и глаза ему закрыл.

— А пойман тот офицер? — спросил я.

Парфенов покачал головой:

— Нет, не схватили его. Успел удрать. Завтра наша часть выступает дальше. Где теперь с ним встретишься? Но я все равно своего добьюсь. Что задумал — сделаю. А к вам, товарищ доктор, я по делу. Дитё у вас или отдали куда-нибудь?

— Нет, никуда не отдал. Девочка у меня.

— Позвольте посмотреть на дитё, товарищ доктор!

У меня мелькнула страшная мысль: не собирается ли он выместить на ребенке злобу против отца? Но я тотчас отогнал это дикое подозрение. Мне стало стыдно, когда я взглянул на лицо красноармейца.

Я провел его в комнату, где на диванчике, превращенном в кровать, спала девочка. Красноармеец смотрел на маленькое личико, и у него был оторопелый, растерянный вид.

— Вот чудно бывает на свете! — вдруг сказал он шопотом. — Сколько народу пропадает — и ничего. А тут вдруг дитё! Ну что оно значит? А вот поди ж ты, хватает за сердце!

Когда мы выходили, он шел за мной на цыпочках.

В коридоре он остановился и сказал мне озабоченно и вместе смущенно:

— Вот что я хочу попросить вас, товарищ доктор. Решил я, пусть дитё будет моим. Сделал я в полку заявление. И бойцы и комиссар вполне поддержали меня. Она — девочка, значит будет мне дочкой. Скоро война кончится, сбросим мы белых в море. Богом прошу вас, берегите до моего возврата, никуда не отдавайте! Дома, в городе Бахмуте, при хозяйстве сестра у меня осталась вдовая. Детей она любит, да и я не обижу, верное слово! Дитё будет мне как память о друге на всю жизнь. Ну, а ежели не возвращусь живым, тогда сделайте что пожелаете. Вот какое у меня к вам дело, товарищ доктор.

Я почувствовал, что мне не следует спорить с ним. Было в этом человеке, в интонациях его голоса, особенно при упоминании о погибшем друге, в его лице что-то такое, что останавливало всякое возражение.

Я кивнул головой:

— Хорошо, буду ждать.

Он протянул мне руку:

— Спасибо, товарищ доктор! Запишите: Николай Трофимович Парфенов, Бахмут, Никольская улица, дом 15. А сестру зовут Екатерина. В случае чего, ей напишите. Дитю дайте мою фамилию. Революционное спасибо вам, товарищ доктор! А мне завтра с утра в поход.

Жена была очень огорчена, узнав о разговоре. Девочка уже вызвала в ней чувство более сильное, чем сострадание. Однако мы оба понимали, что ничего

иного я не мог ему ответить. Нам осталось только ждать. Увидим ли мы его?

Прошло почти два года. В городе давно и прочно установилась советская власть. Появились такие, — прежде неслыханные в наших, всегда считавшихся захолустными, местах, — вещи, как Строительный институт, фабрика обуви, Дом культуры; на пустырях некоторых улиц, где жила рабочая беднота, возводили жилмассив.

Большая, вместительная больница строилась рядом со старой, превращенной в детскую консультацию, а по соседству закладывался фундамент дома для яслей и очага. Я был назначен главным врачом всего этого лечебного комбината. С утра до позднего вечера приходилось заниматься медицинскими и хозяйственными делами.

Однажды, в ясный день ранней осени, которая у нас в Донбассе так хороша, жена вызвала меня спешно домой. У ворот стоял запыленный автомобиль, и возле него Николай Трофимович Парфенов, в галифе, сапогах, френче, с ремнями через плечо и револьвером на поясе, — боевой и бравый командир. Чуть-чуть пополневший, он мало изменился: те же глаза, то же выражение рта, добродушное и упрямое. И все-таки появилось в нем, в его движениях и жестах что-то новое, какое-то подчеркнутое сознание собственного значения.

Рядом с ним была немолодая женщина, широколицая, с усталой улыбкой.

— Здравствуйте, доктор! — сказал он. — Я вижу, вы меня сразу узнали. Вот видите, жив и невредим. Извиняюсь, что оторвал вас от работы, но ждать до вечера не мог. Не успели бы тогда и двух слов сказать. Время у меня в обрез. Я ведь теперь недалеко от вас: военком области. Дел по горло. Но все-таки привехал за дочкой. А это моя сестра, Екатерина Трофимовна, — представил он широколицую женщину.

Я взглянул на жену: глаза ее были влажны. У меня тоже что-то защемило в горле. К девочке, которой было дано имя Валя, мы привыкли, как к родной, и совсем забыли о существовании Парфенова. Валя стояла тут же, с любопытством рассматривая автомобиль и гостей. У нее была огромная кукла — подарок Парфенова.

Он нагнулся к девочке и погладил ее по голове, затем поцеловал в обе щеки.

Парфенов успел рассказать нам о себе, о взятии Перекопа, об освобождении Крыма. На его груди блеснул орден Красного Знамени. К концу походов он был уже комиссаром бригады и членом партии.

Словом, я услышал биографию одного из тех тысяч русских людей из народа, которым революция открыла дорогу к их настоящей судьбе.

После чая загудел у ворот автомобиль. Наступил час отъезда. Екатерина Трофимова, с девочкой на руках, уже сидела в машине.

Жена ушла в комнаты, чтобы скрыть слезы. Я поцеловал Валю еще раз. Парфенов что-то говорил шоферу. Как только он отошел от радиатора, я отвел его в сторону и сказал:

— Николай Трофимович, мне хочется задать вам один вопрос. Помните, вы говорили о мести? Не забыли, нет? Так вот, отомстили вы за вашего друга? Удалось вам это?

Он ответил не сразу. Большой, крепкий, загорелый, какой-то особенно сильный, Парфенов вдруг задумался, и словно тень прошла по его лицу. Затем он встряхнул головой и сказал:

— Нет, пока нет! — оглянувшись на машину, точно там могли услышать, он продолжал тише: — Про офицера я тогда все разузнал: кто он, откуда, в каких чинах. Но куда делся — не смог найти. — Затем его голос принял обычное выражение: — Ну, мне пора! Спасибо за все! Не забудьте к нам заглянуть, навестить нас! Ведь мы, можно сказать, соседи: полтора верста всего.

Прошло два месяца. Мы решили повидаться с Валей. Не скрою, мне самому хотелось этого, но я согласился, главным образом, из-за жены, очень по ней скучавшей. Но на мое письмо, предупреждавшее, что мы собираемся в путь, получился неожиданный ответ. Парфенова в городе не было. Нам сообщали, что он принят в Военную академию и со всей семьей переехал в Москву.

Спустя полгода прибыла весть и от него самого. Он писал, что очень доволен своими делами, и жалел, что не успел лично дать нам знать о перемене своего местожительства. Летом он с Валей поедет на юг, побывают в родных местах и

тогда обязательно они завернут в наш городок на несколько дней.

Однако это не состоялось. Из-за учебы, которая, очевидно, ему давалась с трудом, пришлось остаться в Москве; в следующем году опять что-то задержало. Изредка мы писали друг другу, но все реже и реже. По окончании академии он получил назначение куда-то на северо-запад, и наши отношения прервались. Из последнего коротенького письма мы узнали, что девочка уже ходит в школу. Вскользь упоминалось, что ему некогда жениться, так много приходится работать. В конце было добавлено: «А помните о мести? Ведь дело-то налаживается».

Эти несколько слов меня озадачили и чрезвычайно заинтересовали. Неужели он напал на след офицера, отца Вали? Что же это за месть будет теперь, через столько лет? Какие отношения могут сложиться между этими тремя лицами?

Письмо пришло в 1928 году. Затем мы потеряли друг друга, и я считал, что это навсегда.

Но, представьте, что делает случай! Мы все-таки встретились.

В апреле 1940 года я проезжал через Харьков. Мне нужно было попасть в Киев на Всеукраинский съезд врачей, и я ждал поезда из Ростова. Сидя на вокзале, я услышал нарастающий грохот. Подошел скорый, только не тот, которого я ждал с юга, а московский. Станция сразу наполнилась шумом, гамом, голосами. Буфет оказался забит пассажирами, спешившими использовать 15-минутную оставку.

Я сидел за столиком и пил чай. Мимо меня энергичным шагом прошел Парфенов.

Я его узнал с первого взгляда. Виски у него чуть серебрились.

— Здравствуйте, Николай Трофимович! — задержал я его.

Он оглянулся, увидел меня, и лицо его тотчас осветилось улыбкой.

Встреча была дружеской, но — по необходимости — короткой. Мы торопились расспросить друг о друге. Он был комдивом, воевал в Западной Белоруссии и с финнами. Теперь он ехал в отпуск на Кавказ, в санаторий. Я заговорил о девочке.

— Ну, Валентина у меня геройская! — сказал он, блестя глазами. — И уже замужем, верное слово! В девятнадцать лет

выскочила. Муж у нее тоже подстать. Да вот хотите посмотреть?

Из нагрудного кармана он вытащил газету. Это был сентябрьский номер «Красной звезды» 1939 года. Среди описаний боевых эпизодов в Западной Украине карандашом жирно было обведено одно место в полстолбца. В середине текста помещались две фотографии: мужская и женская. Лица были молоды, и на петлицах ясно различались значки военных летчиков. Под снимком женщины я прочитал: «Валентина Парфенова».

— Это Валя? — пролепетал я.

— Да, она. Не правда ли, молодец? Помните крошку девочку? А теперь летчик-наблюдатель! А муж — командир звена. Оба орденосцы. У нее за опасную боевую работу Красная Звезда.

Не отрываясь смотрел я на фотографию. Зоркие, прищуренные глаза, строгая линия лба и носа, удивительно изящный, хрупкий и, вместе с тем, сильный подбородок, что-то холодное, сухое, решительное во всех чертах. Неужели это та смешная малютка на тоненьких ножках?

Ударил первый звонок. Кругом все пришло в движение, поднялось, засуетилось. Времени оставалось мало. Мне хотелось получить ответ на давнишний вопрос.

— Николай Трофимович, — сказал я. — До сих пор я не понимаю одной вещи. Придется ли нам опять свидеться, неизвестно. Ответьте мне сейчас! Когда-то, лет десять назад, вы в последнем письме вставили загадочную фразу о мести. Что

же дальше? Чем кончилось? Нашли вы его? Отомстили?

Он тотчас ответил:

— Того человека нет в живых. Мне это недавно стало известно. Еще в 1919-м убили в одном из боев. Что же касается мести, то я добился своего.

— Отомстили?

— Отомстил.

— Позвольте, как же это? — удивился я.

— Да, я отомстил и самым жестоким образом. — В его глазах зажегся веселый огонек. Он указал пальцем на газетный портрет Вали: — Вот моя месть!

— Валя?

— Да, Валя, — сказал он с нескрываемым торжеством. — Лучшего ничего нельзя было сделать. Я вырастил такую советскую девушку, которая дерется и будет драться до смерти с ними, с теми, кто там, по ту сторону.

Второй звонок оборвал его. Поезд должен был сейчас тронуться. Не договорив, он пожал мне руку.

— Прощайте! Авось еще увидимся, — крикнул он уже на ходу.

Его фигура сразу замешалась в толпе, хлынувшей к дверям.

В окно видно было, как бежали вагоны, медленно, потом быстрее.

Так вот она расплата, которую двадцать лет готовил этот человек!

Я долго стоял на месте, думая о Вале, вспоминая всю эту историю от начала до конца.

Согласитесь, что такой способ мести действительно не похож на все, что можно было предполагать.

Юр. Юрьев

Народный артист СССР

ЗАПИСКИ

Часть вторая

И. КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАРЛАМОВ

Варламов отличался общительным характером. Это был, что называется, «душа-человек». Всегда веселый, жизнерадостный, добродушный. Казалось, что он всегда, всеми и всем был доволен. И немудрено, кому же и быть довольным, как не ему? Природа наградила его щедро: он обладал талантом первостатейным и даже, можно сказать, стихийным, получившим всеобщее признание. Все, в том числе и он сам, прекрасно сознавали это. Публика его беззаветно любила. В какой бы роли он ни появлялся, — он для всех «дядя Костя». Уже одно его присутствие на сцене, что бы он ни изображал, вызывало удовольствие, и стоило ему только появиться на сцене, как дружные аплодисменты авансом неслись ему навстречу.

Казалось бы, чего же лучшего желать талантливому артисту? И в самом деле, тут все налицо: большой талант, любовь публики и неизменный успех. Однако, при всем том, для Константина Александровича, по свойству его характера, склонному отчасти и к «ленце», тут крылась до некоторой степени и опасность — оборотная сторона медали. Успех и такая безоговорочная любовь публики к нему давали повод к его успокоенности и, несомненно, служили причиной досадной инертности по отношению к самому себе, к своему таланту. Эта успокоенность являлась тормозом в его артистической деятельности и мешала в полной мере расцвести пышным цветом всем возможностям такого громад-

ного, из ряда вон выделяющегося дарования.

Надо заметить, что К. А. Варламов почти всегда, разве только за редким исключением, играл лишь второстепенные роли. Да он, пожалуй, и не особенно стремился к большим ролям. Долго с ними возиться, а результат — один... Надобности не было... Все равно он — общий любимец, и публика будет его так же радостно принимать и в эпизодических ролях, как если бы он выступал в ответственных.

Авторы и сам театр отлично знали такую слабость Константина Александровича и пользовались ею. Им важно было заполучить в пьесу любимца публики, важно было, чтобы имя Варламова красовалось на афише и привлекало зрителя. Лучшие же роли они отдадут Давыдову и Сазонову, а Варламов все равно, на правах «дяди Кости», сделает свое дело и будет иметь успех, а стало быть даст успех и самой пьесе, особенно материальный. Так это и вошло тогда в практику театра, благо особого протеста со стороны Константина Александровича не встречалось. Им мало было заботы о том, чтобы как можно лучше использовать и культивировать такое большое явление, каким был в театре К. А. Варламов. Они не признавали, что Варламов — это эпоха русского театра и что подобная их тактика по отношению к одному из величайших дарований того времени — не что иное, как преступление перед русским искусством. Много ценных созданий прошло мимо нашего театра.

Сам же Константин Александрович, не-

смотря на свою инертность, в глубине души сознавал ненормальность создавшегося положения и иной раз поворчит, что на его долю чаще достаются эпизодические роли, да и то, пожалуй, больше из ревности к В. Н. Давыдову, чем по существу. Почему это он, Варламов, — всегда Осип, а Давыдов — Городничий; или почему Давыдов — Фамусов, а он — Варламов — Платон Михайлов или даже бессловесный кн. Тугоуховский? Но это просто так, повторяю, больше из ревности. Настоятельного же стремления к главным ролям у Константина Александровича почти не проявлялось.

Но случалось, что и он вдруг запротестует. Со слов моего учителя, Александра Павловича Ленского, я знаю, например, довольно презабавное *qui pro quo*, происшедшее с Константином Александровичем на этой почве. Константин Александрович, видя, что все интересные роли проходят мимо него, решил заявить очередь на роль Фамусова, одну из коронных ролей Давыдова. «Почему же, черт возьми, он, Варламов, всю жизнь только и делает, что подыгрывает Давыдову? Чем же Давыдов, в самом деле, лучше его?» И вот в один прекрасный день он заявляет на роль Фамусова очередь с Давыдовым.

Просьба его была уважена. А надо сказать, что Константин Александрович никогда не отличался точностью текста и часто на сцене импровизировал. Но вот что важно заметить: импровизировать-то он импровизировал, но импровизировал всегда в стиле автора и всегда в образе того лица, которое он изображал. Его так называемые «отсебятины» не были «чужими», как у многих любителей прибавлять на сцене от себя, где всегда чувствуется, что они говорят не по автору, что их слова чужеродны. У Константина Александровича, наоборот, они всегда сливались с текстом автора, как бы являясь дополнением, развитием творчества самого автора и иногда настолько удачно, что иной автор, пожалуй, был бы непрочь признать варламовские «отсебятины» за свой собственный текст.

Но вот беда! В данном случае, играя Фамусова, Константин Александрович столкнулся с грибоедовским стихом. Тут уж как ни ухитрился, как ни сливайся с самим образом, а если дашь свободу своей фантазии и начнешь импровизировать — ничего хорошего не получится.

На этот раз Константин Александрович, как ни трудно было ему, выучил текст, что называется, «на-зубок». Наступил спектакль. Константин Александрович, — рассказывал Александр Павлович, игравший с ним Чацкого, — волновался как никогда. Точное знание роли было непривычно талантливому артисту, и он чувствовал себя, как говорится, «не в своей тарелке».

Вначале шло как будто все благополучно. Не было только должного покоя, шел осторожно, с опаской, как по тонкому льду. Вот наступил второй — центральный — акт для роли Фамусова.

Сцена с Чацким прошла более чем удачно, но в самом конце монолога: «Вот то-то, все вы гордецы», вдруг произошла досадная, смешная оговорка: вместо того чтобы закончить свою отповедь Чацкому фразой: «Вы, нынешние, нут-ка», Константин Александрович громко, отчетливо и как бы с облегчением, что, наконец, закончил трудный монолог, выпаливает: «Вы, нынешние, прут-ко». Ленский от неожиданности сначала оторопел: ему показалось, что он ослышался. Но нет... Растерянный вид Варламова подтвердил, что именно так и произошло. Он понял, что действительно так и было сказано «прут-ко», вместо «нут-ко». И невольно, как всегда бывает в подобных случаях на сцене, Ленский закатился смехом.

Надо сказать, что на сцене при известном напряжении, в каком обычно находятся исполнители, все почему-то кажется смешнее, чем на самом деле, и даже малейший ничтожный повод к тому вызывает неудержимый смех. Вот почему смешливость на сцене — довольно частое явление. Некоторые артисты особенно подвержены такому, если хотите, нервному явлению. И чем больше в данном случае стараешься побороть свой смех, тем сильнее он тобой овладевает.

Сцена имеет свои какие-то законы как положительные, так и отрицательные, и некоторые из них до сих пор еще не получили точного разъяснения. Вот, например, почти как правило: одна оговорка на сцене почему-то всегда влечет за собой другую. Так случилось и с Варламовым в злополучном для него спектакле «Горе от ума». Стоило артисту оговориться во втором акте, как эта несчастная оговорка «прут-ко» в дальнейшем заразила весь его текст. Оговоркам Варламова в данный вечер не

было конца, и одна смешней другой. Варламов чувствовал себя совершенно потерянным и лишился возможности владеть собой. В таких случаях обыкновенно внимание к внутренней линии роли исчезает, и у тебя только одна мысль: как бы не перепутать текст и в дальнейшем. И чем больше ты об этом думаешь, тем чаще сбиваешься. Курьезно бывает иногда, когда ты находишься в подобном состоянии, что какое-то слово роли, которое ты произносил бесчисленное количество раз, вдруг покажется тебе совершенно новым, незнакомым и спотыкаешься на нем и боишься его произнести. Вот в такие-то моменты чаще всего и бывают оговорки.

Перед последним актом Ленский подошел к Константину Александровичу и шуточно сказал: «Ну, Костенька, если ты еще раз оговоришься, то я, честное слово, тебя побью». — «Нет, нет, Сашенька, теперь уж не оговорюсь. Господи ты боже мой! — вбирая, по своей характерной манере, в себя воздух, произнес Варламов. — Что же это со мной делается?» Но нет, Константин Александрович не сдержал слова и в последней своей сцене, вместо того чтобы сказать: «Ни дать, ни взять как мать ее, покойница-жена! Чуть врозь, уж где-нибудь с мужчиной», Константин Александрович ясно отчеканивает: «Чуть врозь, уж где-нибудь с морщиной». Почему с морщиной — неизвестно. «Можете себе представить, — заключил Ленский свой рассказ, — в каком состоянии я произносил последний монолог Чацкого».

С тех пор Варламов закаялся играть Фамусова. Это был первый и последний спектакль с его участием в роли Фамусова. И вообще этот злополучный спектакль надо долго отбил у него охоту играть большие роли. Он довольствовался теми, которые без особой затраты сил и нервов доставляли ему любовь и славу, а главное — не отвлекали его от повседневной жизни, в которой он «купался» среди своих друзей.

А друзей у него было действительно много, хоть отбавляй. В его доме всегда толпился народ и, надо сказать, самый разнокалиберный. Тут можно было встретить за одним столом и важного чиновника из министерства, и видного генерала, купца и даже приказчика-гостинодворца, священника и пр. Гостеприимство Варламова было притчей во языцех. Он всех приглашал к себе без разбора. Кроме

того, к нему можно было прийти просто как говорится, на огонек, без всякого приглашения. И приходили знакомые, а часто и незнакомые — установилась такая уж слава за домом Варламова. Каждый мог прийти к нему, зная наперед, что встретит радушный прием. Константин Александрович часто и сам не знал, кто у него в гостях. Бывали случаи анекдотические. Я сам был свидетелем одной анекдотической сцены.

Как-то во время обеда, когда у него, как обычно, сидело за столом не менее 15—20 человек, входит какой-то «незнакомец». Константин Александрович встречает его с распростертыми объятиями: «Кого я вижу? Боже мой! Да я как рад-то. Соскучился-то как! Наконец-то меня вспомнили... Садитесь, пожалуйста! Что так поздно? А мы уж без вас тут начали, сели за стол... Догоняйте! Лиза (это жена брата, Георгия; она заведывала его хозяйством), потчуй, дорогая, гостя» и т. д.

Рядом с Константином Александровичем сидел его приятель, большой театрал, друг артистов, нотариус Яков Федорович Сахар. Я сидел по другую сторону его. Варламов к нему наклонился и тихо шепчет: «Яша, а ктой-то?»

Сахар сообразил, в чем дело, и ради шутки сказал: «А это князь такой-то». Не помню, как он наименовал запоздавшего гостя.

Варламов удвоил свою любезность, сразу перешел на «ты»: «Да ты кушай, кушай, князьенка! Уж я не знаю, как тебя и ублажать... Кушай, миленький! Лиза, идай князьенке водки да предложи вина! Грибков-то, грибков наложи ему побольше». И так почти в продолжение всего обеда.

А «князьенка» почему-то конфузился и имел довольно растерянный вид... Но когда Варламов чуть ли не двадцатый раз назвал его «князьенкой», он, наконец, не выдержал и сказал: «Что вы, Константин Александрович, все меня называете «князем»? Какой же я князь? Я совсем не князь». Варламов понял, что его «разыграли», густо покраснел, как это часто бывало с ним, и сразу нашелся: «Да ты мне лучше всякого князьенки! Почему же мне не называть себя так?» В конце концов выяснилось, что где-то во время гастрольной поездки по польскому краю во время великопостного перерыва — тогда

не играли в казенных театрах в течение всего великого поста, — Константин Александрович познакомился с ним и, конечно, по своему обыкновению, пригласил к себе: «Когда будете в Петербурге, то непременно ко мне... Прямо к обеду». Вот он и пришел к обеду, а Константин Александрович за это время успел уже забыть его.

А знаменитые варламовские «капустники»? Они приобрели большую известность далеко за пределами Петербурга. После спектакля за ужином всегда был у него народ, но большие приемы, кроме «капустников», устраивались Константином Александровичем еще два раза в год: в рождественский сочельник и под новый год. Они носили оригинальный характер. Какой-то налет «дедовского» уклада русской жизни. Под рождество сначала служились всенощная и молебен с водосвятием. Для этой цели из столовой — самой большой этой комнаты его квартиры — выносились столы, и только в правом углу, под развешенными образами, оставался ломберный столик, накрытый белой скатертью. На столе расставлялись также иконы в золоченых ризах, перед ними серебряная миска для освященной воды, небольшие серебряные подсвечники для восковых свечей. Священник с дьяконом облачались в светлые ризы; направо от стола располагался небольшой хор певчих в своих нарядных кафтанах. Комната наполнялась приглашенными. Их было не так много, но все же в достаточном количестве. Все больше старушки — артистки всех театров. «Мои подружки», — как называл их Константин Александрович, — да пожилые люди; молодежь же предпочитала приехать позднее.

Сам хозяин стоял обыкновенно в дверях кабинета, позади всех присутствующих, и усердно молился, часто становясь на колени. По окончании богослужения первый подходил Константин Александрович и благогозейно прикладывался сначала к кресту, а потом тут же, по обычаю христианского обряда, целовал руку священника, после чего дьякон окропляет его освященной водой. За Константином Александровичем следовали остальные. Торжественная часть сочельника закончена. Хозяин приглашает всех в другие комнаты, а дьякон окропляет святой водой стены всей квартиры.

В столовой в это время возня. Прислуга расставляет большой стол во всю комнату, а по сторонам — так называемые «музы-

кантские», почему-то излюбленные многими. Больше всех хлопочет Максим Ионович, маленький-маленький Карли, лилипут. Он был стяжатель и в достаточной степени зол, но почему-то излюбленный слуга Константина Александровича. Эксцентричности вообще свойственны были Варламову. Когда Максим Ионович порядком нажился около доброго хозяина, он не захотел оставаться на положении лакея, ушел от Константина Александровича, избрал себе какую-то иную профессию. Тогда Константин Александрович пригласил другого карлика, Андриюшу, но несколько крупнее прежнего, а потому и был менее к нему благосклонен. Максим Ионович знал себе цену, любил распоряжаться и доминировать в своей среде. С важным видом, облачаясь во фрак, он покрикивал своим лилипутским тенорком на всю остальную прислугу, приглашенную специально на данный вечер. Сервировался чай с пирогами, тортами, печеньями, вареньем, конфетами; ставились бутылки с десертным вином. Когда было готово, начиналась вторая часть торжества сочельника. Все чинно сидели за столом, где главным гостем был «батюшка» — священник из ближайшего прихода, в шелковой лиловой рясе, с наперсным крестом на груди. Чаепитие носило официальный характер. Было как-то торжественно, натянуто и говорили на самые банальные темы. К общему удовольствию, чаепитие было непродолжительно. Священник во время поднимался, благословляя хозяина, и со всевозможными пожеланиями встретить и провести хорошо рождественские праздники удалялся в сопровождении своего причта.

Но вот стрелка часов уже близка к двенадцати, звонки в передней все чаще и чаще — святки начались. Съезд в разгаре. То и дело появляются ряженые в пестрых костюмах. Они врываются шумно, с бубнами, трещотками, гармониками. В квартире полное оживление. Большинство заинтересовано, кто скрывается под масками: на этот счет догадки, споры; некоторые, чересчур любопытные, пытаются с иных сорвать маску, те не дают... Визг, хохот... Кто-то садится за роля. Начинаются танцы. Хозяин оживлен, доволен. ходит среди присутствующих в каком-то приподнятом, взволнованном настроении; то и дело раздается его характерный, раскатистый смех. Варламовский смех — орга-

ничный, весь от души, такой непосредственный.

А стол, на славу сервированный, уже накрыт, весь уставлен разнообразными закусками, графинами, наливками и бутылками вина. Хозяин занимает в конце стола председательское место. Все рассаживаются, «кому с кем любо», и приступают к обильному ужину. Хлебосольный хозяин зорко следил за тем, чтоб все угощались как следует. То и дело обращался то к одному, то к другому, предлагая положить на тарелку особо рекомендованные им блюда или выпить того или иного вина. За столом весело, шумно, оживленно.

К концу ужина, уже под утро, настроение у всех под влиянием выпитого вина еще более приподнятое. Когда все встали из-за стола, начались опять танцы. Протанцовали кадрили, а затем заиграли русскую. Хозяин не выдержал и взял себе в дамы Екатерину Николаевну Жулеву, знаменитую Хлестову, пустился с ней в пляс. Кольцом все обступили танцующую пару и восторженно аплодировали, в особенности, когда Варламов, помахивая платочком Жулевой, выкидывал в такт смешные антраша. А в дверях толпилась прислуга и умилялась, находя, что их старый барин танцует русскую куда лучше, чем молодежь. Словом, разыгралась сцена, точь-в-точь как на балу Ростовых из «Войны и мира» Толстого, когда старик Ростов также пустился при общем восторге присутствующих в пляс и вызывал умиление у домашней челяди, столпившейся на хорах зала, чтоб посмотреть, как веселится их барин.

Так обычно праздновалась у Варламова ночь под рождество.

Под новый год — почти та же картина, что и под рождество, только без всеночной и молебна. Приходили прямо к встрече. Но самая встреча нового года происходила очень торжественно, своеобразно, совсем по-варламовски, со свойственной ему ветхозаветностью. Чувствовалось во всем священнодействие. Новый год ожидался в столовой. С нетерпением следили за движением больших английских часов с музыкой, стоявших тут же у стены. Сверяли свои, ругали старый год и уповали на новый. Чем ближе стрелка к двенадцати — тем чаще раздавались звонки в передней.

Все прибывали новые и новые посетители. За несколько минут до перелома

нового и старого года вся столовая уже была полна. Кто-то пишет свои пожелания на новый год, а, чтобы эти пожелания исполнились, полагалось во время боя часов успеть проглотить написанное.

Но вот на подносах разносится шампанское, разбираются бокалы. Скоро новый год. Все сосредоточены, как будто совершается что-то важное в жизни. Наконец желанный миг настал: бьет двенадцать. Прежде всего направляются к хозяину, поздравляют «С новым годом, с новым счастьем». Константин Александрович со всеми троекратно лобызается, после чего, чокаясь и поздравляя друг друга, все направляются к столу.

На этот раз рассаживаются не «кому с кем любо», а каждый имеет свое определенное место и должен разыскать свою именную записочку, положенную перед его кувертом. Хозяин, как всегда, садился на свое место в конце стола. Ему приносятся все его драгоценности — бенефисные его подношения. Унижав все свои пальцы на руках драгоценными перстнями и украсив грудь бриллиантовыми, рубиновыми, изумрудными и жемчужными булавками, а на столе разложив перед собой золотые и серебряные табакерки и все, что нельзя было надеть на себя, — это для того, чтобы и в новом году жилось богато и счастливо, — Константин Александрович в таком виде, по-детски довольный, сияющий, садился за стол.

Как только заняли все свои места, Константин Александрович обращается к присутствующим: «А ну-ка, детки, посмотрите, что у вас под салфеткой!» А под салфеткой у каждого сюрприз. Никто не забыт. Все получили по новогоднему подарку — пустички по большей части, конечно. Но не в этом дело. Трогательно внимание.

Большинство новогодних сюрпризов Варламова, разумеется, — безделушки и, надо признаться, не очень-то хорошего вкуса, но чувствовалось, что все выбиралось с любовью и с учетом каждого из присутствующих. Иногда эти безделушки носили и игривый характер. Молодожены, например, находили у себя под салфеткой маленькую куклу в распашонке и маленькую медную ванночку: «Вот, мол, это ваше будущее дитё». На мою же долю, помню, досталось небольшое золотое колечко с камнем рябинового цвета под названием «гиацинт». Как оказывается, это камень моего

III. ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ДАВИДОВ

месяца, то есть месяца моего рождения (январь), и якобы он приносит счастье на сцене. А чтобы не быть голословным, Константин Александрович даже приложил табличку, где перечислены все камни, а против наименования каждого указано, какому месяцу он соответствует и какое значение имеет в жизни.

Я останавливаюсь так долго на обиходе жизни Константина Александровича с его своеобразными обычаями, привычками и интересами только потому, что тут весь Варламов, весь, так сказать, «домашний Варламов». Вот в такой обстановке, в таком окружении жил и творил великий Варламов. Он не был обижен судьбой. Судьба одарила его чрезвычайно щедро: природный большой ум, прекрасные внешние данные для его ролей, голос исключительный, как орган. А талант? Такого другого не было. Талантливее всех в труппе. Если его сравнить с другим большим актером — В. Н. Давыдовым, то Варламов, разумеется, по таланту сильнее Давыдова, а актер он был, правда, меньший. У Давыдова большой талант плюс культура. Он отделял свои роли детально, работал над ними долго. Все продумано и все закончено. А Варламов, наоборот, никогда не работал, не умел работать, все брал силой своего таланта, чутьем, интуицией. А потому не всегда играл законченно, а так... мазками, мазками необычайно сочными, но неряшливо. Культуры в нем было мало и не всегда даже был грамотен. Часто путался в падежах или путал значение слов. Например, не знал различия между словами учащий и учащийся. Для него в том и другом случае одно слово — учащийся. Если бы Варламову культуру, образование, с самого начала жизни поставить его на другие рельсы и дать другую атмосферу, другое окружение, — то это было бы явление мирового порядка, Сальвини в своей области. К слову сказать, вот афоризм Сальвини: «Труд — наполовину гений».

Запросов у Варламова больших не было. Мало задумывался. Плыл по течению, благо ему все улыбалось. При этих условиях надо было иметь силу его таланта, его богато одаренную натуру, ум, мудрость и чуткое сердце провидца, чтобы при его пренебрежении к своим исключительным данным, а тем паче при его складе жизни, остаться Варламовым.

Владимир Николаевич Давыдов был актер совсем иного порядка, чем Варламов. Нужно ли говорить, что и его талант, как и талант Варламова, был огромный, особенно в комедийном своем уклоне. Но отнюдь он не носил характера стихийного, необузданного, черноземного, взрощенного на свободе, как это было у Варламова, — нет. Все создания Давыдова — продукт парниковой культуры, изысканный, тонкий, хорошего вкуса, с ароматом апельсиновых насаждений. Все его роли, как было сказано выше, продуманы, отделаны, вполне закончены, что не лишало их яркости и сочности. Мне приходилось видеть тетрадки ролей Владимира Николаевича. Они все испещрены карандашными заметками. Вот наглядное доказательство большой, внимательной и тщательной работы над своими ролями этого крупнейшего артиста.

Впервые я увидел Владимира Николаевича Давыдова на сцене еще в мою бытность в Москве, на подмостках театра Корша. Это было в 1887 году, когда он из-за каких-то недоразумений с дирекцией петербургских императорских театров оставил александринскую сцену и перешел в Москву в театр Корша, где и пробыл сезон или два, а потом возвратился обратно в Петербург, в тот же Александринский театр.

Присутствие в труппе театра Корша такого серьезного артиста, как Давыдов, не могло не отразиться на характере данного театра, где преимущественно насаждался тогда легкомысленный репертуар. Но с появлением там Владимира Николаевича Давыдова все чаще и чаще стали даваться серьезные произведения, что не могло не привлечь внимания и другой части московской публики — горячих приверженцев «Дома Щепкина», — неохотно раньше посещавшей театр из-за его репертуара.

Владимир Николаевич быстро завоевал симпатии московских театралов, не всегда склонных признавать «чужого» актера. Чтобы прослыть «своим» у москвичей, долгий искус должен был пройти каждый актер, появившийся на горизонте театра.

Но Владимиру Николаевичу повезло. Если он тогда не стал еще вполне «своим», то талант его, во всяком случае, получил полное признание.

По настоянию Владимира Николаевича, у Корша была поставлена пьеса Сухово-

Кобылина «Дело». О Давыдове заговорили как об исключительном исполнителе роли Муромского, и в первую голову, как и всегда в подобных случаях, заговорил мой дядя, Сергей Андреевич Юрьев. «Талант-с, большой талант! Редчайшее дарование! Самарин, второй Самарин-с! Муромского играет первоклассно», — разносил молву по всей Москве Сергей Андреевич о «редчайшем даровании». И все ходили смотреть Давыдова.

Мне в ту пору не довелось видеть Владимира Николаевича в роли Муромского. Восхищался его Муромским уже в Петербурге, когда сам стал актером Александринского театра. У Корша же смотрел я в первый раз Давыдова в пьесе Ал. Потехина «Чужое добро впрок не идет». Играл он роль ямщика «Мишанки». В первые годы моего пребывания на Александринской сцене я неоднократно видал Владимира Николаевича в данной роли, и это дало мне возможность наиболее ярко запечатлеть в памяти одно из лучших созданий талантливого артиста.

Мишанка — лихой ямщик, молодой, беззаботный парень, душа нараспашку, широкая русская натура, но безвольный, легкомысленный, любит погулять и шикнуть «тройкой борзых своих коней», показать товар лицом. Слабостью его незлобивого характера пользуются злонамеренные люди и склоняют на преступление. В конце концов он опаматывается и приходит к заключению, что «чужое добро впрок не идет».

Владимир Николаевич хорошо знал и чувствовал русского человека, русскую жизнь во всех ее проявлениях. У него даже было какое-то пристрастие ко всему русскому, народному.

Мне приходилось наблюдать его в то время, когда он одно лето провел у меня в усадьбе. Бывало, в какой-либо праздник соберется деревенская молодежь на берегу реки и на лугу начнет танцевать и петь. Не было для него большего удовольствия, как пойти и присоединиться к их веселью. Тут он чувствовал себя как в своей среде, не внося ни малейшего диссонанса своим присутствием. Он им пел свои излюбленные, знаменитые давыдовские русские песенки, передаваемые им с исключительным мастерством и настроением. Они слушали его с восхищением, потому что чувствовали в них свое, родное, затрагивающее их душу. Да и теперь, когда я приезжаю в де-

ревню, некоторые из прежней молодежи превратившиеся ныне почти в старичков вспоминают песенку Владимира Николаевича, его излюбленную песенку — «Платочек».

Роль Мишанки ему сродни, он органически чувствовал широкую русскую натуру молодого парня, вот почему и его удача в ней.

Рассказ ямщика Мишанки из первого акта о том, как он лихо пустил свою тройку, наглядно изображая, как искусно он управлял ею, как лошади чувствовали и послушно повиновались малейшему движению его вожжей, как он приободрял их, помахивая, когда нужно было, кнутиком, передавался Владимиром Николаевичем артистично и производил захватывающее впечатление. Вы так и видели по всей его фигуре в ямском армяке, подпоясанном красным кушаком, и по протянутым вперед рукам, как будто крепко держащим туго натянутые вожжи, по осанке и слегка запрокинутой назад голове, по его горящим азартно глазам, как лихо мчалась, как бегло неслась тройка. Владимир Николаевич до того увлекательно и вдохновенно рисовал словами всю картину мчавшейся тройки, что и у зрителей начинало дух захватывать, как будто они сами неслись на тройке Мишанки.

Да и вся роль была выдержана до конца. Ничего нельзя было прибавить и ничего убавить. Народный говор был подлинный, ни малейшей подделки под бытовую, ни малейшей «передразнивания», как это часто случается на сцене, когда играют быт. И что особенно важно заметить и что вообще являлось присущей чертой творчества Владимира Николаевича Давыдова, — это отсутствие всякого «переплеска», никакой напряженности и подчеркивания, все в меру мягко, тонкими штрихами, но ярко, остро, запоминающе, будто бы всё как в жизни, а на самом деле — подлинное художественное создание, ничего общего с фотографией. А главное — вкус. Очень большой вкус художника. Некоторые сцены у автора полны натурализма, как, например, сцены разгула Мишанки. Боже ты мой, как бы ими воспользовались некоторые исполнители в погоне за дешевым успехом у публики! У Владимира Николаевича — ничего подобного. У него все в высшей степени мягко, тонко и эстетично. Вот идеальный образец реального исполнения на сцене.

Как жаль, что подобные созидания ушли от нас навсегда! Какой был бы урок для подрастающего поколения артистов!

Говоря о Владимире Николаевиче Давыдове как исполнителе главной роли пьесы, не могу по пути не захватить двух его партнеров, игравших брата Мишанки: у Корша — П. Ф. Солонина, а в Александринском театре — К. А. Варламова. Кто из них лучше по исполнению, трудно сказать. Оба лучше, как обычно говорят в таких случаях. Каждый по-своему. Они изображали деревенского парня, неотесанного, с виду придуковатого. У него малый запас слов, говорит больше междометиями и часто хохочет, но на самом деле весьма неглупый, даже мудрый, с чуткой душой. Он — совесть Мишанки и в критическую минуту помогает ему выбраться из трясины, в которой он завяз по своей бесшабашности.

Роль в высшей степени трудная. У автора превалирует внешняя сторона, более доходчивая до публики, с явным расчетом вызвать смех. Вся же сущность роли где-то под спудом характерных черт, рисующих, главным образом, житейскую неприспособленность образа. Оба исполнителя — как Варламов, так и Солонин — сумели раскопать, добраться до сути роли и дать, главным образом, всю привлекательность обаятельного, добродушного деревенского парня, пленяющего своей непосредственностью и чуткостью. Всю же оболочку роли они подавали с большим тактом, ненавязчиво, деликатно и тем самым достигали главного.

Такой прием их исполнения вполне сливался с игрой Владимира Николаевича, и между ними получался полный контакт.

Но вот в Москве целое событие. В театре Корша поставили «Горе от ума». Грибоедовская комедия не появлялась на московских сценах в течение целого ряда лет. После смерти Ивана Васильевича Самарина — прославленного Фамусова — она не возобновлялась в Малом театре. Театр Корша рискнул поставить бессмертную комедию, имея в своем составе такого артиста, как Давыдов, на роль Фамусова, и вызвал целую сенсацию среди театральной Москвы.

Надо отдать справедливость: комедия была поставлена с необычайной тщательностью. Нашлись и в высшей степени под-

ходящие и талантливые исполнители. Многие из них и теперь могут считаться образцовыми. Фамусова играл В. Н. Давыдов, Чацкого — П. Ф. Солонин в очередь с Рощиним-Инсаровым — последний прослыл лучшим исполнителем Чацкого, Софью — А. Я. Глама-Мещерская и А. А. Яблочкина, Лизу — Марьинова, Молчалина — Ив. Шувалов, а такого идеального Скалозуба, каким был Ив. Пл. Киселевский, мне до сего времени никогда еще не приходилось видеть. Я не застал Самарина Фамусовым, но старожилы театра, помнившие Самарина в Фамусове, находили, что Давыдов не ниже в данной роли, если даже не выше знаменитого артиста.

В то время, о котором идет речь (1887 год), я был гимназистом лет пятнадцати, а потому еще не вполне мог как следует разбираться в игре артистов. Не помню, какое и тогда сильное впечатление произвел на меня Давыдов в Фамусове. Потом, много лет спустя, когда в течение более 25 лет я был бессменным исполнителем роли Чацкого на сцене бывшего Александринского театра и почти всегда с Фамусовым-Давыдовым, впечатление мое оставалось таким же, и я с таким же восхищением воспринимал виртуозную его игру, отдавая себе уже более ясный отчет в актерском мастерстве.

Прежде всего необыкновенно угадан был артистом и выдержан до конца стиль самого произведения. Он писал акварелью свою роль, вырисовывая тонко, мягко все тончайшие оттенки, филигранно отделявая каждую фразу, как искусный ювелир. Монологи второго действия в сцене со Скалозубом — показательный урок чтения стиха вообще, а грибоедовского в частности. Он произносил текст легко, без всякого подчеркивания, без нажима, относясь серьезно к проповедям Фамусова, как будто это были его собственные убеждения, но под этим серьезом — очевидная ирония, ирония от лица уже самого художника, отношение его, Давыдова, к изображаемому им лицу. Поражало умение координировать эти две стороны, держать равновесие, что, к слову сказать, в настоящее время утрачено и редко встречается на нашей сцене.

Некоторые делали Владимиру Николаевичу упрек и, если хотите, справедливый. Находили, что его Фамусов — больше чиновник, нежели московский барин. Может быть, и так. Безусловно, в Давыдове было

меньше барина, чем, скажем, у А. П. Ленского в Фамусове, но тут уже дело личного понимания роли, а также и индивидуальных данных. Но, что бы там ни было, роль Фамусова у Давыдова — произведение классическое и останется крупнейшим созданием в истории сценического искусства.

В то же время в Москве я видел Давыдова еще в нескольких ролях, правда, мало значительных по своему удельному весу как литературный материал, но зато, как всегда, художественно выполненных.

Вскоре он вернулся в Петербург, и уже там, после большого перерыва, я встретился с ним, когда в 1893 году вступил в труппу Александринского театра.

В жизни Владимир Николаевич был на редкость обаятельным человеком. С самого первого моего знакомства с ним меня приятно поразило его обхождение и не только со мной лично, но, как я успел заметить, и со всеми. Такое простое, предупредительное и внимательное, причем без всякого подразделения на ранги. А надо заметить, чинопочитание в то время было изрядным и обычным явлением в театре. Его природный ум, остроумие, юмор, веселость, — все это ему придавало особое очарование. Он всю свою жизнь, до старости, отличался общительностью. Любил бывать на людях. Там только он чувствовал себя в своей сфере. Оживлялся сам и оживлял других. Помимо того что он был приятный собеседник и мог отзываться на самые глубокие и жгучие темы, он любил просто повеселиться и с присущим его таланту комизмом рассказывал всевозможные забавные истории, комические сценки и даже пел.

Вот пение было его слабостью. Он пел обычные русские песенки, старинные по большей части, любил варламовские — отца Константина Александровича, и пел прекрасно, никогда не давая полного голоса, чуть-чуть притушенно. С настроением, как в таких случаях говорят.

Но у него в репертуаре были и другие, пошиба цыганского, под гитару, так называемые «интимные песенки». Я, грешный человек, должен признаться, не очень-то большой охотник до «интимных песенок». Этот жанр редко доставляет мне удовольствие, а потому я никогда не был поклонником такого пения Владимира Николаевича.

Но зато те, до кого доходил этот жанр,

всегда восхищались, и Владимир Николаевич, окруженный тесным кольцом таких слушателей, с большим увлечением отдавался весь своему пению.

Что еще отменно выходило у Владимира Николаевича, так это его мимические сценки. Я другого такого подвижного лица, как у Давыдова, не знаю. Что только он не вытворял со своим лицом! Вот сейчас иезуит-ксендз, и мгновенно из ксендза — Плюшкин с беззубым ртом и острыми, бегающими, жадными глазами, а вслед за ним елейный и сладострастный щедринский Иудушка Головлев.

Но что бесподобно и даже, можно сказать, гениально выходило у него, так это «сценка в церкви», где он изображал любопытную старуху-богомолку. Он надевал на свою голову большую шерстяную шаль, закалывал ее под подбородком булавкой и тотчас же превращался на глазах у всех в подлинную старуху. Глядя на него, вы ни за что бы не сказали, что это не старуха. Какая-то была особенная способность перевоплощаться! Сценка сама по себе очень потешная: старуха стоит в церкви и самым усердным образом, медленно осеняя себя широким крестным знаменем, кладет поклоны и в то же время бормочет какую-то молитву. Вдруг привлекает ее внимание богатое платье на стоящей впереди нее женщине, и, не успев еще осенить себя полным крестом, уставилась она на это платье и вся замерла, полная любопытства: ей непременно хочется узнать, шерстяное оно или нет? Предварительно поспорив на этот предмет со своей соседкой, доказывающей, что платье отнюдь не шерстяное, она, чтобы убедиться в своей правоте, решает удостовериться наощупь: шерстяное оно или нет? Чтобы было не так заметно для близстоящих, она притворяется, что усердно молится, и, закатив глаза к небу, охая и вздыхая, бормоча молитву, кладет земной поклон и, прикоснувшись к полу лбом, ощупывает пальцами подол юбки. Убедившись, что действительно шерстяное, она поднимается, делая вид, что вся в молитве, и победоносно шепчет соседке: «Шерстяное!»

Виртуозно, с превосходным знанием быта и нравов, все это проделывалось Владимиром Николаевичем, обнаруживая исключительную наблюдательность артиста.

Существует фото Владимира Николаевича в таком виде, и каждый может воо-

чно увидеть его «чудесное» перевоплощение в старуху.

Любил он также петь куплеты. А его «Николя, вуаля-а-а» — своего рода шедевр. Все, кто видел Владимира Николаевича в подобном жанре, скажут, что он в нем поистине гениален.

Все это так. Но тут есть некоторые «но». Я не хочу отрицать право на существование такого жанра, но также никто не будет отрицать, что все эти сценки Владимира Николаевича предназначены для того, чтобы забавлять, потешать. А подobaет ли ему такая роль? Если бы все это было достоянием интимной компании, своей среды, между своими, — это одно. Почему не повеселиться? Но Владимир Николаевич всегда имел слабость демонстрировать такое свое искусство на людях, при посторонних или даже в общественных местах, — это другое дело. Имя Давыдова звучит гордо. Нельзя снижать его. От такого артиста, как Давыдов, нужно требовать идеи служения искусству. Ему не совместно забавлять, потешать. Мне, признаюсь, всегда было немного больно в таких случаях за большого артиста. Но что делать! Ведь у каждой медали есть своя обратная сторона, так и у каждого человека: как бы он велик ни был, будут свои недостатки, свои слабости. Владимир Николаевич, само собой разумеется, не был исключением из общего правила.

За кулисами он пользовался большим престижем, уважением и общей любовью, несмотря на некоторую неуравновешенность его характера, которая часто давала себя чувствовать в повседневной закулисной жизни.

С учениками своими, принятыми в театр, он держал себя как равный, как старший товарищ, и они относились к своему учителю с большим пиететом. Все они до конца оставались к нему неизменны и глубоко цтили его, несмотря на то, что им часто приходилось испытывать на себе не всегда ровный, несколько капризный, отличающийся даже подчас нетерпимостью характер. Он привык смотреть на них как на детей и не замечал, что эти дети выросли и становились великовозрастными.

Долгое время, например, он никак не мог примириться с тем, что Юрий Эрастович Озаровский, когда-то его питомец, в один прекрасный день был назначен режиссером Александринского театра. Вла-

димир Николаевич кипятился, нервничал, возмущался. В его голове не укладывалось, что как это Юрий Озаровский, его ученик, этот мальчишка-молокосос, у которого молоко еще на губах не обсохло (а, надо заметить, этому молокососу в то время уже стукнуло 40 лет), и вдруг он осмеливается быть режиссером! И в каком театре? Подумать только: Александринском. Шутка ли?

И возмущению не было конца: «Пожалуй, чего доброго, и меня осмелится учить», и так далее. Кончилось дело тем, что он не стал подавать ему руки и совершенно отрекся от него как своего ученика.

Владимир Николаевич был человеком в высшей степени самолюбивым, у него на этой почве развивалась подозрительность. С годами эта черта характера усилилась, дошла до болезненного состояния, и он сам, вероятно, немало страдал от нее. Ему все казалось, что его недостаточно ценят, отказывают во внимании и даже обижают. Постоянно настраивая себя на этот лад, гипнотизируя, он в конце концов начинал верить в эту свою навязчивую мысль, и она, надо сказать, в достаточной степени отравляла ему существование. Подобно тому как Ромео любил себя настраивать на мнимое страдание от любви к Розалинде, так и Владимир Николаевич любил растрavлять свои раны и чувствовать себя обиженным. Он, как капризный ребенок, упрямо стоял на своем, как бы логично вы ему ни доказывали противное, Тургеневская «кауровщина» сидела в нем крепко.

Часто это приводило к большим недоразумениям. Кто не помнит пресловутых «отставок» Владимира Николаевича? Сколько надо было употреблять усилий, чтобы уладить недоразумение! Но были случаи, когда он порывал с Александринским театром, к счастью, на короткое время, как это было с театром Корша.

Каждую весну при возобновлении контракта он бывал чем-нибудь недоволен дирекцией и «уходил»... По обыкновению, нервничал, брюзжал решительно на всех и на все, а, в конце концов, кончалось к общему благополучию, и он оставался. Только в последние годы своей жизни он снова «закинулся», не имея решительно к тому ни малейшего повода, и окончательно перешел в Московский Малый. Приезжал в Ленинград лишь на отдельные спектакли.

Надо прямо сказать, тяжелый был характер! А рядом с этим в нем, как это ни странно, уживался совсем другой Давыдов, необыкновенно милый, общительно-веселый, доброжелательный и даже скорее сентиментальный. Но великие люди оцениваются не по их недостаткам, а по их достоинствам. Так и с Давыдовым. Такое свойство его характера не мешало ему пользоваться общей к нему симпатией и глубоким уважением. Все смотрели на проявление такого его неуравновешенного характера как на причуды большого человека, с которым, так или иначе, надо было считаться. Обаяние таланта и не только одного таланта, но и обаяние его личности, несмотря ни на что, заставляло забывать многое, даже иногда совсем незаслуженные обиды.

Актерам свойственно желание играть не соответствующие их дарованию роли. «Тому мы тьму примеров видим». Мاستитый Пров Садовский, как известно, был характерный актер, преимущественно бытовой, но вообразил, что он трагик, захотел играть Лира и провалился. Василий Пантелеймонович Далматов, блестящий комедийный артист, знаменитый «герой-фат», обижался, когда ему говорили, что он незаменим в этом амплуа. Он был искренно убежден, что он неразгаданный трагик, и объяснял все свои неудачи в репертуаре трагическом полным непониманием публики, не доросшей до его исполнения. В. Н. Давыдов не был исключением из них. В свой бенефис поставил Шейлока, но, почувствовав свою неудачу, в конце концов отказался от Шейлока и от самой мечты играть такого порядка роли.

Если мы проследим всю актерскую линию Давыдова, то легко можно заметить его влечение к ролям драматическим и даже лирическим.

Обладая сценическим тактом, большим опытом и культурой, он, разумеется, не шокировал в этих ролях, но, тем не менее, не поднимался в них выше среднего уровня, тогда как в ролях высокой комедии он был тем Давыдовым, чье имя занесено крупным шрифтом на страницы истории русского театра. Фамусова действительно он любил играть, но всегда пенял на свою судьбу, что ему не довелось сыграть Чацкого. В своем кругу любил читать отдельные сцены и монологи из этой роли.

Стихом владел прекрасно, но что касается внутренней передачи, особенно

в интимных кусках роли, главным образом любовных, у него всегда была какая-то прямолинейность, все как бы «пропись». Слово «люблю» произносилось по всем установленным правилам французской консерватории, как у нас говорят — «высшей установленной интонацией»: слащаво-сентиментально. Общественный элемент в роли совершенно вытравлен. Правда, научиться и тут было чему. Редко кто так владел стихом, как Владимир Николаевич Стихом вообще, а в данном случае стихом Грибоедова.

В общем, Владимир Николаевич мог служить для каждого начинающего актера образцом, от которого многое можно было позаимствовать.

Давыдов принадлежал к разряду тех сценических деятелей, которые сознавали, что, для того чтобы обнять всецело капитальную роль, сгладить в ней все сильные и слабые места, сравнить светлые и темные ее моменты, соединить внутренней связью спокойные места с теми, которые полны движения, необходима предварительная работа, требующая спокойной головы. Отнюдь я не хочу сказать: холодной мысли, — нет. Но, вместе с тем, каждое инстинктивно возбужденное чувство, несмотря ни на какую интенсивность последнего, в тот же момент является достоянием сознательной критической мысли актера, и он оценивает каждый звук своего голоса, чувствует и мысленно видит свой жест.

Эта творческая сила сценического таланта обладает той чудотворной способностью, благодаря которой артист при глубоко потрясенном чувстве сохраняет спокойную ясность ума и сознательно переходит из чувства в чувство, следуя указаниям своей мысли. Словом, той способностью, в силу которой он, живя на сцене полнотой жизни изображаемого характера, созерцает его и мыслит о нем как об отдельном от себя объекте.

Сценический талант и обладает таким особым даром, который дает ему возможность в одно и то же время, так сказать, и чувствовать и не чувствовать, и отдаваться всему пылу вдохновения и спокойно рассуждать.

Людей, одаренных таким внутренним складом, мы и называем «талантом».

Владимир Николаевич Давыдов был одним из самых ярких представителей актеров такого порядка.

IV. АПОЛЛОНСКИЙ, ДАЛЬСКИЙ, ДАЛМАТОВ

В первый же сезон моего пребывания в Александринском театре я сыграл и Лаэрта в Гамлете. Роль эта перешла ко мне от Романа Борисовича Аполлонского, актера редчайших данных для ролей жен-премьера. Таких данных на амплу молодых людей или, как у нас называют, амплу «молодых любовников» после Мариуса Петипа я никогда ни на одной сцене не видел. Красоты неописанной! Правда, не совсем идеальная фигура, слегка расположенная к полноте, но, в общем, что называется «красавец».

При моем поступлении на Александринскую сцену я встал его двадцати семи или двадцати восьми лет.

Как раз накануне моего первого петербургского сезона он справил свой десятилетний юбилей.

Аполлонский не весьма котировался в Петербурге ни у публики, ни у себя в театре. Никак не могли забыть его предшественника, только что покинувшего александринскую сцену, Мариуса Петипа, роля которого ему приходилось играть. Трудно было ему заменить любимца петербургской публики, особенно на первых порах, когда он был еще мало опытен. Искали настоящего заместителя на стороне. Как раз в это время в Москве прозвучало имя Мамонта Дальского, блистательно сыгравшего в театре Горевой шиллеровского Дон-Карлоса, и Дальский был приглашен на александринскую сцену.

Мне думается, что Аполлонский незаслуженно терпел к себе такое отношение. Беда его в том, что ему тогда пришлось заменять Петипа, актера вполне сложившегося, и, конечно, сразу занять место своего предшественника молодой актер, делавший лишь только первые шаги на сцене, никак не мог. Положим, публике до того нет никакого дела: первые шаги у актера или нет. На образцовой сцене требуется образцовое исполнение. Публика не была виновата, что театр не имел тогда подходящего актера на данные, соответствующие роли. Но не виноват был и Аполлонский. Он шел своим правильным, самостоятельным путем, постепенно совершенствуясь, развивая свои прекрасные сценические данные.

Кроме того, усугублялось его положение еще одним обстоятельством. На него привыкли смотреть как на своего, да

еще притом попавшего случайно на драматическую сцену. А, как известно, «нет пророка в своем отечестве».

Действительно, случайность сыграла большую роль в судьбе Романа Борисовича. Дело в том, что Мариус Мариусович Петипа, блестящий любовник-фат, фаворит публики, из-за каких-то недоразумений с дирекцией казенных театров покинул александринскую сцену и перешел в Москву к Коршу. Заместителя ему среди александринцев не было. На стороне никого сразу не нашли. Тогда вспомнили о красивом юноше балетного училища, лет 17—18, который изредка выступал как любитель на клубных сценах. Решили его попробовать. Дали роль княжича в «Чародейке» Шпажинского.

Он сыграл ее, как говорили, для начинающего весьма добропорядочно, а главное — всех пленил своей внешностью. Стали ему поручать роли молодых людей, которые играл бы Петипа, если бы он остался в театре. Естественно, что Аполлонский не всегда справлялся с ними, но все же мало-помалу начинал завоевывать себе положение. Привыкал сам, и привыкали к нему. Были отдельные удачи, но полного признания не получил и долго еще носил на себе ярлык начинающего актера, подающего надежды, и не мог отделаться от этого своего ярлыка даже тогда, когда стал вполне определившимся и зрелым актером. Такова судьба всех на сцене, кто имел несчастье ходить с каким-либо ярлыком, навязанным ему публикой, необычайно в этом отношении консервативной.

Специальной школы Аполлонский не прошел, вырабатывался исключительно практикой, но при этом настоящих руководителей у него не было.

Все указания и советы его партнеров делались «на ходу», во время его работы, и носили случайный характер. Ему твердили только: «чувствуй» или добавляли к этому: «горячее, сильнее» — и только. Но как надо чувствовать, как подходить к этому чувству, никто не пытался объяснить или подвести к какой-либо системе. И вот он, стараясь «чувствовать», но еще не умея справиться со своим чувством, «рвался», искусственно будоражил себя, напрягался, а в результате — одна суетливость, какое-то дрожание всего тела и никаких форм.

Я первый раз увидел его на сцене, когда он был уже сложившимся актером.

Играл многие роли талантливо, хорошо, но все его недостатки, привитые бессистемными и случайными указаниями, все же давали себя чувствовать на каждом шагу, и это ему мешало.

Голос у него был превосходный — говорил приятным баритоном; он даже недурно пел. Голос у него был от отца, — он сын известного певца Тамберлика, — но для речи абсолютно не поставленный. В сильных местах его голос как-то дробился, разлетался брызгами. Интонации нечеткие, неопределенные, часто не отражающие содержание фраз. Словом, отсутствие школы и должного мастерства.

Тем не менее, при всех его недостатках он был все же хорошим актером, талантливым, и скажу, что теперь на его роли такого нет. В свое время он был недооценен.

На моих глазах он быстро рос, и были у него замечательные роли. Чаще — в современном репертуаре. Назову роль Леонида в пьесе Шпагинского «Темная сила», в пьесе «Золото» Немировича-Данченко и, наконец, князя Мышкина в передаче из романа Достоевского «Идиот». Он был лучший князь Мышкин из всех виденных мною.

Как это ни странно, но укрепил его репутацию как артиста Мамонт Дальский, актер много одареннее Аполлонского, и только потому, что не все роли в насаждаемом тогда репертуаре совпадали с индивидуальностью дарования Дальского и не все подходило к его внешним данным. Дальскому для таких ролей нехватало достаточного лоска. Он был грубоватили, попросту сказать, несколько вульгарен, тогда как Аполлонский имел в этом отношении все преимущества перед Дальским. Его стиль как раз для тех молодых людей, которых в то время так часто выводили на сцене.

К тому же он прекрасно одевался, всегда у лучшего портного, умел носить костюм, фрак, что редко тогда можно было встретить среди русских актеров. Одним словом, был изящен и производил приятное впечатление.

Когда Аполлонскому и Дальскому случалось играть в очередь одну и ту же роль подобного порядка, пальма первенства оставалась за Аполлонским. Это обстоятельство в достаточной степени его окрылило и дало возможность более твердыми шагами идти вперед.

Чацкого они играли оба плохо.

Один из них, Аполлонский, недостаточно вник в идею, в замысел пьесы и не учитывал ее общественного значения. Он подошел к роли слишком упрощенно и играл Чацкого так, как играл все салонные роли влюбленных молодых людей обычного его репертуара.

Другой же, Дальский, в роли Чацкого мало напоминал светского человека, был вульгарен, развязен, но отдельные монологи произносил сильно, с присущим ему темпераментом, талантливо, с умением произносить стих. А потому был более приемлем, чем Аполлонский, и местами производил некоторое впечатление.

Выработался же Аполлонский в большого, первоклассного актера, когда с годами перешел на характерные роли. Его Тарелкин в «Деле» Сухова-Кобылина — то, что называется «класс». А когда он сыграл профессора Сторицына в пьесе Леонида Андреева, то окончательно присоединился к созвездию могиканов нашей сцены.

Для меня несомненно, что Роман Борисович Аполлонский с самого начала своей карьеры нес в себе далеко неординарное дарование.

Превосходные сценические данные молодого, талантливого актера заслуживали большего внимания со стороны руководителей театра; они не сумели в свое время как следует культивировать их. Нельзя было ограничиваться одной только эксплоатацией его больших возможностей и предоставить их на волю беспризорной практики и именно в тот период его сценической карьеры, когда он наиболее нуждался в хорошем руководстве.

Аполлонский в конце концов вышел в первые ряды корифеев нашей сцены и этим обязан исключительно только самому себе.

Его rival, по выражению самого Аполлонского, Мамонт Викторович Дальский, был приглашен, как было сказано выше, из Москвы, после того как он прогремел в театре Горевой в роли шиллеровского Дон-Карлоса.

Я тогда, в 1889 году, семнадцатилетним юношей смотрел его в этой роли. Действительно, он играл Карлоса примечательно и заставил, благодаря своему исполнению, говорить о себе всю Москву.

Елизавета Николаевна Горева, популярная артистка провинции, не раз гастроли-

рвала не без успеха в московском театре «Парадиз», где теперь Театр революции. Выступала она в излюбленных своих ролях: Марии Стюарт, Жанны д'Арк, Мелен и Маргариты Готье. Несомненно, от природы талантливая, красавица собой, что называется *belle femme*, с большим темпераментом и прекрасным, сильным голосом. Играла всегда с захватывающим подъемом, горячо, но излишний ложный пафос, привитый ей в провинции, сильно вредил ее исполнению и мешал ей стать в ряды первоклассных артисток.

В 1889 году, с помощью материальной поддержки своей подруги Карпенко, она организует в Москве, в помещении, где теперь Московский Художественный театр, — свой — театр Горовой. Дело ставится на весьма широкую ногу. Художественным руководителем приглашается П. Д. Боборыкин.

В состав труппы привлекаются лучшие силы частных театров и провинции. Тут были такие имена, как Мариус Петипа, Александр Корн, Ильинский, Сашин (впоследствии видные артисты Малого театра), Рошин-Инсаров, Дальский, Константинов, Стрельский, Варравин, Анненкова-Бернар, Свободина-Барышева, Лоло и многие другие, не считая самой Горовой.

Для открытия — шиллеровский «Дон-Карлос». Дальский дебютирует в заглавной роли, Петипа — маркиз де Поза, Стрельский — Филипп II, Альба — Варравин, Королева — Анненкова-Бернар и т. д.

Поставлена была пьеса по тем временам роскошно. Декорации художника С. Соломко и по его же эскизам пышные костюмы. Дальский имел шумный успех, понравилась и Анненкова-Бернар, а остальные, к сожалению, были не на высоте: не было у них навыка играть классику, и театр с первого же апюга не был принят публикой. Дело усугублялось тем, что характер репертуара только что созданного театра дублировал Малый, где, при наличии выдающихся артистов как раз для романтики, подобные пьесы шли образцово.

Это обстоятельство невольно наводило на сравнение и далеко не в пользу театра Горовой. В результате всего, к новооявленному театру установилось недоверие, и он на первых же порах не делал сборов. Просуществовав два сезона, театр, потерпев полнейший материальный крах, должен был закрыться.

Но его постановка «Дон-Карлоса» сделала свое дело, она дала возможность выдвинуться такому артисту, как Дальский, до тех пор неизвестному широкой публике. Только его одного ходили смотреть. Заинтересовались молодым актером даже артисты Малого театра, признававшие только свой театр и своих актеров.

Мария Николаевна Ермолова, увидев Дальского в Карлосе, пленилась его талантом.

Однажды, как рассказывал сам Дальский, он зашел за кулисы Малого театра и там был представлен Марии Николаевне. Когда его подводили к ней, чтобы их познакомиться, она, издали указывая на нег всем присутствовавшим, якобы сказала: «Вот, вот эти глаза! Нам они нужны!»

Ермолова ратовала за приглашение Дальского в Малый театр, но он уже был приглашен в Александринский.

На меня его Дон-Карлос произвел до того сильное впечатление, что созданный им образ инфанта долгое время невольно ассоциировался с самим Дальским.

Особенно мне был памятен второй акт. Филипп на троне в ожидании инфанта, которому он назначил аудиенцию после долгой и настойчивой просьбы своего сына. Герцог Альба стоит в некотором отдалении от короля.

Хорошо помню, как стремительно вбежал Дальский-Карлос, весь полный юношеского порыва, полный доверия, счастья и благодарности за дарованную ему так долгожданную аудиенцию. И вдруг... мгновенно останавливался, заметив, что они не одни, что между ними, «между отцом и сыном втираться не краснеет» ненавистный ему Альба. И Дальский застыл на месте. Его сыновнее чувство оскорблено. Он не хочет верить, что отец решил выслушать его в присутствии злейшего его врага. Чтобы дать почувствовать королю, что в данную минуту ему «отца лишь нужно ненадолго», он нарочито-деловым, официальным тоном произносит:

Дело — вперед всего. С большой охотой
Министру Карлос первый шаг уступит:
Он говорит за государство, я —
Сын дома.

И Дальский быстрым движением направлялся к выходу, но на пороге его настигла фраза Филиппа:

Герцог остается здесь,
Инфант пусть начинает!

Тогда Дальский, как от внезапно полученной раны, с легким возгласом и каким-то особенным рефлекторным движением поворачивался в сторону отца и устремлял на него полный укоризны взгляд.

Видя, что король остается непреклонным, Дальский медленно подходил вплотную к герцогу и, полный презрения и внутреннего негодования, но отнюдь еще не повышая голоса, начинал стыдить его за унижительную и недостойную рыцарской гордости роль, которую он не гнушается играть (втираясь «меж сыном и отцом»), зная наперед, «что сын немало скопил для своего отца, что слушать третьему лицу не сто́ит».

К концу монолога негодование у Дальского разрасталось, и последние слова:

... Я б, ей-богу,
И хоть завись от этого корона,
Я эту роль играть не стал бы!

звучали у него сильно, уничтожающе.

После этого он почти бегом снова направлялся к выходу, но в этот момент раздавался голос короля:

Герцог,
Оставьте нас!

По уходе Альбы начиналась новая сцена. Отец и сын наедине. «Железная решетка этикета меж сыном и отцом лежит во прахе». Для Карлоса «теперь иль никогда» — все. В значении этих трех слов — вся его дальнейшая судьба. «Сладкие надежды его волнуют сердце». Он жаждет во что бы то ни стало примирения с королем-отцом. С королем — как принц, с отцом — как сын. То и другое — как воздух для него. Как сын, он никогда, с самого раннего детства, не знал, что такое родительская ласка, родительская любовь, лишившись еще при самом рождении своей матери. А отец? «Он только тогда его и видел, когда за шалость штраф ему он объявлял». И вот теперь он полон упования и надежд, что, припав на грудь отца, сумеет согреть родительское сердце. О, как он будет детски-пламенно любить его!

Карлос жаждет примирения с Филиппом не только как сын с отцом, но и как принц с королем.

Изгнав из родительского сердца, король отстранил его и от своего трона.

Я королевский сын, инфант испанский,
Я пленником каким-то был у трона.

И хорошо ль то было? Справедливо ль?
Как часто, о как часто, мой родитель,
Сгорал я со стыда, когда послы
Других держав, когда одни журналы
О новостях мадридского двора
Мне говорили! —

жалуется Карлос.

Вся надежда у него на примирение — с отцом-королем. Он хочет побороть свою страсть к мачехе, которая «права отца ужасно оскорбляет», и весь горит желанием заглушить преступную свою любовь призыванием к трону. «Сильно кровь хлопочет в его жилах» — он рвется к подвигам, его зовет история, слава предков. Он сознает, что ему «настало время отворить славы широкие ворота».

Фландрия — вот где он видит свое спасение и осуществление своих заветных мечтаний. Одна лишь Фландрия могла бы «вести его в храм славы».

Подавлять бунт в Брананте назначен Альба, «чтоб силой одуматься фанатиков заставить».

Мне, родитель, мне отдайте
Свой войска! —

умоляет Карлос.

... Меня фламандцы любят:
Я головой, я кровию своей
За верность их готов вам поручиться.

Но король остаётся глух к горячим мольбам своего сына.

Вот эта сцена развернула во всю ширь талант тогда еще совсем юного Дальского.

Он так был непосредственен в ней! Такой искренностью и трогательностью звучали его слова! Все время тут был перед вами нежный юноша, почти ребенок, был сын, жаждущий любви отцовской и тосящий по его ласке.

Я как сейчас его вижу, уютно примостившегося на ступенях трона у ног короля и нежно, со слезами на глазах, прижавшегося лицом к его руке. Каким теплом, мягкостью звучали его слова:

Зачем от сердца своего так долго
Меня отгакивать?

Я не дурной сын, право, не дурной,
Хоть вспыльчивость и часто на него
Клевещет, — сердце доброе во мне.

Впоследствии, когда я узнал Дальского ближе как человека, никогда не отличавшегося мягкостью и нежностью своего характера, я, припоминая его сцену с Филиппом, сначала недоумевал, откуда он брал такие, казалось бы, совсем несвой-

ственные ему краски. А потом, когда я пристальнее взгляделся в него, я понял и думаю, что не ошибусь, если скажу, что у Дальского это биографично. У него, по видимому, как у Карлоса, не было радостей семейных, так же он не знал родительской ласки.

Хотя он никогда не говорил о своем прошлом, всегда избегал этой темы и при первой попытке затронуть ее парализовал любопытство каждого даже из близко стоявших к нему людей, но как-никак, общаясь с ним, вы не могли не ощущать, что не все исходит от его натуры как таковой, что его грубость, а подчас и циничность есть результат склада его жизненного пути, мало благоприятного для правильного развития его природных данных. И немудрено, что вы часто узнавали в нем своего рода Гришку Незнамова, к слову сказать, исполнявшегося Дальским идеально.

Дальский был не чужд высоким порывам. Он всегда куда-то стремился, чего-то желал, о чем-то мечтал.

Вот чем я и объясняю его необычайное горение, когда он произносил монолог:

Двадцать третий год —
И ничего не сделать для потомства!
Я пробудился, встал. Призванье к трону
Стучит в груди, как строгий кредитор,
И будит силы духа...

Надо было видеть его в этой роли: глаза его светились огнем вдохновения. Он весь уносился куда-то ввысь. Он словно вырастал на глазах перед вами, вытянувшись весь в струнку. Его голос, как музыка, полная подъема, звучал увлекательно, и каждый зритель был в плену его властного темперамента.

Но, когда он понял, что отец попрежнему неумолим и что он ни на шаг не двинулся, Дальский весь поникал, казался рухнувшим, завядшим, бессильным. Но это только на один момент. Вдруг он снова загорался для новой попытки склонить отца на свою просьбу послать его во Фландрию вместо жестокого герцога Альбы.

Произносятся слова этого длинного монолога, полного отчаяния и мольбы:

... Ужасно
Обманутый во всех прекрасных грезах,
Уйду от вас я. Ваши Альбы, ваши
Доминги будут ликовать на месте,
Где сын во прахе плакал перед вами.
Не пристыжайте же меня! Не дайте
Посмешищем всей челяди придворной

Мне быть, чтоб не сказали, что чужие
От ваших милостей одни гучнеют,
Что Карлос вас и попросить не смеет!

Дальский в продолжение всего этого обращения к отцу медленно-медленно склонял колени и только в самом конце опускался перед тронном.

В его интонациях сначала слышалась мольба, потом отчаяние. Отчаяние сменялось настоятельными требованиями, когда он произносил:

... С опасностью навлечь
Гнев короля, я вас последний раз
Прошу — пустите во Фландрию меня.

А последняя фраза звучит у Дальского уже угрожающе и с такой силой, что заставляет Филиппа ужаснуться. «Стой, — кричит он, — это что за речи?»

Дон-Карлос-Дальский, прерывающимся голосом и вызывающе глядя на короля, со словами:

Вы не перебьете решения?
Ну, так и я покончил здесь! —

стремительно сорвавшись с места, быстро убежал какими-то прыжками дикого зверя, напоминая тигра или барса.

Захватывающий момент! Весь зрительный зал был взволнован силой напряжения этой сцены, и овациям Дальскому не было конца.

Должен сознаться, когда я играл роль Торольфа из «Северных богатырей» Ибсена в Московском Малом театре при первом моем дебюте, я позаимствовал у Дальского этот замечательный его уход. Изображая молодого Торольфа, этого молодого львенка, я, так же как и Дальский в Дон-Карлосе, убежал со сцены дикими прыжками, угрожая мстью оскорбившей меня Иоордис.

Впоследствии мне довелось видеть в «Дон-Карлосе» двух первоклассных актеров: Христиана из берлинского королевского «Шадшпильхаус», приезжавшего в Петербург с труппой Бока, которая всегда играла в Александринском театре во время великопостного сезона, когда русские театры на это время закрывались, и в одну из моих поездок в Берлин — знаменитого Кайнца, прославившегося в ролях Дон-Карлоса и Ромео.

Мне кажется, что всю роль оба артиста играли лучше Дальского, тоньше, да и внешне они оба ближе к представлению облика Дон-Карлоса. Но сцена Карлоса с отцом произвела на меня большее впечатление.

чатление в исполнении Дальского. Я и теперь, спустя слишком пятьдесят лет, отчетливо вижу, слышу его в данной сцене, как будто бы я смотрел его чуть ли не накануне сегодняшнего дня.

С тех пор Дальский был для меня всегда в каком-то ореоле, и я, вступив в труппу Александринского театра, с волнением ожидал встречи с ним.

Каково же было мое огорчение, когда я узнал, что он не только не в фаворе, а даже бойкотируется всем театром. Мне тогда тоже предложили присоединиться к общему решению труппы. Как новый член коллектива театра, разумеется, я не считал для себя возможным так поступить и не последовал такому предложению.

В первый день моего пребывания в театре на сборе труппы мне не удалось с ним познакомиться, но через некоторое время при встрече с ним я имел возможность подойти к нему и представиться.

Мне хорошо памятна наша не совсем обычная встреча с ним. Помню, когда я подошел к нему и назвал себя, он как-то странно и недоуменно остановил на мне свой пристальный взгляд, и, как мне тогда показалось, откровенно-дерзкий, вызывающий, как будто бы он хотел сказать им: «Да что вам собственно от меня нужно?»

Я смущенно стоял перед ним и не знал, как понимать его поведение, и думал, чего это он так ершится. Затем Мамонт Викторович, широко улыбнувшись во все лицо, протянул мне руку, и у него вырвалась фраза: «Так вот вы какой! А мне говорили, что вы приглашены для того, чтобы убить меня». Я, по правде говоря, не сразу понял, что он хотел сказать этой фразой, а потом догадался, что его «друзья», повидимому, старались запугать его приглашением нового актера на его ампула.

Видя, что я совсем еще птенец и совсем не похожу на убийцу, он, повидимому, успокоился, и я сразу почувствовал с его стороны приязнь ко мне, что и послужило началом наших добрых отношений, которые не прерывались в дальнейшем ни на один день.

Тогда же он пригласил меня завтракать к Палкину, когда-то модный ресторан на Невском, где теперь кино «Титан». За завтраком на балконе, выходящем прямо на Невский, мы, затрагивая порой общие интересы, долго беседовали и расстались почти друзьями.

С тех пор мы постоянно встречались. Он стал приглашать меня к себе. Тогда он жил на Пушкинской, в меблированных комнатах «Пале-Рояль». А потом, когда я устроился на квартире, он стал бывать и у меня. Я познакомил его с своей покойной матушкой, к которой он почувствовал большую симпатию и относился к ней с трогательной нежностью и почтением. Моя матушка отвечала ему той же симпатией, и Мамонт Викторович в короткое время стал у нас своим человеком.

Станный он был человек! Трудно было его разгадать. В нем уживалась масса противоречий, и противоречий в высшей степени крайних. В нем были сильны и добрые начала, к которым он временами сильно тяготел и любил отдаваться им, а наряду с этим — преступная порочность.

Мне известно было, что он вел самую безалаберную и даже можно сказать беспутную жизнь. Был человеком до крайности невыдержанным, недисциплинированным, заносчивым до грубости, до цинизма. В нем всегда были сильны анархические начала, к чему он в конце концов и пришел: в 16-м и 17-м году стоял во главе группы анархистов дачи Дурново. Страстный игрок, неудержный кутила, он имел склонность к авантюризму, вел какие-то темные денежные дела, всегда, между прочим, кончавшиеся крахом, обирал женщин — и все проделывалось им с необычайной легкостью, не ставя себе вопроса, честно это или нечестно. Словом, налицо полная аморальность.

Что же это: беспринципность или просто «цель оправдывает средства»? Я склонен думать, поскольку я мог его наблюдать, что скорее второе.

Беспринципность чаще у людей легкомысленных, безвольных, бесхарактерных, тогда как Дальского таковым нельзя было назвать. Напротив, он волевого характера. У него все шло отнюдь не от легкомыслия, а тем паче не от бесхарактерности. Полагаю, что тут дело обстояло сложнее и глубже. Таков установился его взгляд на жизнь: ни с чем не считаться и все попирать. Помните у Лермонтова: «Все презирать, закон людей, закон природы». Правда, у Дальского проявлялось все как-то слишком хаотично, беспорядочно, но стремление разрушать установленные каноны, не считаться с людской моралью проявлялось на каждом шагу, даже в мелочах.

Притом он всегда куда-то рвался, куда-то стремился, никогда не довольствовался настоящим, не знал, как и где применить свои силы. А отсюда и его постоянные метания. К несчастью, эти его метания и его неуравновешенность часто заводили на ложный и пагубный путь и уродовали его нравственный облик. А тем не менее, помимо его далеко недюжинного ума и яркого таланта, у него были все задатки, чтобы стать крупным человеком.

Я не знаю, как он рос, в какой среде, под каким влиянием складывались его характер и его мировоззрение. Он, как уже было сказано выше, никогда не говорил о своем прошлом. Он почему-то избегал этой темы и при первой попытке коснуться ее сейчас же переводил разговор на другое. Я только узнал от него, что настоящая его фамилия — Неслов, что у него есть два или три брата, точно не помню, один из них — актер, а также, по его словам, красавица-сестра. Она, как я потом узнал, пошла на сцену и была недурной артисткой. Вот и все. Это только и возможно было узнать от него о его прошлом.

Полагаю, что попади он с самого начала своей сознательной жизни в более или менее благоприятные условия и дай всем недюжинным задаткам, заложенным в нем, должное направление, то, надо думать, резонанс получился бы совсем иной, и нам теперь не пришлось бы упоминать о темных сторонах его жизни.

Александринцы его не взяли. На первых же порах он повел себя с ними вызывающе и тем восстановил против себя буквально всех. К тому же быстро облетела молва о его предосудительном поведении на стороне, и в довершение всего примешалась еще неприятная история с какой-то драгоценной тростью, якобы им присвоенной. Впоследствии как будто выяснилось, что это лишь недоразумение.

Вот этот инцидент, как компрометирующий корпорацию актеров, и послужил главным поводом или, лучше сказать, придиркой к его бойкоту в Александринском театре.

Я, грешный человек, сильно подозреваю, что сыграл тут роль не только упомянутый повод, а мне кажется, что у александринцев для его бойкота была и другая скрытая подоплека, в которой они сами себе не признавались, — это рев-

ность, ревность к его большому, шумному успеху. Дальский имел у публики ошеломляющий, ни с чем несравнимый успех. Хотя и уверяли, что этот успех — незаслуженный, дешевый успех, «галерочный», но, тем не менее, многим он был не по вкусу, и всячески старались, где только можно, дискредитировать Дальского и в прессе и в публике.

Доходило иногда до полного отрицания его как актера. Владимир Николаевич Давыдов, например, никогда не отличавшийся терпимостью, однажды, когда услышал мое мнение о таланте Дальского, разразился по моему адресу целой филиппикой, стал на меня кричать, выходить из себя и от волнения весь дрожал: «Какой же из вас выйдет актер, если вам нравится Дальский? Грош вам тогда цена после этого», — закончил он, весь задыхаясь, свою отповедь.

Конечно, такая оценка Дальского до нельзя пристрастна и неверна. Дальский — настоящий, подлинный талант и прекрасный актер на героические и характерно-драматические роли.

Дальский, разумеется, не мог не чувствовать такое к себе отношение со стороны своих товарищей по сцене и, по свойству своего характера, вел себя еще более вызывающе.

Разумеется, такое его поведение не могло способствовать примирению, а наоборот — еще более восстанавливало против него.

А как человека я знал его не только с дурной стороны. В нем было много хороших и интересных качеств. И я так думаю, что хорошее начало в нем и есть основа его богато одаренной натуры.

Он мог интересоваться и не только интересоваться, но и увлекаться большими вопросами, глубокими мыслями. В тот период он немало читал, любил классику, носился с книжкой афоризмов Гёте, считал ее своим евангелием. Многие из этих афоризмов знал наизусть и постоянно их цитировал. Когда он приходил ко мне, часто брал Шекспира или Шиллера и с увлечением читал отрывки из любимых ролей. И все это в скромной обстановке, казалось бы совсем не для Дальского, а за чайным столом, на который кроме какой-нибудь колбасы или сыра ничего не подавалось. Но в эти минуты был совсем другой Дальский — Дальский вдохновен-

ный художник, весь ушедший в сферу своего призвания большого актера.

В такие минуты он был прекрасен, и можно было ему простить многое. В такие минуты возникали у него интересные, оригинальные мысли и обнаруживалось глубокое содержание его как человека.

Помню, как-то после одного спектакля он зашел ко мне, и во время нашего чаепития я, памятуя его Дон-Карлоса, роль, которую я сам постоянно штудировал, попросил его прочесть ту сцену, в которой он произвел на меня наибольшее впечатление в Москве, — сцену Карлоса с его отцом. Он почему-то не захотел ее читать, а прочел из того же «Дон-Карлоса» сцену маркиза де-Поза с королем Филиппом. Прочел ее с таким подъемом, с таким увлечением и мыслью, что долгое время и я и моя матушка оставались под впечатлением его вдохновенного чтения и под обаянием его таланта.

Вот это — второе лицо Дальского, Дальского одухотворенного, восприимчивого, способного жить высшей духовной жизнью. Приходится только жалеть, что он так часто прорывался в сферу противоположную и враждебную ему, недостойную его богато одаренной натуры и которая в конце концов окончательно загубила в нем актера.

А как актер он, действительно, был исключительных сценических данных. Все было у него для ролей его ампула героя-любownika: хорошая фигура, выразительное лицо, красивый, сильный голос, могучий темперамент. Не тот необузданный темперамент, который зачастую довлеет над актером, — нет. Он умел и подчинить его своей воле, и владеть артистическим покоем. Но, к сожалению, не сумел вполне воспользоваться своим богатством, щедро ему отпущенным природой. Слишком он был для этого хаотичен, сумбурен, недисциплинирован и необуздан.

Вся жизнь его прошла под знаком «Гений и беспутство». Он был, несомненно, человеком и от искусства. В нем сидел настоящий художник. Он умел загораться, когда говорил о театре, о пьесах, о ролях. Над ролями своими он работал, но никогда не работал над собой, над своими данными, никогда отдельно не тренировал их.

Не замечал своих недостатков, а ему, зная его характер, никто не смел говорить о них, что давало возможность им укреп-

ляться, а рядом с этим не тренировались и положительные стороны его таланта, и потому они постепенно теряли свою восприимчивость и гибкость.

Я застал Дальского в полном расцвете его сил. Меня положительно увлек этот актер. Его творчество было ближе мне по духу, чем творчество многих корифеев александринской сцены. В нем было много романтизма, который я впитал в себя еще в стенах Московского Малого театра. Он дал мне много хороших минут.

На александринской сцене я увидел его в первый раз в роли Гамлета, исполняя рядом с ним Лаэрта.

Два актера тогда играли Гамлета в александринском театре: Далматов и Дальский. Играли они в правильную очередь. Оба — первоклассные актеры. Кто же из них был интереснее в роли принца датского, кому из них дать пальму первенства?

«Если б к носу Ивана Ивановича приставить» и т. д. В данном случае эти гоголевские слова с большим успехом можно было применить и к этим двум артистам.

Василий Пантелеймонович Далматов был странный актер, большой актер, но странный.

В комедийных ролях — он непревзойденный художник. Помимо четкого образа, — это, впрочем, всегда у него, — столько тонкого юмора, иронии, легкости и неожиданных интонаций.

И, наоборот, в ролях трагедийных, героических — речь тяжелая, спотыкающаяся, с разрывом отдельных слов и делением их по слогам и притом такой невнятной дикции, что часто нельзя было разоб- рать, что он говорит. Такова была его манера произносить, когда он играл трагедии.

И курьезнее всего, что такая его манера касалась исключительно трагедии. Совершенно непонятно, почему это так было у него.

А, между тем, рисунок роли, самый образ, внутренняя прокладка его отличались всегда богатством содержания, глубиной, яркостью, сочностью, монументальностью и даже дерзновением. Ничего избитого, шаблонного, а тем паче никогда пошло-актерского. И, тем не менее и что досаднее всего, слушать его в это время было прямо невыносимо.

Только иногда вдруг прорвется у него какая-нибудь фраза, слово или интонация

так необыкновенно, самобытно и с такой глубиной, что навсегда проникнет в ваше сердце и западет в вашу память.

Так это было у него, например, с фразой Лира: «Ничего? Из ничего и выйдет ничего». Он произносил эти слова как-то особенно, трудно даже и объяснить, как он это делал. Надо было самому видеть и слышать, а словами не передать.

Вы только чувствовали в это время, что он весь ушел в себя. В голове его никак сразу не хотело укладываться услышанное им из уст его любимой дочери неожиданное для него слово «ничего», и он недоуменно повторял это «ничего», как бы только для самого себя, как будто это слово было для него совсем новое, незнакомое и он силился понять лишь смысл, значение его, произносил его совсем тихо, спокойно, совершенно просто, еще не облакая его каким-либо личным чувством, и совершенно объективно. А потом, после некоторой паузы, так же тихо, спокойно и объективно, как делают обычно простой логический вывод, не задевающий его лично, добавлял говорком: «Из ничего и выйдет ничего». Затем следовала длительная пауза, во время которой, приковав свой взгляд к Корделии, медленно выпрямлялся во весь рост, и вы видели по выражению его лица и по всей выроставшей на ваших глазах фигуре, как постепенно в его сознание проникал созданный его воображением смысл злополучного слова «ничего» и как он весь с ног до головы наполнялся гневом, захватившим все его существо.

Этот момент у Далматова — сальвиновский момент. Но у Далматова в героических ролях такие моменты редки, а остальное все шло в обычной его манере.

Толкование роли, сложность переживаний, углубленность внутреннего мира датского принца, наконец самый облик Гамлета, прекрасный, одухотворенный, — все у Далматова было чрезвычайно интересно, увлекательно, но, к сожалению, в такой невозможной манере говорить, что и половину слов не разберешь. И в конце концов вся сущность роли поглощалась и тонула в его досадных дефектах. Немудрено, что он в Гамлете успеха не имел, как и вообще в ролях подобного репертуара.

Наоборот, другой Гамлет — Дальский имел огромный, шумный успех. И не потому, что он был многим лучше перво-

го, — нет, а потому, что он был более приспособлен к таким ролям.

Все духовное содержание образа и весь внешний облик далматовского Гамлета куда был интереснее, содержательнее и благороднее, чем Дальского, но зато у Дальского прекрасный, сильный голос, хорошая читка и все приемы, все, так сказать, «проводнички» между зрительным залом и сценой у него облакались в эффектные формы, понятные и доступные. В этом отношении он был сценичнее Далматова.

Но зато сущность роли была куда примитивнее и поверхностнее, чем у его предшественника. Словом, недоставало глубины, сложности, многогранности содержания. Вся роль была построена на внешних актерских приемах, всегда доступных публике.

Но, тем не менее, из ряда вон выдающийся талант, большой темперамент, способность быстро загораться, в сильных местах захватить публику, увлечь внезапным порывом искупали многое и способствовали большому успеху даровитого артиста.

Самые удачные места у Дальского в Гамлете — это монолог «Что ему Гекуба» и сцена «Мышеловки».

Монолог «Что ему Гекуба» — пожалуй, самый удачный момент у Дальского в роли Гамлета. Он произносил его с большой эмоциональной силой. Эмоциональность вообще была присуща Дальскому. Она была как бы его сферой, где он чувствовал себя легко, свободно, во всю ширь своих больших творческих возможностей.

Так и в данном случае. Монолог «Что ему Гекуба» по своему характеру и содержанию давал полную возможность Дальскому применить свое ценное качество, которым отличался его талант.

После приема комедиантов Гамлет довольно недвусмысленно спроваживает назойливых Розенкранца и Гильденстерна, чтобы остаться одному со своими тяжелыми думами.

«Вот я один теперь», — вырвалось у Дальского по уходе подсланных к нему соглядатаев с таким облегчением, как будто пуды спадали с его груди, мешавшие дышать свободно.

После этого он на минуту задумывался, уходил в себя, стоял неподвижно, смотря некоторое время в одну точку. В таком состоянии он и начинал свой монолог.

Начинал он тихо, почти шопотом, медленно, без движения, мучительно подвер-

гая анализу каждую мысль, каждое отдельное положение, разделяя их короткими паузами. И так до слов:

О, что же сделать мог бы он, когда б
Имел такой призыв могучий к страсти,
Как я имею?

Тут Дальский переключался и давал полный простор своему большому темпераменту, наглядно иллюстрируя только что произнесенные им слова о его могучем призыве:

... Он театр бы залил

Морями слез, он растерзал бы слух
У зрителей, виновных свел с ума,
Сердца невинных трепетать заставил,
Всех поразил бы и увлек.

Эти фразы звучали у Дальского с такой мощной силой и с таким размахом и движением тона, что вы воочию убеждались, что, действительно, его Гамлет способен всех увлечь и поразить.

Но тут же брали верх и сменяли порыв другие гамлетовские начала, парализующие его активные действия. И Гамлет-Дальский с необыкновенной силой начинал бичевать себя за слабость, за свою неспособность возвысить голос за своего любимого отца, «лишенного так гнусно жизни драгоценной». В конце концов, он доходил до полного иступления, до полного неистовства, произнося слова:

Не то давно бы датские вороны
Клевали тело этого мерзавца...
О, кровожадный, подлый проходивец,
Бессовестный, коварный и распутный
Мерзавец!

Доведя себя до полного каления, до самого высокого градуса напряжения, Дальский впадал в реакцию. Осуждая себя, он, вместо того чтобы мстить злодею-королю, облегчает весь наболевший груз души словами, ругаясь как базарная «торговка», и с фразой: «О, как это мерзко... фа!», бросался на ступеньки близстоящего трона и рыдал.

После довольно длительной паузы Дальский вставал уже более собранным и призывал себя «к делу». «Ну, к делу, к делу, мои мозги!» — произносит Гамлет, приступая к обдумыванию плана «Мышеловки».

Театр ловушкой будет, западней;
Она захлопнет совесть короля, —

заканчивает Дальский твердым, волевым тоном, соблюдая стиль концовок многих сцен шекспировских трагедий.

Сцена «Мышеловки» — подъемная сцена у Дальского. Она велась им в традициях мочаловской трактовки и его исполнения Вероятно, Мамонт Викторович, когда работал над ролью Гамлета, строго руководствовался статьей Белинского, где подробно изложена трактовка данной сцены великого трагика в дни, когда он бывал «в ударе».

Вот, как мне кажется, почему, глядя на Дальского в «Мышеловке», вам невольно вспоминался Мочалов в Гамлете, таким, каким нам дал его Белинский.

Дальский шел по его стопам в данной сцене. Полагаю, что всем, кто интересуется театром, хорошо известна пламенная статья Белинского о мочаловском Гамлете, а потому считаю излишним подробно останавливаться на сцене «Мышеловки» в исполнении Мамонта Викторовича Дальского.

Вся суть только в том, насколько Дальский в ней мог приблизиться к своему генальному предшественнику в смысле внутреннего горения.

Мы должны верить знаменитому критику, по словам которого вдохновенный гений Мочалова поднимался иной раз на недостижимую высоту. Дальский — не гений, а лишь только большой талант, и мы далеки от мысли, чтобы, руководствуясь статьей Белинского, в какой-то мере делать попытки к сравнению Дальского с величайшим трагиком русской сцены.

Но справедливость требует сказать, что и Дальский, вышивая по канве Мочалова, давал в своем Гамлете много ярких, вдохновенных, подъемных моментов, полных захватывающей силы.

Когда современники Дальского говорят о нем как об актере, то непременно в первую голову упоминают о его Рогожине.

Оно и понятно: Рогожин Дальского — непревзойденное создание и может считаться не только лучшей его ролью, но и занять почетное место в первых рядах совершеннейших достижений корифеев нашей сцены.

Такая исключительная удача явилась, как мне кажется, не только результатом его недюжинного таланта, но, несомненно, здесь громадную и чуть ли не главную роль сыграли в совокупности и все его данные, как актерские, так и лично человеческие.

Редко бывает такое совпадение, когда у актера все так придется «по мерке», как в данном случае у Дальского в Рогожине.

Не говоря уже о его физических данных, но и сущность его, его внутренняя природа, мироощущение — все ему тут сродни.

Было видно, что Дальскому как актеру не стоило большого труда обнять в полной мере всю роль и с первой же сцены, сразу попав на верные рельсы, пустить ее на всех парах и увлечь за собой зрителя, заставляя его с затаенным дыханием следить за всеми фазами развития душевной драмы своего героя.

Для тех, кто видел Дальского в данной роли, я убежден, образ Рогожина при чтении самого романа всегда будет ассоциироваться с образом, данным на сцене Дальским, — так они органически слились между собой и претворились друг в друга.

Припомним, как рисует автор хотя бы внешность своего героя:

«Двадцати семи лет, курчавый и почти черноволосый, с огненными глазами. Тонкие губы непрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку. Крепкое телосложение. Что-то страстное до страдания, не гармонировавшее с нахальной и грубой улыбкой и с редким самодовольным видом».

Вот портрет Рогожина, данный самим автором. Если бы кто-либо захотел совершенно объективно, без всякого пристрастия, написать портрет Мамонта Викторовича Дальского, то все сказанное Достоевским по поводу характеристики его Рогожина можно было бы с точностью, без всякого изменения, применить и к облику Дальского.

Все это больше касается внешности. А вот что говорится о сущности Рогожина:

«У него во всем страсть, все он до страсти доводит. Этот человек должен сильно страдать. Рогожин часто клеветает на себя: у него огромное сердце, которое может и страдать и сострадать. «У тебя, Парфен Семенович, — говорит Настасья Филипповна, — сильные страсти, такие страсти, что ты как раз бы с ними в Сибирь, на каторгу улетел, если бы у тебя тоже ума не было, потому что у тебя большой ум».

«У Рогожина, — говорится в другом месте о нем. — не одна только страстная душа: это все-таки боец. Ему до мучений теперь нужно во что-нибудь верить! В кого-нибудь верить!»

Все, что здесь приведено о Рогожине, несомненно перекликается с тем, что нес

в себе и Дальский. Он, как и Рогожин, всегда жил настоящей минутой, отдаваясь со всей страстью своей широкой, необузданной натуры, отдаваясь тому, чем жил в данный момент.

Вот почему такие исступленные всплески Рогожина, как: «Не подходи! Моя! Все мое! Захочу, всех вас куплю! Все куплю», или, после того как Настасья Филипповна бросает в камин свертки с его ста тысячами, а он повторяет поминутно: «Вот это так королева! Вот это так по-нашему!», а также характерное для Рогожина: «Так бери же если судьба! Твоя! Помни Рогожина!», выходили у Дальского органично, стихийно.

Рогожин и Дальский — одной породы. Оба они из одного теста, одной, как говорится, фактуры, делая при этом, разумеется, поправку лишь на разницу происхождения, воспитания и среды, окружающей их.

Но, тем не менее, Дальский и в этом отношении сумел наложить на свою роль подходящий колорит. Колорит обитателя дома, потомственного гражданина Рогожина.

Весь облик Дальского — в серой поддевке, отороченной черной мерлушкой, в высоких сапогах, курчавый, «черномазый», с загадочными, сверкающими, огненными глазами, с «неделикатной» усмешкой на своем бледном лице, с размашистой, вызывающей, ни с чем не считающейся повадкой, как нельзя более сочетался с мрачной таинственностью рогожинского дома. Во всей видимости Дальского было что-то мрачное, бурливое, чувствовалось какое-то кипение в груди его, рвущееся на волю из-под спуда каменного мешка, этого полного мрака дома, где «все как будто скрывается и таится».

Вот, по словам Достоевского, каков был этот дом:

«Дом этот по Гороховой улице был большой, мрачный, в три этажа, без всякой архитектуры, цвета грязного. Строен он прочно, с толстыми стенами и чрезвычайно редкими окнами; в нижнем этаже окна с решетками. Большею частью внизу меняльная лавка. Скопец заседает в лавке, нанимает вверху. И снаружи и внутри как-то негостеприимно и сухо, все как будто скрывается и таится, а почему так кажется по одной физиономии дома, — было бы трудно объяснить. Архитектур-

ные сочетания линий имеют, конечно, свою тайну».

«Все как будто скрывается и таится», — говорит Достоевский. — «А почему так кажется, было бы трудно объяснить», — добавляет он. А, между тем, это так, и не только архитектурные сочетания линий имеют свою тайну, но эта тайна проявляется во многом. Так и на Дальском в роли Рогожина отпечатывалась эта тайна. А почему? Трудно объяснить, скажем мы за Достоевским, но полагаю — потому, что он чувствовал, откуда он взялся, чувствовал, что он сын своего отца, что он ощущал за спиной своей все прошлое, весь уклад рогожинской жизни, скучный, давивший его всю жизнь каменный мешок рогожинского дома, где прошли его детство, юность и где настигла его молодость. Каждая среда, каждая профессия накладывает свою печать на человека, и мы по тем или иным характерным ее признакам почти безошибочно угадываем и социальное положение и род занятий его.

Здесь, как мне кажется, и кроется разгадка, почему от Рогожина-Дальского так ведало специфичностью этого большого, мрачного цвета дома «потомственного почетного гражданина, старика, отца Рогожина, по Гороховой улице, с его меняльной лавкой» и традиционным в ней хозяином — скопцом.

Такую его специфичность остро чувствовал в Рогожине и князь Мышкин: «Если бы не было с тобой этой напасти, — говорит он ему, — не приключилась бы эта любовь, то ты, пожалуй, точь-в-точь как твой отец бы стал. Засел бы молча один в этом доме с женой, с редким и строгим словом, ни одному слову не веря да и не нуждаясь в этом совсем и только деньги молча и сумрачно наживая... Да и двухперстным сложением заинтересовался бы, да и то разве к старости»...

Что касается моего личного восприятия, то я должен сказать, что когда мне вспоминается Дальский в этой коронной его роли, то прежде всего он встает в моей памяти совсем не в те моменты, в какие он фигурировал на сцене, а в моменты, никак не затронутые автором переделки романа, и всегда в сочетании с его домом или,

точнее сказать, не с его, а рогожинским домом, где «все как будто скрывается и таится». И главным образом там, где фигурируют его глаза, в которых, как и в доме его отца, «все как будто скрывается и таится». А прежде всего те самые глаза. пытливые, жуткие глаза, ревниво устремленные на Мышкина из окна своего таинственного рогожинского дома.

«Эти глаза то там, то здесь, совершенно неожиданно для князя Мышкина, устремлялись на него и инстинктивно, даже на расстоянии, всегда ощущались им, когда сам Рогожин оставался для него совершенно незамеченным. Он только чувствовал эти глаза. Они действовали на него с какой-то непонятной, почти гипнотической силой, болезненно отзываясь на нем. И он часто, внезапно обернувшись в сторону, где находился его взгляд, ловил на себе глаза Рогожина. Так это было, например, когда, выходя из вагона, Мышкин поймал на себе совершенно таких пару глаз и долго потом не мог отделаться от болезненного, жуткого впечатления, от пронизывающего его насквозь взгляда».

В этих словах весь Рогожин целиком и до конца. Таким живет во мне и Дальский, когда я вспоминаю его в Рогожине.

Вся сумма его исполнения сосредоточена в характерном его облике, от которого, как говорится, «Русью старой веет». Удалая, бесшабашная, широкая натура, не знающая себе удержу и глубоко страдающая, когда встречает на своем пути преграды. Во всем, если хотите, налет, наследие какой-то «спритчины». Но у него огненные, сверкающие, острые глаза бурно страдающего человека, отражающие все, что «таится и скрывается в нем». Через них проникаешь вглубь его мятущейся, трепетной души и читаешь все перипетии мучительно переживаемой им драмы.

Вот таким Рогожиным запечатлелся у меня Дальский в несомненно лучшей роли всего его репертуара.

Для меня, — и я знаю, что не только для меня, но и для многих, — Дальский в роли Рогожина — не что иное, как Рогожин Достоевского; и наоборот Рогожин Достоевского — не что иное, как Рогожин Дальского.

Адам Мицкевич

АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ

Я выплыл на простор степного океана;
Ныряет в зелени, в безбрежности лугов
Возок мой, словно челн, плывя среди
цветов
И мимо островов коралловых бурьяна.

Уж сумрак пал. Вокруг — ни шляха,
ни кургана.
Я в небе звезд ищу, челну проводников.
Там облако блестит? Там луч взойти
готов? —
То вспыхнул над Днестром маяк
у Аккермана.

Постой! Какая тишь! Чу! Слышу:
журавли,
Которых соколы б увидеть не смогли;
Внемлю, как мотылек в траве шуршит
и вьется,
Как скользкой грудью уж касается
земли.
Услышать зов Литвы так жадно сердце
рвется
В такую тишь... Но нет! Никто
не отзовется!

*Перевод с польского
Сергея Советова*

Это замечательное произведение великого польского поэта неоднократно привлекало к себе русских переводчиков. В 1827 году П. А. Вяземский своим прозаическим переводом впервые познакомил русского читателя с этим сонетом. До наших дней было опубликовано 20 переводов разной силы и поэтического достоинства. Последний, 21-й по счету, перевод С. С. Советова безусловно принадлежит к числу удачнейших.

История возникновения сонета до сих пор мало освещена. Известно только, что «Аккерманские степи» будто были написаны на хуторе некоего Мархоцкого, с которым поэт направлялся из Одессы, где он был в ссылке, в Аккерман.

Мицкевич, один из организаторов студенческого движения филематов, направлялся в Аккерман к только что приехавшему туда Серафиму Гацискому, сообщившему поэту о полной ликвидации движения. Эта печальная весть отразилась в последних словах сонета. «Аккерманские степи» оказываются не только картиной природы южной степи, но и документом политической деятельности Мицкевича.

П. Берков

МЕЛЕХОВЩИНА

1

«Тихий Дон» и по размеру своему, и по историческому охвату, и по художественному мастерству — наиболее крупное произведение советской литературы.

В романе изображена история казачества в течение бурного десятилетия с 1912 по 1922 годы. Именно об этом периоде Ленин (в другой связи) писал:

«Только десять лет прошло с тех пор! А прожито по содержанию борьбы и движения за это время — лет сто» (Соч., т. XXVII, стр. 292, статья «К десятилетнему юбилею «Правды»). Особенно остра была эта борьба на Дону, особенно глубоки — совершившиеся здесь изменения. О десятилетии, равном столетию, о переломе исторической судьбы и унастроения самого реакционного сословия и поведал нам в своей эпопее Шолохов.

Целые века донское казачество было оплотом царизма; в годы гражданской войны оно стало оплотом белогвардейской контрреволюции; бывшая Область Войска Донского сыграла роль «русской Вандеи». И в романе наибольшее место отведено гражданской войне. Однако писатель своей задачи этим не ограничил. В начале романа описаны казачий быт и нравы в старые, довоенные годы, а в конце романа показан не только военный разгром белогвардейщины, но и изживание контрреволюционных настроений в казачьей массе, начавшийся ее поворот в сторону советской власти.

Эти «начала» и «концы», предъистория гражданской войны на Дону и ее эпилог нужны были Шолохову затем, чтобы со всей наглядностью и художественной убедительностью вскрыть истоки контрреволюционных настроений казачества, уяснить историческую закономерность противона-

родного движения на Дону в годы гражданской войны. Вместе с тем, «начала» и «концы» нужны были затем, чтобы показать те внутренние, подспудные силы, обрисовать те укорененные в сознании и психологии, в уме и сердце трудовых людей нравственные качества, которые помогли земледельцам-казакам, хотя бы с большим опозданием и после обильно пролитой крови, все же соединиться с революционным народом в его борьбе за правое дело.

Такой идейно-художественный замысел автора обнаруживается уже в двух эпиграфах, поставленных на первой странице первого тома как преддверие всего романа:

Не сохами-то славная земляшка наша
распахана.
Распахана наша земляшка лошадиными
копытами.
А засеяна славная земляшка казацкими
головами.
Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовам
Цветен наш батюшка тихий Дон сиротами,
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими,
материнскими слезами

Ой ты, наш батюшка, тихий Дон!
Ой, что же ты, тихий Дон, мутнёхонек течешь?
Ах, как мне, тиху Дону, не мутну течи?
Со дна меня, тиха Дона, студёны ключи бьют.
Посередь меня, тиха Дона, бела рыбица мутит!

(Старинные казачьи песни)

Оба эпиграфа служат авторским указанием на характер темы и ее развитие. Первый эпиграф предвещает повесть о кровавых боях, с чувством боли и горечи говорит о павших в бою храбрцах. В песне звучит нота грусти и самого автора: он любит Дон и буйные казачьи головоушки, сочувствует молодым вдовам и сиротам. Казаки — часть великого русского народа и не худшая его

часть: в них есть красота и доблесть, вдохновляющие автора.

Этим настроением проникнуты все четыре тома эпопеи — величавой и поэтичной, как река Дон, омывающая казачьи земли, многоцветной и ароматной, как донская степь. В одном месте, в третьем томе, это настроение прорывается взволнованной авторской речью, которая сама звучит как песня:

«Степь родимая! Горький ветер, оседающий на гривах косячных маток и жеребцов. На сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-солёный запах, жуёт шелковистыми губами и ржет, чувствуя на них привкус ветра и солнца. Родимая степь под низким донским небом! Вилюжины балок, суходолов, красноглинистых яров, ховыльный простор с затравевшим, гнездоватым следом конского копыта, курганы в мудром молчании, берегущие зарытую казачью славу... Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей нержавеющей кровью политая, степь!»

Лирическое отступление автора повторяет мотивы старинной казачьей песни. «Распахана наша земляшка лошадиными копытами», — говорит песня, и Шолохов вторит ей: «гнездоватый след конского копыта». Песня продолжает: «А засеяна наша земляшка казацкими головами», и Шолохов откликается: «курганы в мудром молчании, берегущие зарытую казацкую славу». Поэт низко кланяется этой земляшке, политой казачьей кровью, и по-сыновьи целует ее...

Но как же случилось, что гордое и воинственное племя пошло против народа? Не есть ли его нравственная красота — один только поэтический вымысел? А если в казачестве есть эта красота, то куда же она девалась, где притаилась?

На это отвечает второй эпиграф. Муген Дон оттого, что сверху «бела рыбаца мутит», но со дна Дона бьют студёные ключи. И Шолохов словами старинной казачьей песни как бы призывает нас не довольствоваться поверхностно явлений, а смотреть глубже, проникнуть взором в самую глубь тихого Дона, — там чистый родник, незамутненный источник исконной нравственности казачества: свободолюбие, мужество, патриотизм, чувство социальной справедливости, гуманность, человеческая гордость, любовь к природе и к песне, высокая поэтичность.

Чтобы видеть глубже, нужен более широкий исторический охват. Надо вспомнить далекое прошлое вольнолюбивых казаков, живые и по-сейчас традиции этого прошлого, надо проследить трудный путь казаков к будущему.

В многовектовой истории казачества «русская Вандея», антинародное движение — только момент. Он был законогереи и даже неизбежен вовсе не

потому, что плохи, жестоки люди на Дону, а потому, что к этому преступлению казаки были приведены самим ходом истории. Длительным подкупом, системой привилегий, преднамеренным обособлением этого сословия от остального русского народа, искусственно поддерживаемой темнотой царское правительство создало здесь заповедник реакции.

Шолохов задумал написать историю казачества нашей эпохи, художественную энциклопедию бывшего казачьего сословия. Чтобы картина жизни, быта и нравов была правильной, чтобы галерея характеров была понята правильно, писатель, как социалистический реалист, изображающий действительность в ее развитии, не мог ограничиться рамками гражданской войны, ему понадобились «начала» и «концы».

Не эпизоды из истории хотел рассказать Шолохов. Он хотел обрисовать становление нового мира на развалинах старого, притом в таком краю старого мира, который издавна имел славу заповедника реакции и не случайно стал плацдармом формирования всех контрреволюционных сил страны.

Величественный процесс становления коммунизма на земле Шолохов видит глазами казака. Он изображает казачество не извне, а изнутри. Он не может поэтому довольствоваться описанием разгрома белогвардейщины на Дону. Он хочет показать, как реакционное в прошлом сословие само из себя создало те силы, которые привели к отрицанию сословности. Он стремится «в самом эле найти и средства к выходу из него», как говорил Белинский.

Эту большую задачу в целом Шолохов разрешает, конечно, не одной книгой, а всем своим творчеством. «Поднятая целина», в которой изображена коллективизация казачьего хугора и вступление в период социализма, занимает здесь особое и совершенно исключительное место. «Тихий Дон» представляет частичное решение все той же задачи, но только в пределах, строго обусловленных описываемой исторической обстановкой. При этом в особую заслугу автору надо поставить то, что он нигде не покривил душой, не отступил от правды истории, не поддался соблазну принять желаемое за действительное.

Во всем своем творчестве. — а в «Тихом Доне» в особенности. — Шолохов выступает боевым защитником казачьего племени, его певцом. И, тем не менее, политически он ничего не приукрашает в казаках, не приписывает им лишние доблести, а рисует суровую правду в ее неприглядности.

Медленно и туго поворачивалось казачество в сторону советской власти, и писатель в своем изображении казаков нигде не забегает вперед,

строго выдерживает те же темпы. Он только неустанно показывает те силы, те начала, которые помогли середняцкой казачьей массе сперва примириться с советским строем (конец «Тихого Дона»), а затем стать на его защиту, перейти к колхозному строительству («Поднятая целина»).

2

Начинается «Тихий Дон» с родословной героя — с рассказа о казаке Прокофии Мелехове, участнике еще турецкой кампании. С далекого фронта, из чужой земли привез себе жену Прокофий — пленную турчанку. Эта маленькая, закутанная в шаль женщина с тоскующими, одичалыми глазами сторонилась и родных мужа и хутора. Прокофий отделился от отца, построил себе курень на самом краю хутора, на отшибе у Дона, и повел туда жену. Четку встретили с озорным любопытством: казаки посмеивались в бороды, казачата улюлюкали вслед. Как сквозь строй, проходила по хутору турчанка. Прокофий шел медленно, сдерживая ярость, нес непокорную голову. Свою иноземку-жену казак любил горячо и нежно.

«Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского, ажник, кургана. Сжал ее там на макушке кургана, спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой».

По хутору поползли слухи, будто прокофьева жена — «ведьмачит». На беду случился вскоре падеж скота. Это еще более укрепило в темном люде «догадку» о турчанке. Валом привалили с хуторского скода казаки к Прокофию, учинили дикую, кровавую расправу над беременной женщиной. Прокофий героически защищал жену. Он раскидал шестерых казаков, схватил со стены шашку и ринулся в побоище — один против всех. Он зарубил батарейца и отбыл за это на каторге двенадцать лет.

Умерла турчанка вечером того же дня, родив недоношенного ребенка, сына Пантелея. Вернувшись с каторги, Прокофий стал на хозяйство, работал с сыном, а когда подошло время — женил его на казачке:

«С тех пор и пошла турецкая кровь скреживаться с казачьей. Отсюда и повелись в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки Мелеховы, а по-уличному — «турки».

Так родоначальник семьи Мелеховых предстает перед нами как могучая натура, незауряд-

ный человек, наделенный сильными страстями. Он — протестант, восстающий против косности темноты и предрассудков односельчан. Свой дом, семью и быт он строит не по-обычному. Он видит лиризм в свои отношения к любимой жене поэтически воспринимает природу, рыцарски оберегает женщину, доблестно защищает ее.

Всеми этими качествами Шолохов наделил представителя старины, героя, который как бы резюмирует собой далекое прошлое вольного казачества. И пленная турчанка в шелковой шали пахнущей «далекими, неведомыми запахами», введена сюда не случайно. Художник дает толчок нашей фантазии; поэтическим намеком он хочет вызвать в нашей памяти образ той легендарной персидской княжны, пленной красавицы, с которой донской казак Стенька Разин «свадьбу новую справляет — и разгульный и хмельной». Эта ассоциация образов нужна писателю, для того чтобы родословную героя осветить светом далекого прошлого. Он хочет придать человеческий социальный образ тем студёным ключам, которые бьют со дна Дона. Свежий родник вочеловечен в фигуре Прокофия, осмыслен как источник нравственности, осящен разинской традицией.

Нет ли тут натяжки? Ведь Степан Разин — революционер, вождь крестьянской бедноты, враг царя, помещиков и купцов. А в делах любви народная песня вовсе не приписывает ему особенной бережливости к женщине: натешившись вдоволь своей княжной, он ее, «не глядя, вниз бросает в набежавшую волну».

Но в чистом и неприкосновенном виде традиция никогда не сохраняется в веках. Ее деформирует время; еще более коренные изменения производят в ней классовые сдвиги. Потомки казачьей гольтыбы разинских времен обзавелись добротным хозяйством; они уже не враги царю, а его вернейшие слуги и воины не поборники вольности, а усмирители крамолы. Некогда вольные птицы, они приручены царизмом. И если в этой зажиточной и реакционной среде могла еще кое-где сохраниться разинская традиция, то уж, конечно, не в плане общественно-революционном, а только в плане быта и нравственности.

Вести родословную героев «русской Вандеи» непосредственно от Степана Разина было бы фальшью исторической и политической. Да и не мог Шолохов совершать экскурс в XVII век, — он вышел бы за рамки самого широкого сюжета. Не отступая от правды, он вывел родоначальником семьи Мелеховых участника турецкой кампании (1877—1878). Это протестант против окружающей косности и темноты, человек, наделенный душевной красотой и высокой нравственностью. Лучшие традиции прошлого представлены здесь в соответствии с теми изменениями, какие

были действительно произведены работой историков.

Давнишня казачья традиция, восходящая к временам Степана Разина, не только деформировалась в веках, переключалась из одного плана в другой, как мы это видим на примере Прокофия. Нет, с нею произошли и более злые превращения. Она утратила (это мы увидим дальше) все былое жизненное содержание, внутренне переродилась в свою противоположность, сохранив лишь внешнюю, обрядовую оболочку. Сердцевина оказалась настолько выеденной, изменения в самой сути настолько глубоки, что правильнее будет говорить о полной замене одной традиции другой, чужеродной, враждебной, заимствованной от старины лишь побрякушки, пустозвонные бубенцы...

Если Прокофий в кругу середняков-казаков символизирует студёные ключи, бьющие со дна Дона, из глубины давно прошедших разинских времен, то потомство Прокофия унаследовало от него немного; оно сроднилось с остальным хутором и представляет второй поток — тот самый, в котором «мутит бела рыбаца».

Два потока, две традиции... Как определить их коренное, принципиальное различие? Только исторически. Первая традиция выросла на почве демократизма и кровного единения с эксплуатируемой крестьянской массой русского народа, вторая — на почве реакционности, сословности и обособления от русского трудового народа.

С малых лет казаки воспитывались в духе словной замкнутости. Басня об особом избранничестве казаков приукрашалась романтикой «казачьей чести», сословной традицией, обычаями, обрядами и нарядами, подобно тому как молодой казак украшал самого себя наборным поясом, своего коня — нарядной уздечкой, свою «любушку» — пестрым полушалком. Выступавшая в столь красочном оперении идеология сохраняла в неприкосновенности обособление казачества от внешних культурных и политических влияний общественной демократии и, вместе с тем, приглушала, гасила классовую рознь внутри самого казачьего сословия, между его верхами и низами.

В начале своей эпопеи Шолохов рисует обычный в довоенные годы уклад жизни казачества с его материальным процветанием, застывшим и косным бытом. Вы видите, как в будни идет серенькая работа, как по воскресеньям валят в церковь хуторяне целыми семьями:

«Шли казаки в мундирах и праздничных шароварах; длинными, шуршащими подолами разноцветных юбок мели пыль бабы, туго затянутые в расписные кофточки с буфами на морщиненных рукавах, подопревших и слинявших подмышками

от остро-сладкого, ширяющего в нос, как горчица, бабьего пота».

На базарной площади вы видите дыблящиеся, задранные оглобли повозок, «толпы народа, перекипавшие краснооколыми фуражками и цветастой розсыпью бабьих платков».

Но под «цветастыми» покровами быта таятся темнота, дикость нравов, большая социальная неправда. Кулак Мохов и его компаньон Атепич, прозванный «Цапой», крупно наживаются, обирая хуторян и эксплуатируя рабочих, душат малоимущих казаков векселями и ростовщическими процентами. Самодурствует старый пан, помещик Листницкий. Благодеествуют попы: один — кляузник и пакостник, другой — гундосый от сифилиса. Здесь высшая заповедь — верность престолу. Хвалится казак своей расправой с революционерами:

«Я, браток, в тысячу девятьсот пятом годе на усмирении был. То-то смеху!»

Другой казак конвоирует арестованного большевика. Дичалым, хриплым голосом орет он:

«Сиди! Зарублю!»

Впервые ему привелось увидеть человека, который «против самого царя шел».

Из поколения в поколение поддерживалась непримиримая вражда между казачьим сословием и остальным населением Донской области, состоявшим из так называемых «коренных» крестьян и «иногородних». Пользуясь всяческими льготами, дарованными царским правительством, казаки чувствовали свою силу и измывались над «иногородними». А ведь казаки составляли меньше половины населения Донской области — только 47%. По статистическим данным, приведенным в «Памятной книжке Войска Донского» за 1915 год, к 1916 году в области насчитывалось 3,4 миллиона человек, из них казаков — 1,6 миллиона. Остальное население делилось, примерно, поровну между коренными крестьянами и иногородними (по 900 тысяч человек). Но это не мешало казакам чувствовать себя на Дону единственными полноправными хозяевами.

На донских дорогах, рассказывает Шолохов, обычными в ту пору были такие перебранки:

«— Эй, хохол! Дорогу давай! На казачьей земле живешь, сволочуга, да ишо дорогу уступить не хочешь?»

«Тут драки, — прибавляет писатель, — начинались безо всякой причины, просто потому, что «хохол», а раз «хохол» — надо бить».

Одна из таких драк — чудовищное побоище казаков с тавричанами — описана в первой части романа. На мельнице Мохова между казаками и тавричанами возникает спор об очереди к помолу зерна. Это достаточный повод для того, чтобы бить «хохлов».

Вооруженные колями и оглоблями, железными ломами и бѣлами, с диким ревом несутся казаки на «противника». В итоге побоища — проломанные головы и увечья.

После драки происходит такой характерный разговор между революционным рабочим Штокманом и казаком Афонькой Озеровым. Афонька говорит, что «хохлы — они огромно сердитые», и Штокман его спрашивает:

«— А ты кто?

Тот презрительно цвиркнула через скважину шербогато рта и, проследив за полетом слюнной петли, отставил ногу.

— Я-то казак, а ты не из цыганов?

— Нет, мы с тобой обое русские.

— Брешешь! — раздельно выговорил Афонька.

— Казаки от русских произошли. Знаешь про это?

— А я тебе говорю: казаки от казаков ведутся.

— В старину от помещиков бежали крепостные, селились на Дону, их-то и прозвали казаками.

— Иди-ка ты, милый человек, своим путем! — сжимая запухшие пальцы в кулак, сдержанно злобно посоветовал Алексей-безрукий и заморгал чаще:

— Сволочь поселилась! Ишь, поганка, в мужиков захотел переделать!»

Несколько молодых казаков, — люди относительно передовые, идейно-пытливые, — собираются у Штокмана. Он просвещает их, ведет с ними политические беседы. Однако и тут один казак говорит другому:

«— Ты обмужжился, Христиан, не спорь, что там... В тебе казачьей крови — на ведро поганая капля. Мать тебя с воронежским яшишником прижила».

Это говорит уже передовой казак, пролетарий, машинист Иван Алексеевич, будущий большевик. Но... «всосались и проросли сквозь каждую клетку его костистого тела казачьи традиции».

А дальше такой «обмен мнений»:

«— Молчи уж, мужик!

— А мужики аль не люди?

— Так они и есть мужики, из лыка деланные, хворостом скляченные».

Шолохов показывает читателю: от разинской традиции в этой среде и воспоминания не осталось. В сознании темных казаков она заменена другой традицией — сословной, которую в корыстных классовых целях усердно поддерживают казачьи верхи, атаманщина.

В этом диком, заскорузлом быту бесправная женщина была целиком предоставлена произволу своего господина — сперва отца, а потом мужа. Изнасилования, жестокие расправы, избиения и увечья вошли в обычай. Свяжав треногой руки, насилует в степи шестнадцатилетнюю Аксинью ее

отец. Дочку Мохова, Елизавету, приглашает на рыбную ловлю Митька Коршунов, перевозит на противоположный берег Дона и насилует. Цельный взвод казаков по очереди насилует в конюшню молоденькую горничную Франно, укутав ее в попонами. Открыто, на виду у всех, у порога своего дома, избивает жену Аксинью заматеревший казак Степан Астахов, действуя кулачной свинчаткой и сапогами. Не возмущает хутора эта расправа, — здесь это в порядке вещей.

«Что из того, что муж, заложив руки за спину охаживает собственную жену сапогами? Шел мимо безрукий Алешка Шамиль, поглядел, помогал и раздвинул кустарнику бородежку улыбочкой счень даже понятно, за что жалует Степан своим законную».

Под конец трудовой и безрадостной жизни тяжело заболев, Ильинишна жалуется дочери:

«Все болит... Кубыть, все у меня в середине обито. Смолоду, бывало, покойничек отец твой разгневется и зачнет меня бить... А кулачьи-то у него были железные... По неделе лежала за-мертво. Вот так и зараз: все у меня болит, буд-то избитая я».

Красивыми традиционными обрядами сопровождалась в старину сватовство и свадьба. Но опять-таки и под этими «цветастыми» покровами пряталось рыло собственничества, обжорства и похоти. Обряд сватовства только приукрашал барышнический торг о приданом. А пьяное свадебное пиршество в описании Шолохова выглядело так:

«Мутные в хмелю, похабные взгляды и улыбки. Рты, смачно жующие, роняющие на расшитые скатерти пьяную слюну».

Тысячи нелепых предрассудков и реакционных поверий оплетали сознание казака. Он жил замкнуто и обособленно, вдали от городов, от промышленности и культуры, от запросов демократии. Почти две трети казачьего населения Области Войска Донского (63.20%) были неграмотны. Казака подкупали сословными привилегиями, его воспитывали в духе вражды к рабочему классу, высокомерия и презрения к крестьянству.

Так было в действительности и так описывает все это Шолохов. В первом томе своего романа-эпопеи он обрисовал предьисторию гражданской войны на Дону, с исчерпывающей полнотой показал, почему бывшая Область Войска Донского стала впоследствии центром собиранья и формирования контрреволюционных сил, почему царским генералам, отечественной буржуазии и интервентам удалось противопоставить «тихий Дон» остальной революционной России.

Что процесс такого географического размежевания был совершенно естествен и закономерен,

писал товарищ Сталин в декабре 1919 года в статье «К военному положению на юге России»:

«В самом деле: кому же еще быть базой советского правительства, как не петроградско-московскому пролетариату? Кто же другой мог быть оплотом денкинского-колчаковской контрреволюции, как не исконное орудие русского империализма, пользующееся привилегиями и организованное в военное сословие — казачество, издавна эксплуатирующее нерусские народы на окраинах?» К. Е. Ворошилов «Сталин и Красная армия». Воениздат, 1937 г.

Языком художественных образов Шолохов рассказал нам о том, что здесь к 1917 году поток былых демократических настроений опустился на самое дно Дона, а посередине реки несетя второй поток — поток сословной идеологии, и скоро начнет на Дону «мутить бела рыбаца».

3

Круг действующих лиц в «Тихом Доне» сравнительно неширок. В центре повествования поставлена семья Мелеховых. Она наделена ярко выраженными фамильными чертами. Отдельные члены семьи резко индивидуализированы. И при всем том это — типичная для дореволюционного времени казачья семья среднего достатка с ее сильными и слабыми сторонами. Патриархальный уклад, собственническое рвение, хозяйская скуповатость, цепкость в защите своих классовых интересов, верность сословным предрассудкам — все это здесь налицо. Но тут же любовь к труду, воинская доблесть, патриотизм. Отвращает от Мелеховых их жестокая реакционность, безудержный эгоизм хозяйчиков, а привлекают простота крестьянских нравов, житейская мудрость, человеческая гордость.

Самая интересная фигура среди Мелеховых — Григорий. Он — главный герой романа. Отец, Пантелей Прокофьевич, женит Григория на Наталье, дочери крупнейшего богатея и кулака Мирона Григорьевича Коршунова. Другой член семьи Мелеховых, младшая дочь Дуняшка, впоследствии, после смерти отца, выходит замуж за Мишку Кошевого, бедного казака, примкнувшего к большевикам. Так середняцкая семья Мелеховых вступает в родственные связи с двумя другими семьями: с одной стороны — кулацкой, с другой — бедняцкой. Сам Григорий в юные годы дружит одновременно с Митькой Коршуновым и с Мишкой Кошевым. В этих семейных отношениях и в ранней дружбе Григория как бы символизировано промежуточное положение семьи Мелеховых между крайними полюсами казачьего мира и раздвоенность чувств главного героя романа.

Мелеховы — не единственная середняцкая семья, показанная в романе. Григорий и до самого вступления в брак и после любит замужнюю женщину, соседку Аксинью, жену казака-середняка Степана Астахова.

Кроме казаков, выведены в романе в качестве приметных действующих лиц купец Сергей Платонович Мохов с домочадцами, владелец соседнего с хутором имения, помещик Листницкий и его сын, казачий офицер Евгений. Рабочие представлены фигурами старого большевика Штокмана, Гаранжи, Бунчука, Анны Погудка, машиниста-казака Ивана Алексеевича Котлярова. Валета. Беглыми штрихами обрисованы исторические лица: белые генералы Корнилов, Каледин, Краснов, Алексеев, вожди красного казачества — Федор Подтелков и Михаил Кривошлыклов.

В романе немало и второстепенных персонажей. Многократно воспроизведена казачья масса и у себя дома, на хуторе, и в боях.

Однако в основном внимание концентрируется на нескольких семьях. Мелеховы, Коршуновы, Кошевые, Моховы и Листницкие привлекают к себе наибольший интерес. Мы видим их сперва в мирной обстановке, в довоенное время, затем в годы войны империалистической и гражданской, вплоть до ликвидации вооруженных банд втих последних остатков белогвардейщины на Дону.

Каждая из перечисленных семей принадлежит к определенной социальной прослойке на Дону.

Автор, стремившийся дать картину возможно более полную и художественно законченную, не случайно выдвинул на первый план социально разнородные семьи. Он обрисовал каждую из них в отдельности и всех их во взаимодействии, чтобы таким путем представить социальные явления и процессы в казачьей среде в наиболее типическом виде. Он показывает изменения, происшедшие с этими семьями на протяжении десятилетия, судьбу семей, обусловленную войной и революцией. А история нескольких таких семей, вместе взятых, в известной мере отражает, воспроизводит историю всего казачества в течение бурного десятилетия.

Особенно знаменательны изменения, какие совершаются с Григорием Мелеховым. Перед нами проходит вся его судьба, начиная с юношеских лет. В начале романа он — норовистый, своевольный, веселый, простой парень. На наших глазах он формируется, растет. Военная служба, бой первой империалистической войны закаляют его, но, вместе с тем, ожесточают его сердце. Революционные события 1917 года, гражданская война на Дону ставят перед ним, как и перед всем казачеством, вопрос: с кем идти? Он ищет правды, колеблется, и его идейные колебания поистине драматичны.

Григорий Мелехов — одаренный, самобытный человек, умный, тонко чувствующий, несмотря на свою малограмотность. Он сочетает в себе черты индивидуальные, фамильные, общеказачьи в том органическом переплетении, которое свойственно живому, художественно-обобщающему образу классических произведений мировой литературы.

Никто из семьи Мелеховых не унаследовал от своего родоначальника Прокофия лучшие его черты с такой полнотой, как именно Григорий. Внук идет по стопам деда, заимствует от него остатки старинной, демократической традиции казаков. Она и здесь выступает в том бытовом и нравственно-психологическом плане, в каком только и могла сохраниться в этой среде.

Внук, как и дед, восстает против патриархальщины, отвергает деспотическую власть отца в семье. Некоторые сословные и обывательские предрассудки казачьей среды чужды ему. С Аксиньей он живет почти открыто. Любовь он ставит выше церковного брака. Во имя этой своей любви он рвет с отцом и, — сын зажиточной казачьей семьи, — нанимается батраком к помещику, не зная чванливости, но брезгая и батрацким трудом.

Как и дед, он проявляет к женщине ласковое, бережное, глубоко человеческое отношение. Еще совсем молодым парнем он однажды бросает Аксинье циничную фразу: «Сучка не захочет, кобель не вскочит», но потом грызет себя: «Лежачего ударил». С тех пор, на протяжении всего романа до самого конца, он не совершает ни одного дурного поступка в отношении женщины, даже нелюбимой (Натальи).

Нельзя без волнения читать описание родов Аксиньи. Застигнутая в пути, она мучается в схватках на тряской повозке:

«— Я, Гриша, помираю. Ну... вот и все!

Григорий дрогнул. Внезапный холодок дошел до пальцев на потных ногах. Он, потрясенный, искал слов бодрости, ласки и не нашел. С губ, сведенных судорогой, вырвалось:

— Брешешь, дура! — Мотнул головой и, нагинаясь, переламываясь надвое, сжал неловко подвернувшуюся аксиньину ногу. — Аксютка, горлица моя!»

Вне себя Григорий гонит лошадь, а когда ребенок родился — он перегрызает пуповину и прыгающими руками завязывает узелок.

Проявление нежности волнует тем сильнее, что она скупю прорывается в своей стихийной непосредственности сквозь грубость.

Уже в последнем томе, во время «отступа» заболевает Аксинья, и Григорий говорит ей с грубоватой лаской:

«Ложись, Аксинья, а то ты так переморилась что и на себя стала непохожа».

Мы видим, как он «заботливо укутал ей ноги...» «взял ее за руку, погладил неумело и застенчиво»: «Тебе плохо, родимая?»

Своей официальной жены, Натальи, Григорий не любит, но он не терзает ее, не отводит на ней сердца, как это делают все кругом. Он прямо и искренно говорит ей о своих чувствах и просит «не гневаться». Когда у Натальи рождаются дети, Григорий горячо привязывается к ним. И Шолохов с большим художественным тактом показывает, как глубокое отцовское чувство к детям рождает в Григории привязанность к их матери. Известие о несчастье с Натальей потрясает его. Он «перестал слышать звук собственных шагов», «острая боль штыком вошла в его сердце», он «охмелел от страдания». Постаревший и бледный, он едет с фронта домой, к мертвой Наталье. Встреча с осиротевшими детьми, трогательная дружба с Мишаткой, отчужденность к Аксинье, поведение самой Аксиньи, которая «с присущим ей умом и тактом» избегала в это время встреч с Григорием, так как «женским чутьем распознала его настроение», — все это говорит о высокой человечности Григория в его отношении к женщине и к детям.

Рыцарски он оберегает женскую честь. Двусмысленный намек по адресу Аксиньи позволил себе Петр, и это вызвало в молодом Григории такой приступ гнева и ярости, что он метнул вилы в брата и едва не убил его на месте. Он готов ринуться в бой, один против целого взвода казаков, когда они насилуют Франю. Кнутом по лицу хлещет он молодого барина, сотника Листницкого, за его сожительство с горничной Аксиньей.

Тоска Григория по крестьянскому труду, желание «неотрывно пить винный запах осенней, поднятой плугом земли», острое ощущение природы и слитность с нею, любовь к казачьей народной песне, способность очаровываться ею говорят о внутренней близости Григория к той демократической традиции, которая воплощена в образе его деда Прокофия.

Напоминает Григорий своего деда и безудержностью темперамента. «Чорт бешеный! Истованный черкесюка!» — ругает его Петр. В другой раз Петр говорит о нем: «Горячий он у нас — как необъезженный конь». Беспokoится о Григории Наталья: «Гриша, ить он отчаянный!» Любовно вспоминает своего командира Прохор: «Вот какой чертоломный!» Отец говорит о нем: «Весь на кочках, и ни одну нельзя тронуть». Старик Чумаков любителю молодецкой посадкой Григория, но осуждает его за непутевость: «И Прокофия-деда помню. Тоже ягодка-кислица был, а не человек».

Нелегко дался фронт Григорию. До военной службы, молодым парнем, он испытывал острую жалость к нечаянно перерезанному косой утенку. На фронте пришлось ему действовать не косой, а шашкой, рубить не утенка, а людей. Убийство австрийца было «босвым крещением», и оно стоило Григорию больших душевных сил. «У тебя сердце жидкое. Человека руби смело! Мягкий он, человек, как тесто», — поучал его озверевший на фронте Чубатый. И Григорий отвечал: «Волчиное в тебе сердце, а может и никакого нету, камешек вместо него заложенный». Но «железные семена войны», ежесуточная и ежечасная опасность смерти сделали свое дело, ожесточили Григория. Он закалился, стал опытным воином, сохраняя, однако, и в боевой обстановке человечность.

4

Множество поступков, свидетельствующих о героизме, благородстве, великодушии, гуманности, совершает Григорий на всем протяжении романа. Сам раненный на фронте, он спасает полковника, командира драгунского полка, выводит, выносит его из линии огня.

«Григорий тащил его на себе, падая, поднимаясь и вновь падая. Два раза сбрасал свою ношу и оба раза возвращался, поднимал и брел, как в сонной яви».

А едва только Григорий приходит в себя после ранения, он тайком покидает перевязочный пункт, срывает с головы окрашенный кровью бинт и возвращается в строй. За спасение командира Мелехов получает первый георгиевский крест. Подобных подвигов геройства он совершил на фронте немало:

«Крепко берег Григорий казачью честь, ловил случай выказать беззаветную храбрость, рисковал, сумасбродничал, ходил переодетым в тыл к австрийцам, снимал без крови заставы, джигитовал казак... С холодным презрением играл он чужой и своей жизнью; оттого прослыл храбрым — четыре георгиевских креста и четыре медали выслужил».

На фронте же Григорий, «подчиняясь сердцу», спасает от смерти личного своего врага Степана Астахова. Позже, в годы гражданской войны, приехал после боев в станицу Вешенскую, Мелехов узнаёт, что какого-то старика «за сына посадили». Взбешенный, он скачет в тюрьму и самочинно освобождает всех арестованных, около ста человек. Большевик Мишка Кошевой казнил Петра Мелехова, брата Григория. Но когда Кошевому грозит опасность расправы, Григорий в разгар наступления бросает дивизию, которой командует, мчится спасать друга своих юных лет Мишку:

«Кровь пролегла промеж нас,—думает он,— и жить не чужие же мы!»

Жена Петра, блудливая бабенка Дарья, во время дикого самосуда хуторян над большевиком Иваном Алексеевичем стреляет в него и убивает. Об этом узнаёт Григорий:

«С чувством непреодолимого отвращения и гадливости» смотрит он на спящую в амбаре, упившуюся самогоном Дарью, наступает ей на лицо кованым каблуком своего сапога, хрипит: «Гадюка!», — «никогда еще Григорий не испытывал такого бешеного желания рубануть».

Безудержный гнев и презрение вызывает в Григории всякое проявление жестокости или несправедливости, трусости или слабодушия. И напротив — всякое проявление непреклонности и мужества в отстаивании своих идей родит в нем чувство искренней симпатии.

В годы гражданской войны Григорий провел много времени в кругу белых офицеров и бандитов, часто бывал невольным свидетелем палаческих допросов и зверских издевательств, какие учиняло офицеры над пленными красноармейцами. Видел казак, сколько героизма и стойкости проявляют большевики, оказавшись безоружными в лапах белых извергов. И неизменно в подобных случаях симпатии Григория на стороне красных. Наблюдая, с каким огромным присутствием духа и достоинством держит себя красный командир на допросе, Мелехов с удовольствием отмечает про себя: «Здорово оципал он полковника!» В некоторых случаях Григорий прямо выступает в защиту допрашиваемых и тем вызывает резкое недовольство господ офицеров.

С первого же дня вступления своего в армию (еще царскую) они вызывают в нем раздражение, он испытывает к ним глухую неприязнь. Тут сказывается классовая рознь, взаимная нелюбовь белой и черной кости. Поводом для стычек (а их много на протяжении всего романа) служит обычно хамоватый тон офицеров. Гордый казак неизменно загорается гневом и круто осаживает зазнавшееся начальство, расхлывшегося барина.

Дело было еще в самом начале службы Григория в царской армии:

«Глядя на вылощенных, подтянутых офицеров в нарядных бело-серых шинелях и красиво подогнанных мундирах, Григорий чувствовал между собой и ими невидимую стену: там аккуратно пульсировала своя, не по-казачьи нарядная, иная жизнь, без грязи, без вшей, без страха перед вахмистрами, частенько употреблявшими зубобой».

Впрочем, Григорий-то лично не очень страшился вахмистров. Когда один из них налетел на него и хотел ударить, Мелехов сказал ему внушительно и «обнадеживающе»: «Вот что, ежли когда ты вдарить меня — все одно убью! Понял?» И вах-

мистр, «с круглыми оловяшками глаз» и «отроду сиповатым голосом», на этот раз понял: он «изумленно зевал квадратным сазаньим ртом, не находил ответа».

А вот последняя стычка с начальством, описанная уже в четвертом томе. Она настолько колоритна и написана с таким блеском, что стоит привести отрывок побольше. Мелехов командует уже дивизией. Контрреволюционное восстание верхнедонцев помогло Донской армии прорвать фронт Красной Армии. Белые окрепли и обнагтели. Они начали прибираться к рукам казаков, наводить «порядок». Генерал Фицхелауров вызывает Мелехова как будто на совещание, но устраивает ему разнос, кричит:

«— У вас не воинская часть, а красногвардейский сброд! Отребье, а не казаки! Вам, господин Мелехов, не дивизией командовать, а денщиком служить! Сапоги чистить! Слышите вы? Почему не был выполнен приказ? Митинга не провели? Не обсудили? Зарубите себе на носу: здесь вам не товарищи, и большевицких порядков не позволим завозить! Не позволим!»

— Я прошу вас не орать на меня! — глухо сказал Григорий и встал, отодвинув ногой табурет.

— Что вы сказали? — перегнувшись через стол, задыхаясь от волнения, прохрипел Фицхелауров.

— Прошу на меня не орать! — громче повторил Григорий. — Вы вызвали нас для того, чтобы решать... — На секунду смолк, опустил глаза и, не отрывая взгляда от рук Фицхелаурова, сбавил голос почти до шопота: — Ежли вы, ваше превосходительство, спробуете тронуть меня хоть пальцем, — зарублю на месте!

В комнате стало так тихо, что отчетливо слышалось прерывистое дыхание Фицхелаурова. С минуту стояла тишина. Чуть скрипнула дверь. В щелку заглянул испуганный адъютант. Дверь так же осторожно закрылась. Григорий стоял, не снимая руки с эфеса шашки. У Копылова мелко дрожали колени. Взгляд его блуждал где-то по стене. Фицхелауров тяжело опустился на стул, старчески покряхтел, буркнул:

— Хорошенькое дело! — И уже совсем спокойно, но не глядя на Григория: — Садитесь! Погорячились и хватит. Теперь извольте слушать: приказываю вам немедленно перебросить все конные части... Да садитесь же!»

Мелехов отказывается выполнить приказы и о переброске частей и о сдаче командования дивизией, заявив, что он подчиняется не Фицхелаурову, а командующему повстанческими силами Кудинову. Генерал грозит, что он донесет об этом в штаб армии, напоминает о военно-полевом суде:

«Григорий, не обращая внимания на отчаянные взгляды Копылова, нахлобучил фуражку, пошел к дверям. На пороге он остановился, сказал:

— Вы сообщайте, куда следует, но меня не пугайте, я не из полохливых... И пока не троньте меня! — Подумал и добавил: — А то боюсь, как бы вас мои казаки не потрепали... — Пинком отворил дверь, гремя шашкой, размахисто зашагал в сенцы».

В этой сцене, как и вообще во враждебном отношении Григория Мелехова к офицерству, проявляется демократическое самочувствие человека из народа, протест против наглой развязности господ. Есть тут и стремление отстоять казачью вольность, хотя бы ту иллюзию самостоятельности во внутренней организации казачьих воинских частей, какая окрашивала собой для Григория повстанческое движение. Есть тут и личный момент: Григорий ревниво стоит на страже своего человеческого достоинства.

Чувствует себя Мелехов врагом всякой социальной несправедливости, не хочет мириться ни с какой эксплуатацией — материальной и моральной. Приниженность человека — для него самое худшее зло. Революция выпрямила гордость в людях. Именно это и особенно это благотворное влияние революции ощутили на себе многие казаки, персонажи романа «Тихий Дон». Григорий в данном случае, как и во многих других, выражает разлитые вокруг него настроения с особенной яркостью и отчетливостью.

Патриотизм — одна из самых действенных черт в облике казака Григория Мелехова. Империалистическая война была войной захватнической и несправедливой. Но не подлежит сомнению, что военной доблестью и героической беззаветностью Мелехова в этой войне двигало патриотическое чувство, как он его субъективно воспринимал. Патриотическое чувство руководило Григорием, когда он в рядах буденновской конницы совершал подвиги в войне с белополяками. Не оставляло его то же чувство и в годы гражданской войны.

После стычки с Фицхелауровым, на обратном пути в свою часть повстречалась Мелехову в узком проулке упряжка мулов, везших английское оружие; сбоку ехали англичане-офицеры в пробковых шлемах. Пренебрегая просьбой посторониться, Григорий ехал прямо на офицера:

«— Мне понятно, что ты озлился на Фицхелаурова, — пожимая плечами, говорил Копылов, — но при чем тут этот англичанин? Или тебе его шлем не понравился?»

— Мне он тут, под Усть-Медведицей, что-то не понравился... Ему бы его в другом месте носить... Две собаки грызутся — третья не мешайся, знаешь? Я бы им на нашу землю и ногой ступить не дозволил!»

В другой раз на ночевке пришлось встретиться Григорию с лейтенантом английской армии Кэмпбеллом и поручиком Щегловым. Русский офицер расхваливает Англию и плохо отзываясь о России. Григорий корит его: «А вам не совестно так про свою родину говорить?» Английский офицер, напротив, с похвалой отзываясь о красных: он видел, как в пешем строю, обутые в лапти, они шли в атаку на танк. И он приходит к выводу: «Народ нельзя победить». Григорий соглашается с Кэмпбеллом, симпатизирует английскому лейтенанту. Но под конец говорит ему: «Прощай! И знаешь, что я тебе скажу? Езжай-ка ты поскорей домой, пока тебе тут голову не свернули! Это я тебе — от чистого сердца. Понятно? Езжай, пожалуйста, а то тебе тут накостыляют!»

Выгодно выделяется Григорий среди остальных персонажей романа принципиальностью, искренностью, бескорыстием. Борьба, которую он ведет против Красной Армии и советской власти, антинародна и преступна, но он смотрит на дело со своих позиций, контрреволюционных. Ему чудится, будто он отстаивает «казацкую честь». В этой уверенности Мелехов воюет, не страшась сам смерти, не щадя жизни вверенных его командованию казаков.

От прямого участия в сражении он в первый раз уклонился только тогда, когда кадеты отказались снабдить его снарядами. Повести казаков под пулеметный огонь защищать чуждых ему Фицхелауровых он не пожелал. Это был исключительный случай: «словно что-то сломалось» в нем. Обычно же он лезет в огонь, под пули и шашки, не задумываясь и не оглядываясь. Во время «отступа» попытка было уклониться от участия в боях родной отец Григория, Пантелей Прокофьевич. Он бросил окопы и вместе с другими казаками бежал в панике. Но не пожелал боевой командир и старика, заставил вернуться на передовую линию огня.

С омерзением относится Григорий к грабегам на войне, ведет систематическую борьбу с этой, тоже казачьей, «традицией». В обстановке разложения Донской армии грабежи приняли неслыханные размеры, стали бытовым явлением. И Григорий с чувством презрения и гадливости говаривает добычливому подхорунжему: «Грабильковку на войне учинили? Эх вы, сволочи!» Еще задолго до этого появился неподалеку от линии фронта Пантелей Прокофьевич в роли «купца» — таскать награбленное. Об этом узнал Григорий и с бешенством налетел на отца: «Люди! Берут! Своего мало? Хамы вы!.. Я казакам морды бил за это, а мой отец приехал грабить жителей! — дрожал и задыхался Григорий».

Какими только высокими моральными качествами ни наделен казак Григорий Мелехов! Он — рыцарь без страха и упрека, патриот-воин беспримерной храбрости, человек долга и чести. Он многосторонне одарен, обладает недюжинными способностями, большим природным умом и тактом. Его чувства тонки и сложны. Ему близки идеи социальной справедливости. Крепкой, животворящей пуповиной связан он с народом как его кровный стпрыск. Славный борец, защитник слабых, он стоит на страже женской чести. Всюобщую любовь снискал Григорий. Его боготворят женщины — мать, жена, сестра, любовница. Его любят мужчины — выведенная в романе казачья масса. И это заслуженно: он — незаменимый, преданный друг, верный товарищ, боевой и справедливый командир. К нему ласкаются дети. Он честен, принципиален, правдив, искренен, благороден, великодушен. Он — поэтическая фигура, выступающая в окружении богатого цветного пейзажа красот природы, лирической народной песни. Он могуч и прекрасен. И он же... любый контрреволюционер, белый офицер, загубивший многие и многие жизни наших бойцов, один из главарей восстания в тылу Красной Армии, белобандит, самый опасный враг советской власти по результатам своих действий и по единодушному признанию всех выведенных в романе большевиков.

Нет ничего легче и проще (ленивая мысль именно это и делает), как обвинить большевика-писателя Шолохова в возвеличении и приукрашивании злобного контрреволюционера и белобандита и во всех прочих смертных грехах. Но это значит уйти от проблемы, которую ставит роман перед критикой и мыслящим читателем, уклониться от проблемы, а не решить ее.

Для каждого непредвзятого читателя «Тихого Дона» очевидно, что Григорий Мелехов — фигура не выдуманная, что отражает она какое-то большое жизненное явление. Ясно и то, что «список добродетелей» Григория Мелехова, все его положительные черты — только половина характеристики героя, по которой нельзя судить о целом. «Списку добродетелей» противостоит не менее внушительный список преступлений. Собственно вся деятельность Григория в годы гражданской войны (за небольшими изъятиями) — одно сплошное преступление перед революцией, советской властью, народом.

Первый вывод, который невольно напрашивается здесь, состоит в том, что даже самые высокие моральные качества человека не спасают его от политических преступлений, если в ходе борьбы он становится на сторону эксплуатирующих клас-

сов. Субъективно бескорыстный человек, самозабвенно жертвующий своей жизнью, может в действительности служить в таком случае орудием корыстных по своей сути устремлений буржуазии.

Чаще всего в такое положение попадают представители мелкой буржуазии.

«Как бы искренни ни были отдельные лица эс-эров и меньшевиков, — писал Ленин. — их основные политические идеи... представляют из себя объективно именно мелкобуржуазный самообман или, что то же, обман масс («большинства») буржуазией...»

И конечно... этот обман можно правильно понять, лишь выяснив его классовые корни и его классовое значение. Это не личный обман, не «жульничество» (выражаясь грубо), это обманчивая идея, вытекающая из экономического положения класса. Мелкий буржуа находится в таком экономическом положении, его жизненные условия таковы, что он не может не обманываться, он тяготеет невольно и неизбежно то к буржуазии, то к пролетариату. Самостоятельной «линии» у него экономически быть не может.

Его прошлое влечет его к буржуазии, его будущее к пролетариату. Его рассудок — тяготеет к последнему, его предрассудок (по известному выражению Маркса) к первой» (Соч., т. XXI, стр. 52—53).

В образе Григория Мелехова воплощена двойственность мелкой буржуазии, точнее говоря — одного из своеобразных ее отрядов. В груди героя романа сожигаются и бурно сталкиваются две души: одна — полупролетарская, другая — «хозяйская». Более всего интересен Григорий как живой носитель этого противоречия. Вся его судьба есть ярко выраженная борьба тех двух начал, которые определяют собой внутренний мир казака, эволюцию его идей и нравственности на историческом переломе от одной эпохи к другой.

Шолохов в одном месте (в третьем томе), примерно, этими словами и определяет душевное состояние своего героя:

И оттого, что стал он на грани в борьбе двух начал, отрицая оба их, — родилось глухое, немолчаливое раздражение».

Писатель проявил бесстрашие мысли, осветил полным светом и до конца каждое из живущих в сознании героя начал, во всей резкости их контраста. В целях художественной выразительности он временами даже преувеличивает, гиперболизирует. Что зверюга-вахмистр, в штатской жизни — кулак, верой и правдой служит контрреволюции, естественно и мало поучительно. Художнику надо было показать, как то же самое случается с людьми из народной массы, несмотря на их моральную чистоту и высокую одаренность, как личное душевное благородство не страхует от политических преступлений и этих людей. Мелкобуржуазная классовая природа человека оказывается сильнее его личных склонностей.

В романе подробно изображены колебания Григория Мелехова. Мы видим, что, мысленно стригая как будто оба борющихся начала, мечтая о «третьем пути» для родного казачества, Григорий на деле становится пособником только одного из этих начал, а именно — контрреволюционного. Оно является «ведущим» и во внутренней противоположности его сознания и в его политической биографии, взятой как целое. О колебаниях такого рода Ленин писал, что это колебания, выгодные Милюкову.

Чтобы осмыслить образ Григория Мелехова, надо выяснить во всей исторической конкретности классовую природу его сознания. Надо рассмотреть кривую его колебаний и самую суть «обманчивой идеи», которая владеет героем. Идеологическая надстройка, выступающая в виде реакционной традиции казачьей сословности, играет здесь исключительную, важную роль. Ведь именно эта традиция и привела к тому, что чистые, студеные ключи нравственности Тихого Дона замутились, а посередине реки «мутит бела рыбаца».

Проделав этот анализ, мы уясним себе ту специфическую разновидность мелкобуржуазного сознания, ту трагедию мелкобуржуазной раздвоенности, которые воплощены в образе Мелехова. И тогда мы сумеем ответить на вопрос, что такое мелеховщина. Вместе с тем, обнаружится и огромная обобщающая сила этого образа.

А. Хитов, «Обнаженные корни». Роман. Гослитиздат, 1940

В прологе к роману пожилой профессор уговаривает своего старого друга отстать от революции, убеждая его в жизнеспособности ее врагов: «Старый корень пустит молодые побеги». Этот разговор происходит в сентябре 1917 года. Несколько лет спустя, уже после разгрома Врангеля, некий эмигрирующий генерал опять возвращается к вопросу о тех же корнях: он объясняет своему собеседнику, что русские антибольшевистские кадры нужны империалистам «совершенно независимо от того, цветут ли они или не цветут с вывороченными корнями». Второстепенный для генерала вопрос: «цветут или не цветут», и является темой романа. Автор, внимательно исследовав эти самые вывороченные, «обнаженные корни», приходит к убеждению, что интересующие империалистов «кадры» весьма далеки от цветения. Убеждает он в этом и читателя.

Автор берет эмигрантов под наблюдение, начиная с момента посадки их на транспорты в Крыму, после Перекопа. Этот момент бывал уже освещен в литературе. Достаточно вспомнить общеизвестные строки Маяковского. Однако автору удалось дополнить эту картину чрезвычайно выразительными подробностями. Матрос, утопленный пассажирами, после того как он признается, что «не своей волей» уходит с белыми, пьяный кавалерист, вонзающий клинок в брюхо своего коня, какой-то штатский человек, который умоляет взять его на борт и впопыхах срывается с причальной стенки, «мелькнув вороньим крылом» черной пелерины, — эти и подобные им образы не могут не врезаться в память, а некоторые из них приобретают и символический смысл.

Затем начинается плавание, — «прочь от потерянного берега», — сперва по Черному морю, потом по Мраморному и, наконец, по Адриатике, с продолжительной остановкой в лагере где-то близ Константинополя, под «слезящимися» брезентами, на прелой соломе. Эти страницы книги не уступают предыдущим по яркости, а по насыщенности действием почти кинематографичны. Чрезвычайно красноречива картина сутолоки в заваленных вещами пароходных трюмах, похожих «на коммиссионный магазин в час земагтрасения», где в грязной куче озверелых людей, плывущих неизвестно куда и неизвестно зачем, ругань и драка чередуются с погугами на «хороший тон» и с политическими «пророчествами».

Движение сменяется, наконец, неподвижностью. Беглецы обретают ее в Югославии, в хорватском имении какого-то австрийского графа. Здесь, в пустующем графском замке учреждается «колония русских беженцев» или, по-хорватски, «избеглиц». Сцены внутренней жизни колонистов, протекающей для большинства в полной праздности (благодаря «державная комиссия» выплачивает до поры до времени какие-то скудные субсидии), сменяются эпизодами трудовых вылазок более предприимчивого меньшинства. Эти вылазки рассматриваются большинством как «падение».

Из-за боязни колонистов «опуститься до половой тряпки или щетки», замок и парк очень скоро оказываются загаженными. Увядшие жены, надушенные и напудренные, «но уже с грязными шеями», собираются на террасе или, как сами они называют, на «брехаловке», сплетничают, клеветают и развратничают. Мужья либо валяются на матрацах, «созерцая узоры летных потолков», либо играют в карты в ожидании «трубного гласа» — сигнала к новому походу на большевиков. Начинаются интриги, дразги, ссоры, анонимные письма, доносы, которые приводят в конце концов к самоубийствам и даже к убийствам.

Попытки некоторых колонистов найти работу большей частью неудачны. Тут целый ряд препятствий: с одной стороны — эксплуататорские повадки туземных «пауков», с которыми вскоре начинают состязаться и некоторые оборотистые «избеглицы», с другой же стороны — враждебное отношение местного крестьянского и рабочего населения. Дело не только в том, что незваные гости перебивают у него хлеб, а в том, главным образом, что подавляющее большинство этих гостей, принадлежа к разряду тех же «пауков», ничуть не намерено отступаться от своих паучьих наклонностей. Наоборот, оно культивирует их в себе и даже гордится ими. Потерпев крушение на родине, это большинство видит свою «историческую миссию» в том, чтобы и на чужой земле действовать теми же самыми приемами, какие привели его к этому крушению. Естественно, что и результаты, в конечном счете, получаются те же. Эту логику Хитов иллюстрирует сценами столкновений эмигрантов сперва с командой французского парохода, затем с туземным окружением эмигрантской колонии. Вражда, постепенно нарастая, разрешается побойницами, потом нападением крестьян на замок и его пожаром.

Попутно развивается и другой процесс: капиталисты Франции, Бельгии, Южной Америки вербуют в этой полуголодной, обреченной среде

дешевую рабочую силу «в отъезд». Другие, чтобы не потерять «твердости руки», нанимаются в жандармы.

Автор не ограничивается изображением одной этой колонии. Он показывает и соседний мелкий городок, где осели «неорганизованные» эмигранты, быстро погрузившиеся на самое темное дно: читателя обдает «теплым, спиртное дыхание» шулеров, шантажистов, воров.

Действие романа перебрасывается на время и в Белград, где «русское дело» поставлено на более широкую ногу. Картина русского ресторана или, точнее, кафе-шантана в Белграде, где «все обязанности распределяются в кругу своих, приличных людей, что максимально отшибает у труда неприятный привкус», где над эстрадой красуется двуглавый орел, где бывшие коринтиовцы, сахарозаводчики и седенские профессора, ныне официанты, вдохновенно снуют между столиками с салфеткой подмышкой, где сестра, с согласия брата, на глазах у юноши, в нее влюбленного, так же вдохновенно заигрывает с полупьяными посетителями, вздрагивая крашеными ресницами, и поет с вострады: «Мы — пленные орлы». — эта картина гниения является, пожалуй, одним из самых сильных мест романа.

Вожди белой эмиграции представлены в романе фигурой генерала Икутова. Человек упрямый, холодный и злой, он брезгливо высокомерен в обращении с представителями своей «армии» и тщетно пытается сохранить подобие какого-то внешнего достоинства при сношениях с чужестранными ее покровителями. Сняв подстрекнуть их на новую интервенцию, он не гнушается никакими доводами, но запас этих доводов иссякает с каждым днем, и генералу не остается ничего другого, как играть на неприязни мадыарских аристократов к славянским народностям или югославских чиновников к мадыарам. Однако, как ни щедр Икутов на всякие дипломатические посулы за счет воображения будущих благ, никакого «трубного гласа» все же не раздастся.

Таков материал. Он нанизан на нить довольно несложной фабулы, в которой центральное место отведено белоэмигранту-вольноопределяющемуся, сыну старого революционера, примкнувшего к большевикам.

Сын, убежденный в честности отца, не может «непоколебимо уверовать в его безумие». Весной 1917 года этот сын возвращался на фронт «с таким чувством, будто еще мог и должен был что-то спасти». К концу августа это неопределенное чувство вырождается уже в полную растерянность, которая так и не покидает его на протяжении всего романа. И отец и девушка, с которой сближается сын, настаивают, чтобы он «добился ясности», но это ему не по силам. Действительность для него — «хаос».

К белым он уходит не по убеждению, а следуя за любимой женщиной, за той самой, которую встречает затем в белградском кафе-шантане попойшей про «пленных орлов» «Русское дело» эмигрантов ему претит, в их среде он чужой и на последних страницах романа публично проклинает их как «убийц и палачей». Однако победы большевиков тоже не внушают ему доверия: они представляются ему «хаотическим фейерверком», после которого придется «расплачиваться за разбитые горшки». Так он и метается в неведении, «где настоящее, где ненастоящее». Этот вопрос, то и дело им повторяемый, будет разрешен им,

вероятно, в следующей, еще не напечатанной части романа.

Впечатление создается такое, что роман продекларирован очень основательно. Это беспорядочная живопись с натуры.

Изложение говорит о большом темпераменте автора, таком же, каким наделан он и своего героя, Михаила Зубагина. Это изобавляет роман от вялости, свойственной иногда таким бытописательным произведениям. Но у автора, как и у Зубагина, этот темперамент горит неровным светом. Яркие вспышки сменяются иной раз, — правда, не часто, — довольно бледным мерцанием. Герою романа это простительно, автору — нет: в романе кое-где заметны швы, а местами публицистическая подкладка прорывает недостаточной плотную художественную ткань.

Большая заслуга автора заключается в том, что он мало говорит от себя. Книга построена, главным образом, на диалогах действующих лиц, только изредка переходящих в монологи, и на массовых сценах. Последние удаются автору особенно хорошо. Искусно изображает он и трудовые процессы.

Недосказанность как литературный прием имеет свои права. Однако Хилков пользуется этим приемом, пожалуй, слишком широко и не всегда умело. Если читателю и полезно подчас самому разрешить ту или иную задачу, то автор обязан все же отчетливо формулировать «условия» этой задачи. Иначе решение ее окажется либо произвольным, либо невозможным.

Это касается прежде всего тех метаний Зубагина, о которых уже говорено. Умственный его кругозор никак не очерчен в романе. Знает ли он что-нибудь или ничего не знает, учился ли чему-нибудь, читает ли что-нибудь и что именно, что он любит, во что верит, каковы вообще те три сосны, в которых он заблудился, — все это неясно. Оттого и метания его приобретают какую-то раздражающую беспочвенность. А ведь в них вся суть романа. И когда Зубагин, явившись к одному из вожakov белой эмиграции, направляется на переход советской границы, читатель недоумевает: что же собственно толкает его на подобную авантюру?

Неясна и фигура Зубагина-отца, в сюжетном отношении очень ответственная. Лучше всего информируют о нем его пометки на книге Горького, — это прекрасный «человеческий документ», видимо непридуманый. Но этого мало. Кем он был до революции и где он был: в русской ли ссылке или в эмиграции, не было ли у него каких-нибудь связей с толстовством (ведь подарком же он так интимно называет Толстого просто «Львом Николаевичем»), — обо всем этом говорится чересчур коротко и сбивчиво.

Многие эпизоды романа страдают натянутостью. Профессиональные воры и шантажисты, связанные, к тому же, с югославской полицией, не вернули бы с такой легкостью украденный ими саквояж и уж, конечно, не расстались бы с главным орудием шантажа — с упомянутой книгой Горького. Тирдову, который вообще очень хорош в роли юркого согладателя с бечю настороженным, «прозрачным» ухом, никак не к лицу прямое политическое убийство. «Психологическое» усмирение разъяренного быка тоже не внушает доверия. А финал романа, когда в одно и то же время Зубагин изрыгает свои проклятия по адресу эмигрантов, а крестьяне нападают на замок, при-

чем один из брошенных ими камней метко попадает в голову вождя этих только что проклятых «избеглиц», а другой не менее удачно — в керосиновую лампу, этот финал сбивается на довольно вульгарную мелодраму. В распоряжении автора достаточно художественных средств, чтобы обойтись без таких далеко не убедительных «эффектов», которые только компрометируют его богатый материал.

Язык романа, как уже говорилось, представлен, главным образом, речами персонажей, и потому вполне естественно, что от него отдает некоторой эмигрантской мертвечинкой, которая скандывается и в употреблении давно отживших слов, и в не совсем точном применении разных производных от одного и того же корня, а кое-когда и в неправильном строении фразы. Досадно однако, что эта мертвечинка заражает временами и автора («рамошный взгляд» на стр. 263; «почтительность», вместо «почтение», на стр. 129; «в ее лице проступали неровные пятна» на стр. 102, и т. д.), чей язык в других случаях полон энергии. Наблюдается местами и некоторая неряшливость: «интригующий полумрак» (стр. 146), «пил холодное вино разгоряченными глотками» (стр. 156). Кое-какие, неупотребительные в нашем обиходе, выражения и специальные термины нуждаются в пояснении, например: «орден Плюшкина приснопамятного», «нансеновский паспорт».

Как по одной точке невозможно определить направление прямой, так и по этой одной части неоконченного романа нельзя еще произнести окончательного суждения ни о нем, ни об его авторе. Сумеет ли Хилков досказать недосказанное и рассеять «интригующий полумрак» некоторых характеристик, как покажет он себя на другом, менее специфическом материале, — это вопрос будущего.

Г. Блок

Мих. Зощенко. «Хитрые и умные». Рисунки Н. Гадлова. Детиздат, М.-Л., 1940

Рассказы Зощенко оставляют у читателя впечатление чрезвычайной цельности и ясности. Кажется, будто они написаны очень легко, одним дыханием. Но присмотритесь, вчитайтесь в них — и вы увидите, что ясность и простота достигнуты сложными и трудными путями. Здесь, — как и во всяком подлинном произведении искусства, — тяжелый и напряженный труд не виден, спрятан, налицо только итог, только результат, только плод творческих усилий, совершенный и законченный.

Это относится и к произведениям Зощенко, написанным для взрослых, и к его рассказам о Ленине, и к рассказам о Леле и Миньке, предзнаменательным для детей старшего и среднего возраста, но имеющим громадный успех у читателей, давно уже позабывших о школьной скамье. Это полностью относится и к книжке «Хитрые и умные», книжке для самых маленьких, способной однако принести много удовольствия читателям всех возрастов.

Самые названия рассказов как нельзя более просты: «Ученая обезьянка», «Умная белка», «Еще одна умная белка», «Интересно придумала», «Пора вставать», «Вот какие бывают

мышки». Однако же в этой несложности, в этой элементарности есть свой принцип, есть свой стиль.

В этом стиле написаны все восемь рассказов, входящих в книжку. Способность Зощенко улавливать и передавать тончайшие лексические оттенки нашла здесь полноценное выражение. Он с удивительной естественностью воспроизводит особенности детской речи, заостряя, подчеркивая их, и они превращаются в явление литературы, в особую манеру рассказа, по-своему выразительную, точную, лаконическую.

«Кошка говорит мышке». «мышка говорит», «кошка говорит», «мышки-сестрички говорят», «белка говорит», «птичка говорит», «вот кошка ушла», «вот одна старшая мышка» «вот мышки-сестрички», «вдруг приходят другие большие мышки», «вдруг приходит кошка»...

Повторяемое на каждой строчке «говорит», неизменно стоящее в начале каждого абзаца «вот», не к месту употребленное «вдруг» — все это услышано в живой речи, в болтовне ребят и все это стало искусством.

Но рядом с этими характерными детскими речениями, рядом с описаниями, элементарными до предела («Вдруг приходит кошка и приносит с собой палку. На палке — веревка. На веревке — крючок. Хотела кошка достать мышку этим крючком. Подошла к бутылке. А мышки уже нет»), мы обнаруживаем слова, обороты речи, выражения, которые можем назвать только «зощенковскими». В первом же абзаце рассказа, открывающего книжку, мы читаем: «А маленькая мышка, не будь дура, решила спрятаться в бутылку». И это будто невзначай сказанное «не будь дура» сразу придает фразе особое, зощенковское звучание.

То же и в следующем рассказе — «Попалась, которая кусалась». Здесь характерно уже само название, — как будто серьезное и даже несколько дидактическое и в то же время чрезвычайно комично звучащее. И в самом тексте то и дело слышится голос рассказчица — взволнованный, иногда почти патетический: «И вот она на маму нацелилась. Она маму захотела слопать. Ах, милая мама, торопись! Беги поскорей от змеи! А то она тебя съест». Контраст между серьезностью, более того — приподнятостью тона и забавной невероятностью фабулы (змея нечаянно завязалась узлом вокруг дерева, так что не могла потом распутаться), сниженностью отдельных словечек производит сильнейший комический эффект. «Детскость» рассказа включается в детально разработанную писателем систему, обогащает ее еще одной интонацией, еще одним оттенком.

Самый веселый рассказ сборника — «Умная белка». Комичность его основана прежде всего на том, что и белка и птички говорят обычным языком зощенковских героев: «Целый день прыгаю с ветки на ветку, как ненормальная, а летать не могу. Что за безобразие?»; «Какой интерес мне прыгать?»; «Мне охота немножко полетать»; «Тогда позови мне двенадцать птичек, пусть они меня по воздуху покатают, а то я от скуки с ума сойду». Так объясняется белка. И таким же образом описывает ее приключения рассказчик: «А белка под ними висит и от страха «мама» сказать не может».

В своих «взрослых» рассказах Зощенко обнаруживает автоматизм и бесплодность языковых форм, не имеющих права на существование. Он убивает

их смехом. Он заставляет читателя смеяться над пустотой и условностью многих идей, привычных, обиходных словечек. Но вдвое смешнее звучат эти словечки, когда писатель вкладывает их в уста зверей, и белка в его рассказе говорит: «Как ненормальная» и «Какой мне интерес». Лучше всего обнажена комическая бессмысленность автоматического словоупотребления в фразе: «А то живу как в лесу и ничего интересного не вижу». (Фраза принадлежит лесной белке.)

Но «хитрые и умные» не только разговаривают как люди. В их рассуждениях и поступках тоже гораздо больше человеческого, чем звериного.

Зошенко написал книжку, в которой действуют мышки, белки, обезьянки, собачки, птички. Но жестоко ошибся бы тот, кто подумал бы, что эти рассказы действительно знакомят маленького читателя с звериными и птичьими повадками. Нет, не в этом ценность книжки Зошенко. У нас есть писатели, превосходно пишущие о животных. Дети и любят и знают произведения Бианки, Чарушина. У них они найдут тонкое и глубокое понимание живой природы. В рассказах же Зошенко они найдут совсем другое — прекрасное и трудное искусство смешного.

Самое интересное то, что большая часть рассказов, входящих в книжку, написана как будто совсем «всерьез», будто и впрямь Зошенко описывает случай из жизни животных. Очень обстоятельно и деловито он рассказывает о том, какие многочисленные способы использования обычного гриба открыла «еще одна умная белка», или о том, как ловко достала собака Лешка колбасу с высокого комода, постепенно выдвигая один ящик за другим.

Но эта обстоятельность рассказа еще сильнее оттеняет невероятность и фантастичность поступков, совершаемых «хитрыми и умными». По сути дела это — сказки, но сказки совершенно особенные. Как это ни парадоксально, но сказочность книжки Зошенко основана на чрезвычайной практичности и рассудительности героев, на «бытовом» характере их интересов. Точнее говоря, интересы у них звериные, но рассуждают они совсем как люди. Зошенко так и пишет о собачке Лешке: «Маленькая-то она маленькая, но довольно хитрая. Она немножко подумала, как профессор, и вот что придумала». «Еще одна умная белка» размышляет очень трезво и здраво: «Не понимаю, почему наши лесные зверьки не хотят использовать этот гриб так, как надо?» Обезьянка сама ухитряется исполнить заданную ей задачу, «чтоб не делиться яблоками с другой обезьянкой».

Это «человекоподобие» очень хорошо подчеркнуто рисунками Николая Радлова. Его звери действительно выглядят «хитрыми и умными». Работа писателя и художника здесь имеет настоящую, органическую связь.

Начав книжку «серьезным» описанием «случаев из жизни животных», Зошенко однако вовсе не жалеет выдерживать до конца этот «естественно-научный» тон. Чем дальше, тем удивительнее и необыкновеннее становятся приключения зверей. И, наконец, в последнем рассказе — «В гостях у клоуна» — он доводит до предела, до абсурда практичность и сметливость своих героев, для того чтобы потом вместе с читателем посмеяться над своей выдумкой. В доме у клоуна много дресированных животных. И все они «исполняют по дому какую-нибудь работу и без дела не сидят».

И точно, когда рассказчик приходит в гости к клоуну, он видит, что «умные и хитрые» звери здесь творят настоящие чудеса. «Зайцы посудомоют. Белки сапоги чистят. Крабы орехи колют. Кошки двери открывают. Собаки в креслах сидят. Лисицы на кроватях спят». И тут-то неожиданно хозяин признается, что из-за всех этих чудес ему и податься некуда и в дом нельзя войти — остается только сидеть все время в саду и пить лимонад. Так «ум и хитрость» стали настоящей сказкой. Доведенные до абсурда, они потеряли уже видимость практичности и серьезности, превратились в откровенную шутку, веселую выдумку, напоминающую фольклорные сказки и прибаутки.

Моральная направленность — основная черта творчества М. Зошенко. Воспитательная сила этих рассказов — в наполняющем их чистом и светлом юморе, в свободном и естественном полете фантазии, в остроумном и сложном сочетании действительного и воображаемого — во всем том, что отличает книги Зошенко, написанные и для взрослых, и что нашло столь своеобразное и яркое выражение в книге для маленьких.

И. Гринберг

*Д.м. Кедрин, «Свидетель».
Гослитиздат, М., 1940*

Двое «безвестных владимирских зодчих» строят по приказу царя Ивана IV, замечательный храм Покрова, который должен быть «благочестней заморских церквей»:

Мастера заплетали
Узоры из каменных кружев,
Выводили столбы
И, работой своей горды,
Купол золотом жгли,
Скаты крыш — лазурью снаружи
И в свинцовые рамы
Вставляли чешуйки слюды.

Работа удалась. На московской площади высятся церковь, такая, «что словно приснилась». Царь доволен и велит «ослепить» строителей, чтобы не удалось им создать второго, лучшего храма.

Эту общеизвестную историю Кедрин рассказывает легко и, на первый взгляд, почти беззлобно. Но сила лирического воздействия не всегда связана с громким голосом и гневными выкриками. Стихотворение содержательно, оно правильно разъясняет событие, оно убедительно агитирует, несмотря на то, что выдержано оно в мягких тонах и не обременено прямолинейными нравочесаниями.

И в Обжорном ряду,
Там, где заваль кабацкая пела,
Где сивухой разило,
Где было от пару темно,
Где кричали дыки:
«Государево слово и дело!»,
Мастера, Христа ради,
Просили на хлеб и вино.
И стояла их церковь,
Такая,
Что словно приснилась.
И звонила она,
Будто их отпевала навзрыд.

Он лыс, как головка сыра, и нос у него
в угрях,
Глаза у него навькат и борода лопатой.
Он очень ученый дядя — и все-таки он
дурак.

К чему вся эта нелепая внешность? Разве в ней
суть? И что это за довод против аборта:

— Послушай, а что ты скажешь, если он
будет Моцарт,
Этот неживший мальчик, вытравленный
тобой?

Ведь не улыбку же хочет вызвать такими фра-
зами Кедрин? Тема стихотворения «Беседа»
серьезна. И должно оно быть не коллекцией
журезов, а гневной речью против легкомыслия
и безответственности в быту.

Итак, о своевременности применения тех или
иных приемов следует Кедрину подумать. О со-
падении их с заданием, с характером, с содер-
жанием произведения. Нельзя допускать, чтобы
рядом с настоящими, хорошими стихами в книге
встречались безвкусные пустяки. А в общем
жалко, что приходится останавливаться на всех
этих, очень заметных, недостатках. Кедрин мог
бы от них легко освободиться и равняться по
собственным лучшим образцам. Может, книга
стала бы тоньше, но внимание читателей привле-
кла бы. Есть же у Кедрина ясная жизнерадо-
стность, мягкая усмешка и легкий лирический
голос!

Сергей Спасский

*Алексей Сурков, «Так мы
росли», «Советский Писатель»,
М., 1940*

В книге Суркова много песен. Но трудно петь
песни Суркова. Они рассудочны, и мало в них
чувства. Слишком общи и сухи их слова.

Нашей юности открыты
Даль дорог и ширь полей.
Если хочешь стать джигитом,
Будь отважней и смелей!

Нет в таком тексте подвижности и горячности.
Первые две строки — очень спокойное определе-
ние. Третья и четвертая — полезное руководство.
Руководство можно принять к сведению. Но
вряд ли взволнует оно композитора и натолкнет
его на свежую мелодию. И с «далью дорог» и с
«ширью полей» нечего делать воображению. Ни-
чего тут не представишь, фразы гладки, как об-
точенные водою камни.

Мы живем в стране счастливых,
Все дороги нам открыты.
Мы несем на крыльях песни
Наши смелые мечты.
Мы мечтаем о полетах
В высь холодной стратосферы.
Мы лотим сквозь дождь и ветер
Вперед за Чакаловым лететь.

— Правильно. — хочется сказать Суркову.

Все это совершенно верно. Однако строки эти
выслушиваются как доклад. Вернее, как вступи-
ление к докладу. А после такого вступления
должны следовать конкретные примеры, сопос-
тавления, планы или даже цифры.

Но у Суркова после вступления никаких жа-
вых сведений нет.

Кстати, было бы неплохо подсчитать, сколько
раз и в каких случаях прибегают наши поэты к
выражению: «крылья песни», «лети, наша песня»,
«взвейся, песня» и «песня, звени».

Впрочем, надо оговориться: «Пионерская сюн-
та», из которой мы приводили цитаты, Суркову
особенно не удалась. Возможно потому, что
именно в таком, рассчитанном на юные голоса
тексте, совершенно необходимы яркость и све-
жесть образов, звучные и легкие сочетания слов.
Но и читая остальные песни. — походную, де-
вичью, кавалерийскую, — вспоминаешь Исаков-
ского или Асеева. И эти воспоминания не на
пользу Суркову.

В книге есть и поэмы. Надо отдать Суркову
справедливость: темы он берет всегда важные.
Он хочет, чтобы стихи его деятельно боролись
за советскую власть, за коммунизм. И потому
к его творчеству нужно относиться особенно
требовательно и внимательно. Вот поэма — «Дет-
ство героя» — начало повести, как сообщается в
подзаголовке. История мальчугана, служившего в
трактире у злого эксплуататора-хозяина. Мальчик
помогает матросам захватить заговорщиков —
белых офицеров — и затем уходит с матросами
сражаться за советскую власть. Примерно по-
добная история с исключительной правдивостью
и страстью рассказана нам Николаем Островским
в прозе. Такая повесть может быть всегда увле-
кательной и воодушевляющей. Ведь в любом
следующем случае мы встречаемся с новым,
незнакомым нам человеком, живущим в неповто-
римой, свойственной только данной биографии
обстановке. Как же вводит нас в обстановку
Сурков?

Тяжело служить в трактире
«Золотой якорь»!
По утрам вставай в четыре,
Чашками брякай;
И дровишек наколи,
И скатёртки настилай,
И с посудницей хромой
Всю посуду перемой.
И хлопот полон рот —
Поспевай только!
А хозяин орет:
— Шевелись, Колька!

Так по каким же признакам отличим мы этот
трактир от множества уже описанных в литера-
туре? Нет таких признаков у Суркова.

А вот матрос рассказывает Кольке о Ленине:

Ленин — друг большим и малым,
Он в Москве и за Уралом
Выручает бедняков
От хозяйчиков-волков.

Не совсем понятно здесь, почему собственно
упомянут Урал? Да и вообще живой матрос на-
шел бы более меткие, выразительные, жаркие
слова для характеристики великого человека.

Октябрьская ночь, взятие Зимнего. Нельзя не
вспомнить тут мощное, огромного охвата и в то
же время предельно реалистическое описание
Маяковского. Значит ли это, что после Маяков-
ского нельзя прикасаться к таким темам? Нет,
не значит. Но и в данном случае любой поэт-
«очевидец» должен взволноваться особым, только
ему свойственным волнением и все разглядеть и

улышаться так, как способен на это только он один.

Если же ничего нового поэт не может сообщить читателю по такому важному поводу, не стоит и начинать разговор. Что же сообщает нам Сурков?

Жгли махорку.
Затворы трогали.
Примыкали штucky,
Говорили:

— В Зимнем засели

Юнкера.

— Ладно... справим там новоселье

До утра! —

Шли к мостам

Без шутки, без песни.

Раз-два... раз!

Раз-два... раз!

Старый Лесснер.

Новый Лесснер,

Парвиайнен,

Айваз.

Скупая газетная сводка. Хроника, разбитая на строчки и старательно отрифмованная.

Цика стихов о Шевченко лучше других. Но и здесь остается впечатление, что сам Сурков не видал Украины, а, описывая украинский пейзаж, пользуется творчеством того же Шевченко:

Трава в степи дождем примята.

Белеют хаты за Днепром;

Горит заря; поют дивчата:

Скрипят чумацкие возы.

Над старым шляхом дым привала.

Улегся ветер, и грозы

И ливня будто не бывало.

Не случайно, что почти на любой странице книги вспоминаются другие поэты. Это не значит, что Сурков подражает им. Но вытеснить из нашего сознания чужие описания своим собственным Сурков не в состоянии. Тут дело и не в совпадении тем. Все мы живем общей жизнью, и естественно для писателей откликаться на одни и те же события. И, конечно, было бы смешно требовать от каждого поэта: будь не менее талантливым, чем Маяковский! Но собственное поэтическое лицо — оно должно выступать из книги стихов.

Мы можем одинаково думать о вещах несомненных и всем нам близких. Однако характер нашего чувства различен, как различны у людей походки и голоса. Вот этой особой способности чувствовать в стихах Суркова нет. И, пожалуй, главный порок книги, — тут мы возвращаемся к началу нашей рецензии, — главный ее порок — тот, что она рассудочна и холодна.

Сергей Спасский

В. Азаров. «Город моей юности». Ленизлитиздат, 1940

Этот город — Одесса, и в книге много черноморских стихов, родословная которых в русской литературе — от Пушкина. В наше время черноморские темы были подняты и развиты Багрицким. В ряде случаев Азаров идет по проложенной Багрицким дороге. От Багрицкого — романтическая любовь к южному ветру, бушующим

волнам, кораблям, к порту, к матросским тавернам, к берегу, на котором:

Жирной краской смазаны баркасы,
Сети сушатся на каменных террасах.

Эти подвижные, ярко расцвеченные картины и у Багрицкого и у Азарова пронизаны основной темой — темой всепобеждающей революции.

Романтический тон — не только в стихах об Одессе, много места в книге уделено испанской войне. Есть стихи о Сталине, об освобождении грудящихся Белоруссии от польского гнета, о финской кампании, о Пушкине, о Маяковском, о Пикассо. И во всех случаях Азаров стремится к взволнованной, горячей речи и пытается найти краски, какие, — опять уместно вспомнить об этом, — всегда были под рукой у Багрицкого. Впрочем, не один Багрицкий оказывает на Азарова влияние. По-хлебниковски звучат, например, такие строки:

Косою бровью шевельнула,
Почти невидимо кивнула,
Открыла широко глаза —
В них отражаются лесы
В канве багряного убора,
В них стыннут сизые озера.

И не без Пастернака и акмеистов написана хотя бы и «Одесская повесть».

Все это вполне естественно. Никто не входит в литературу безродным. Практическое использование хороших образцов укрепляет руку молодого поэта. Если только, конечно, за отражениями и отсветами все-таки можно разглядеть и его самостоятельные черты.

Такие черты в книге есть. И тут сразу надо высказать главное. Багрицкий и романтическая школа, по существу, Азарову чужды. Перед нами только временное внешнее совпадение приемов, вызванное совпадением некоторых тем. Прежде всего, — и это надо понять Азарову, — он гораздо интереснее и сильнее, когда он реалист, а не романтик (определение это, конечно, условно). Спокойное, точное, даже несколько сухое описание — в нем Азаров более правдив и «поэтичен», чем тогда, когда впадает в чрезмерную взволнованность и часто теряет при этом меру и вкус.

Растет волна прозрачная на дне,
Чтобы, взойдя цветком на вышине,
Мохнатой, влажной шапкою седой
Пловца накрыть внезапно с головой.

Это было бы совсем хорошо, если бы не было неясности в выражении «волна прозрачная на дне».

И совсем хорошо — о женщине, несущей ведро с водой:

Два озера на тонком коромысле
Несла черноволосая смуглянка.

И дальше:

О, разреши прильнуть губами
К ведру с дубовыми краями,
Чтобы насытить сердце мого
Горячий, ледяной глоток.

Насколько выиграла бы вся книга, если бы она была написана таким отчетливым, дающим наглядные образы языком!

Но Азаров бросается от одного стиля к дру-

гому. Вот начинается он отрывок из повести очень просто и ровно:

И вырос на устоях мост.
Взошел товарищ на откос.

А затем, когда мост взорван, вместо ясного описания происшедшего следует псевдопатетический образ:

Как раненый опрокинутый зверь,
Мост выпнулся и закричал (?).

И дальше:

Неистова и горяча,
Взлетела эта туша вверх.

«Неистовая туша моста» воспринимается как пародия.

Иногда Азаров впадает в расплывчатую риторику. Начинаются отвлеченные рассуждения, лишённые осязаемой чёткости:

Входил он в будущие головы,
С ним высшую мы узнавали смелость.
Нас, молодежь, сзывая за собой,
Он говорил, что так хотелось
Живым войти в тот мир, хотя б тайком...

Это из стихотворения о Маяковском. С трудом можно дочитать такую неуклюжую, запутанную фразу.

То, что Азаров тяготеет к повествовательной сюжетной поэзии, подтверждается еще одним наблюдением. Все стихотворения в книге кажутся отрывками из поэм. Одни — словно вступление к поэме («Мастер Гром», «В моем краю наполнен светом день», «Плыви, корабль», «Путь в Михайловское»), другие — легко принять за заключительные главы, например, «Есть дом в Москве». А «Рая Бар», «Песня о жизни и смерти Ани Леоновой» — это как бы неразвернутые сюжетные повести, нуждающиеся во второй, расширенной редакции. Часто лирическим стихотворением может быть названо, пожалуй, только первое — посвящение, надпись на книге, вещь, мало характерная для всего остального. И хочется пожелать Азарову, чтобы впоследствии из этих заготовок образовались у него законченные, вполне развитые стихотворные рассказы.

И хочется пожелать большей строгости к себе. В книге много неудачных, неверных, приблизительных выражений. Нехорошо: «ветер долетел — отравой стоячих вод», или «фронт приближался грудью тел». Неверно: «шумела медь». И дальше — сложно и вычурно:

Как будто не деревья
Росли, а трубы медные, корнями
Играя, сталкивались под землей.

Непонятно, кто кого задевает во фразе:

И задевают молодые ветки
Тела литых и грозных батарей.

Да неубедителен и самый образ — «тела батарей». Плохо: «крыло волны над городом летело». Такие обороты обнаруживаются на каждой странице.

Стоит подумать Азарову и над рифмовкой: «плоды — цветы», «земля — тебя», «колес — звезда», «зверь — вверх», «нельзя — друзьях», «обидно — Ида», «берет — порт», «объятый — клятва» — все это не рифмы и не те глубокие, опирающиеся на внутреннюю переключку слогов созвучия, какими

научил нас пользоваться Маяковский. Достаточно прочесть вслух любое из приведенных сочетаний, чтобы убедиться в их бедности и вялости.

Совершенно не обоснованы и отдельные ритмические переходы: почему после правильных пятистопных ямбических строк вроде —

Я шапку снял и поклонился низко —

следует пятистопный хорей: «Пушкину, отлитому из бронзы»? И дальше такой же случай: «И всюду проходили молодые — девушки, родные мне как сестры». Стих перебивается без всяких поводов. Внимание читателя затруднено.

Итак, книга очень неровна. Двойственность стиля, отрывочность и незаконченность отдельных стихотворений. Способному и умеющему находить настоящие слова поэту надо выйти из несвойственной ему романтической атмосферы. Надо упорядочить композицию и дать либо действительно развернутое повествование, либо, — что не менее трудно, — ряд коротких стихов, очень возвышенных и очень завершенных.

В отдельных случаях Азаров уже на подступах к будущим, очень хорошим стихам. Эти стихи, несомненно, будут реалистическими, внешне более спокойными, но по существу не менее горячими, чем теперешние молодые опыты Азарова. Кроме того, книга Азарова убеждает, что из Азарова может вырасти хороший прозаик. Но такие суждения уже выходят за пределы этой рецензии.

Сергей Спасский

Мартин Андерсен Хенсе.
«Конец пути». Перевод с датского А. Ганзен. Гослитиздат, Л., 1940

Каждая историческая эпоха, быть может каждое столетие, порождает свой тип писательской автобиографии. Так, во времена Возрождения — это мемуары Бенвенуто Челлини, напоминающая авантюрный роман многогранная жизнь универсального человека-художника, солдата, гражданина. Восемнадцатый век дает нам «Исповедь» Руссо, мощный манифест человечности, кое в чем предвосхитивший «Декларацию прав человека и гражданина». Деятнадцатое столетие, со времен Бертера и Чайльд-Гарольда, порождает образ индивидуалиста, вступающего в неразрешимый конфликт с обществом и, в конце концов, терпящего разочарование, поражение и окончательный крах. В конце XIX — начале XX столетия возникает трагедия художника «конца века», одержимого идеей гибели западной цивилизации и либо спасающегося бегством к дикарям, подобно Рембо и Гогану, либо кончающего сумасшествием, как Мопассан и Ван-Гог, самоубийством, как Жерар де Нерваль.

В XX веке в мировой литературе получает широкое распространение и признание новый тип писательской биографии. Это жизнь человека из народа, из низов, с ранней юности выброшенного за борт и вынужденного тяжким трудом пробивать себе дорогу в жизни; бесприютного скипальца, много носившегося по свету и видавшего страны, города и людей, спускавшегося глубоко на «дно» трупов и всюду делившего кров и хлеб с отверженными и обездоленными: художника,

который врывается в литературу буреви́стником и приносит с собой дыхание народного гнева, проповедь социального освобождения, живое ощущение грядущего.

Здесь художник кровно и неразрывно связан с восходящим классом, классом-строителем и победителем в исторической перспективе; отсюда черпает писатель свои силы, свою неутомимость в борьбе, свой оптимизм, сломить который не под силу никаким житейским невзгодам.

Такова прежде всего жизнь Горького. Близок к ней путь Мартина Андерсена Нексе. В той или иной степени можно говорить в этом плане о жизни Джэка Лондона, Уэллстона Хьюза.

Горьковский голос звучит в книге пролетарского гуманиста Дании, друга русской революции и советского народа, Мартина Андерсена Нексе — «Конец пути».

Человек и художник, Нексе многим обязан русской культуре. Автор первого в датской революционной литературе настоящего социально-политического романа «Пелле-завоеватель», летописец пробуждения пролетариата, художник рабочего движения в Дании 80-х годов прошлого столетия, участник революционной борьбы, товарищ и соратник рабочих. — Нексе многому учился у русской революционно-демократической мысли, у героической борьбы пролетариата России.

Писатель горьковской школы, он вырос под сильным влиянием русской классической литературы. Огромное влияние на его творчество оказал социально-обличительский пафос, высокая идейность и героический характер, широта и правда ее реализма и романтика революционной мечты. Один из самых старых и верных зарубежных друзей СССР, частый гость на Советской земле, автор книг о Советском Союзе — «Навстречу молодому дню» и «Два мира», публицист, которому принадлежат ряд статей, очерков, выступлений и речей в защиту СССР и среди них брошюра «Руки прочь!», Нексе за все эти годы не дрогнул перед клеветой и травлей, не поколебался и не изменил, не прекратил борьбы с врагами нового социалистического мира.

И в последней книге «Конец пути» его внутренний взор все так же устремлен на Восток, к стране социализма, с тем же юношеским энтузиазмом, который когда-то воодушевлял молодого Нексе, вступавшего в жизнь и литературу.

«Люди и книги» — так, в сущности, следовало бы озаглавить эту повесть о встречах с людьми и книгами, продолжающую прежние части «Воспоминаний» — «Под открытым небом» и «В чужих людях».

«Описывая собственный жизненный рост и развитие, — говорит Нексе, — я попытался обрисовать путь развития пролетарского мальчугана в человека, такого представителя человечества, которому есть что сказать другим людям».

Перед нами открываются страницы этой трудной, мужественной жизни. Юность сына каменщика, который с детских лет работает подпаском, батраком, сапожным подмастерьем, черноработчим на стройке, каменщиком. Студенческие годы в Асковской высшей народной школе. Борьба с нуждой и лишениями, горечь унижений и разочарований, конфанкт с буржуазным обществом, которое не приемлет правдоискательства юности, его гуманизма, его суровых моральных требований.

И все это показано на широком фоне истории общественной мысли Дании конца прошлого сто-

летия. Яркими красками обрисована борьба лучших сил юношества с засильем реакции в науке, с поповщиной и мракобесием, с гнетом официальной идеологии господствующих классов. Развертываются различные течения — философские, политические и историко-культурные, рисуется их борьба. Один за другим проходят написанные смело и правдиво портреты ученых и профессоров.

Заправляет делами в Аскове лагерь воинствующей реакции. Первый в этом лагере — сам директор Людвиг Шредер, идеалист в философии, символист и мистик в истории культуры и искусствоведении, консерватор и реакционер в политике. Его правая рука — Поуль Лякур, профессор естествознания и физико-математических наук. Этот острый, изощренный и изобретательный интеллект, действующий неотразимо на юношеские души огромной силой личного обаяния, скован религиозностью и становится слепым орудием реакции. Естествоиспытатель — он отрицает эволюцию видов, физик — признает божество первопричиной мироздания, ученый — смиряется по призыву власть имущих: «На колени перед библией, гг. профессора!» Призыву этому подчиняется также и Нуцхорн — историк, суровый, точный и скептический ум, чуждый экзальтации и пафоса, скрывающий за ширмой официальной идеологии глубокую внутреннюю опустошенность и крушение идеалов.

Но есть в Аскове и другой лагерь ученых, которые не страшатся выступить против традиций, чтобы расчищать дорогу новому. Это Фейльберг, бывший священник, ныне ученый филолог и фольклорист, ненавидящий религиозную, национальную и расовую вражду и исповедующий братство наций, утверждающий принцип народности культуры и едва ли не верховный суверенитет народа как хозяина и творца жизни. Это также Хольгер Бетруп, любимец молодежи, литературовед и преподаватель гуманитарных наук, по духу новатор и революционер в науке, по методу материалист и социолог.

С окончанием Асковской высшей народной школы у Нексе наступает иная жизнь. Он становится сельским учителем. Свообразное «народничество» овладевает им. Сомнения и идеалы, чуткая совесть интеллигента, вышедшего из низов, дух просыпающегося социального протеста и грезы об идеальном переустройстве общества наполняют духовную жизнь юного Нексе.

И здесь писатель рисует с огромной теплотой и человечностью образы униженных и обездоленных, людей социального «дна». Нельзя забыть детей из приюта на острове Фюн, которые ведут жизнь заключенных в концлагере. Тупые, оборванны, грязные, безразличные ко всему на свете, они день-деньской работают из-под палки батраками на поле, перенося лишения, голод, истязания и все свое арестантское существование. Напоминает Фантину из «Отверженных» Гюго красавица-швея, покинутая мужем с двумя малютками на руках, слепнущая над работой и чахнущая от любовной тоски, в жестокой борьбе за существование готовая слиться и упасть, поддерживаемая лишь силой материнской любви. Запоминается надолго обманутая жизнью учительница, изо дня в день ведущая беспросветное, грешное существование, истеричка с болезненной фантазией, терзающаяся иллюзиями и кошмарами в свои бессонные ночи.

И эти страницы Мартина Андерсена Нексе перекликаются со многими страницами классической русской литературы, проникнутыми тем же чувством ответственности революционно-демократической интеллигенции перед народом.

Здесь же у Нексе возникают совершенно чешские мотивы в изображении коттеджа фру Мольбек, где одиноко живут две женщины, вдова и дочь известного датского поэта. Самые теплые и нежные интонации находятся у Нексе для этих людей старинной культуры, тонко чувствующих и мыслящих, «людей, которых жизнь носила на руках и бережно пронесла не через одно поколение и которые оплатили жизни своей добротой и благородством». Здесь звучат мотивы «Вишневого сада», лирическое «прощание с прошлым», неотвратимо уходящим навсегда, меланхолическая поэзия увядания, угасания, медленного разрушения старинных дворянских гнезд...

Нежданно в жизнь молодого Нексе врывается болезнь — лихорадка, переходящая в воспаление легких и туберкулез. Долгие месяцы тянется агония, в одиночестве и заброшенности. Но тогда начинается борьба с болезнью и смертью, борьба человеческой воли к жизни. И человек побеждает, побеждает огромным напряжением всей своей энергии, всех своих жизненных сил.

Нексе выздоравливает и отправляется в путешествие по Средиземному морю, без гроша в кармане, без профессии, без работы, но с безграничной жадной жизни. Эта часть повести напоминает кинофильм: словно на разматывающейся ленте, мелькают города и страны — Италия, Греция, Испания, Северное Марокко. Пестрой, хаотической толпой теснятся люди — туристы, бродяги, содержатели гостиниц, художники, поэты. И среди них — молодой Нексе, подобно Тилу Уленшигелю, нищий, веселый и вольный, всасывающий, как губка, все впечатления, все краски и запахи окружающего мира. переполненный ненасытной радостью жизни...

Книга заключается главой о писательском труде. Юноша созрел, все наиболее человеческое и человеческое в нем выкристаллизовалось, отчеканилось в горниле бедствий и скитаний, в том огне правдонскательства, который сжигал эту лихорадочную юность. Настала пора ему нести в литературу свой тяжкий, выстраданный опыт, знание жизни и людей, горечь рано созревшего, большого и мудрого сердца, чувство братства с отверженными своего народа и всего мира. И он становится писателем.

Эта глава — своеобразный манифест поэтики и философии искусства Мартина Андерсена Нексе.

«Настоящий писатель», — говорит Нексе, — друг народа, собрат каждого человека, мудрец и человеколюбец. Его назначение — «глаголом жець сердца людей, говорить с каждым на его родном языке, голосом сердца и совести, учить каждого труду и песне и радости жизни, поддерживать в жизненной борьбе и неустанно указывать на светлое будущее всего человечества, как на цель всех стремлений и усилий. Его единственное оружие в этой борьбе — правда, правда художника, философа и революционера, и этим оружием он должен бороться и побеждать.

«Писатель-художник — внутреннее око человечества, открытое для всего малого, незаметного на поверхностный взгляд. Благодаря писателю-художнику, люди учатся приобщаться к жизни цветов, птиц, детей и бедняков, угнетенных, обездо-

ленных людей. Но лучше, если он, вместе с тем является оком, охватывающим и великое, крупное, отличается дальновзоркостью и тем вечным беспокойством, которое постоянно толкает его самого и побуждает подтакивать других людей на ревизию условий жизни человечества, на ревизию всего мира!»

Так кончается эта замечательная, проникнутая глубокой человечностью книга. Это, поистине «L'hr- und Wanderjahre» — годы учения и странствий юноши, который становится писателем и гражданином, рупором социальной совести своего народа.

Р. Миллер-Буаницкая

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Т. I. «Библиотека поэта». «Советский писатель». А. 1940

Среди новых изданий сочинений Лермонтова особое место займет двухтомное издание большой серии «Библиотеки поэта» под редакцией Б. М. Эйхенбаума.

Из числа дошедших до нас 400 стихотворений Лермонтова первый том включает 286 (поэмы и стиховые драмы будут помещены во втором томе). При этом стихотворения второго периода (1836—1841) представлены почти полностью, за исключением нескольких мелочей и фрагментов, не имеющих большого литературного или общественного значения. Главным образом к юношеской поэзии Лермонтова относится то, что Б. М. Эйхенбаум говорит в заметке «От редактора»: «Для «Библиотеки поэта» необходимо произвести некоторый отбор, но отбор этот должен быть сделан не просто на основе вкуса редактора: поэзия Лермонтова должна быть представлена читателю «Библиотеки поэта» не только в своих достижениях, но и в процессе своего роста и развития. Здесь должна быть показана поэтическая работа Лермонтова и эволюция его воззрений, тем, образов и жанров. Отсюда — принцип отбора, положенный в основу настоящего издания его стихотворений: включено все характерное и важное для понимания Лермонтова». Эту редакторскую установку Б. М. Эйхенбауму вполне удалось опра- вдать на практике.

В настоящем издании Б. М. Эйхенбаум, отказавшись от статьи обычного типа, с биографией и общей характеристикой творчества, — озаглавила свою вступительную статью: «Художественная проблематика Лермонтова». Не стремясь к полноте в освещении материала, Б. М. Эйхенбаум ставит ряд вопросов, важных для понимания лермонтовского творчества, в частности его раннего творческого периода.

В первом разделе статьи высказаны интересные соображения о «французском байронизме», о том, что явления европейской, в частности английской, культуры доходила до Лермонтова, преломляясь через левый французский романтизм 20—30-х гг.

Во втором и третьем разделах Б. М. Эйхенбаум поднимает вопрос о связи Лермонтова с шеллингянством, предлагая при этом различать в русском шеллингянстве правое и левое крыло. «Представители левого шеллингянства (как профессор физики М. Г. Павлов) искали в на-

турфилософии Шеллинга обоснования новым, передовым учениям физики и химии, а в его философии истории, этике и эстетике обоснования передовым общественным, политическим, нравственным и художественным воззрениям (как Вевитинов, Кошелев, Кюхельбекер, как Станкевич, молодой Белинский, Надеждин). Положение новое, открывающее перспективы, но в пределах вступительной статьи его, конечно, невозможно было широко аргументировать, и потому дальнейшие выводы приходится делать с осторожностью.

В отличие от творчества поэтов-любомудров, юношеское творчество Лермонтова связывается не с натурфилософией и эстетикой Шеллинга, но с его учением о природе добра и зла, изложенным в сочинении 1809 года: «Философские исследования о сущности человеческой свободы».

«Проблема добра и зла, ангела и демона, рая и ада составляет идейный и языковой центр юношеского творчества Лермонтова», — пишет Б. М. Эйхенбаум и лермонтовские высказывания, разбросанные в ранней лирике, в «Вадиме», сопоставляет с такой, например, цитатой из Шеллинга: «В человеке содержится вся мощь темного начала и вся сила света. В нем — оба средоточия: и крайняя глубь бездны и высший предел неба». Очень ценно, что Б. М. Эйхенбаум расширяет таким образом наше представление об истоках романтического интереса к теме демона. Но все же остается открытым вопрос, действительно ли Лермонтов в данном случае непосредственно обращался к «Философским исследованиям о сущности человеческой свободы».

В книге Шеллинга Лермонтова могли бы увлечь отдельные формулировки, но по своей основной концепции эта книга, связанная с более ранним трудом Шеллинга «Философия и религия», — вряд ли была для Лермонтова приемлема. По Шеллингу — свободная человеческая личность, как таковая, и является носительницей зла. Зло признается необходимым двигателем мирового процесса, но потому только, что оно направляет отпавшего от божества «своевольного» человека к конечному растворению в божественной гармонии. Имя Шеллинга в этой связи важно для понимания философской атмосферы эпохи. Но с темой протестующей личности, с темой добра и зла юный Лермонтов встречался в идиоматическом контексте, ему гораздо более близком. На эти источники Б. М. Эйхенбаум указывает сам: «Учение Шеллинга о зле, содержащее в себе как будто скрытую тенденцию к его оправданию, прямо соприкасалось с такими вещами, как «Кани» Байрона, как статья Шиллера о трагическом или же «Разбойники» (с фигурой благородного разбойника Карла Моора)».

Это тем более важно учесть, что содержание понятия добра определялось для Лермонтова так же, как для Шиллера, как для Байрона, — революционно-гуманистическими идеалами эпохи.

Лермонтов, конечно, не отрицал добро. Он отрицал официальную и обывательскую добродетель, а в зле видел неизбежную и трагическую реакцию свободлюбивого духа на порядок вещей, исключающий истинное добро. Подобные выводы подсказывает нам и Б. М. Эйхенбаум, говоря о лермонтовских демонических натурах, «ищущих добра и именно поэтому обреченных на зло». Так что речь здесь идет не о возвращении по существу, но о потребности уточнить и рас-

крыть продолженную во вступительной статье формулировку: «оправдание зла».

Очень интересна попытка установить связь между драматургией Лермонтова и драматургией теории Шиллера, который в основу истинной трагедии кладет столкновение человеческих сил и «хотений».

Четвертый раздел статьи кратко намечает эволюцию Лермонтова от патетического романтизма к иронии и след затем к постижению конкретной действительности, к реализму.

Пятый и последний раздел посвящен главным образом теме: Лермонтов и Белинский. Б. М. Эйхенбаум высказывает здесь чрезвычайно плодотворную мысль, что на статье Белинского о «Герое нашего времени» сказалось впечатление от свидания с Лермонтовым в орданансгаузе, когда Белинский, по его словам, впервые увидел Лермонтова «в настоящем свете».

«...Статья Белинского о «Герое нашего времени», — пишет Б. М. Эйхенбаум, — представляет собою не только критическую статью о романе, но и некоторый итог впечатлений от беседы с Лермонтовым, продолжение спора с ним и своего рода мемуар, в котором Белинский в форме характеристики Печорина дает характеристику самого Лермонтова». Это положение многое объясняет в статье Белинского, в частности необычайно высокую оценку Печорина, как бы не вполне оправданную текстом романа. И в свете этого положения по-новому звучит высказанная в свое время П. В. Анненковым мысль, что Лермонтов своей личностью и творчеством оказал решающее влияние на Белинского в момент его разрыва с правым гегельянством и окончательного перехода на позиции социального протеста.

Издание большой серии «Библиотека поэта» — не академическое и не массовое. Это позволило редактору не совсем обычным образом построить вступительную статью и комментарий и расположить материал по особому тематическому принципу.

Стихотворения Лермонтова разделены на три отдела. «...Первый отдел дает нечто вроде поэтической автобиографии, второй — развешивает перед читателем философскую и гражданскую тематику, а третий показывает развитие эпических и фольклорных жанров». — Так формулирует Б. М. Эйхенбаум в заметке «От редактора» принятый им принцип распределения. «Хронологическое расположение стихотворений, — пишет он, — часто скорее мешает, чем помогает, а при наличии отбора оно вообще терлет свой смысл». С этим нельзя не согласиться, но все же композиция издания вызывает некоторые сомнения.

Прежде всего она отменяет традиционное и вполне правомерное разделение лермонтовской лирики по двум основным периодам: 1828—1832 и 1836—1841. В годы пребывания в юнкерской школе и в первый год военной службы Лермонтов почти не писал лирических стихов. Снова и по-новому он начинает писать с 1836 года. Таким образом, 1832 год является естественным пределом для юношеской лирики Лермонтова.

Большой заслугой посвященных Лермонтову работ Б. М. Эйхенбаума является то, что он привлек внимание читателя к юношеской поэзии Лермонтова, раскрыл в ней необычайную напряженность умственной и эмоциональной жизни поэта, спас от незаслуженного забвения такое, например, замечательное произведение, как «1831 год

июня 11 дня» и т. д. И все же грань между двумя периодами представляется мне необходимой.

Первый период — это опыты и искания, это вещи, которые Лермонтов сам никогда не печатал (за исключением одного только «Ангела», помещенного в 1840-м году в «Одесском альманахе»); второй период — это одна из вершин русской поэзии, небольшое число законченных лирических творений зрелого Лермонтова. При распределении, принятом Б. М. Эйхенбаумом, грань эта неизбежно стирается. Хотя внутри каждого отдела хронологическая последовательность сохранена.

В юношеской лирике Лермонтова действительно можно довольно отчетливо различить политические стихи, философские монологи, баллады и песни в фольклорном духе, наконец, чистую лирику, распадающуюся на несколько любовных циклов, и т. д. Иначе обстоит дело со стихами второго периода. Конечно, «Смерть поэта» или «Дума» бесспорно находят себе место во втором отделе, а «Дары Терска» или «Воздушный корабль» в третьем, но очень многое оказывается спорным. И это не случайно — ведь самая сущность поздней поэзии Лермонтова в напряженном взаимодействии между личным и общим, в том, что его гражданские стихи лиричны, а вся его лирика гражданственна, несмотря на отсутствие в эти годы особой, специально выделенной политической темы. Это относится не только к таким вещам, как «И скучно и грустно», но, например, и к «1-му Января», в котором обличение светской черни неразрывно переплетается с мотивами природы, воспоминаний детства, первой любви.

В то же время в зрелой лирике Лермонтова любовная и вообще эмоциональная тема все больше поглощается повествовательной формой. Б. М. Эйхенбаум в своей книге «Лермонтов» сам в свое время очень верно писал о лирическом и личном значении стихотворных «новелл» Лермонтова. Но в таком случае оправдано ли их отношение в отдел «эпических и фольклорных жанров»?

В этот отдел отнесены, между прочим, «На севере диком стоит одиноко», «Утес», «Дубовый листок оторвался от ветки родимой» — вещи насквозь лирические, символически раскрывающие душевное состояние поэта. В то же время в разных отделах оказались произведения, связанные между собой глубоким единством художественного метода, например: «Валерик» и «Родина» или «Сон» и «Любовь мертвеца».

Композиция издания, разумеется, нашла себе отражение в комментарии, но если эта композиция вызывает возражения, то о комментарии следует безоговорочно сказать, что он является ценнейшим вкладом в научную литературу о Лермонтове.

Комментарий написан в виде связного изложения. Подобные опыты делались и раньше, но Б. М. Эйхенбаум особенно удачно разрешил здесь стоявшие перед ним композиционные и стилистические задачи. Охватывая и биографию Лермонтова и становление его литературного и общественно-политического сознания, комментарий Б. М. Эйхенбаума полотно раскрывает и все необходимые для понимания текста реалии.

В доступной и интересной форме читателю предлагается свод изысканий, принадлежащих и Б. М. Эйхенбауму и другим исследователям.

Благодаря связному изложению, ведущему поэта не от стихотворения к стихотворению, но от проблемы к проблеме, — комментарий, вполне полный свое назначение, в то же время представляет собой как бы конспект большой работы о Лермонтове, всесторонне освещающий его жизнь и творчество.

А. Гинзбург

Денис Давыдов. «Военные записки». Изд. «Художественная литература», М., 1940

«Военные записки» Дениса Давыдова для советского читателя представляют значительный интерес во многих отношениях. Знакомясь с произведениями и яркой личностью знаменитого партизана, мы полнее ощущаем русскую военно-историческую традицию, с гордостью повторяем имена смелых, талантливых полководцев и патриотов, еще раз убеждаемся в истинности утверждения, что русский народ умеет воевать и любит воевать за справедливые цели.

Давно пришло время вновь появиться на книжной полке произведениям Давыдова — они не переиздавались почти пятнадцать лет. Можно пожалеть только, что настоящее издание ограничено частью военно-исторических работ Давыдова, что нет, например, его замечательных, содержательных очерков войны 1806—1807 годов и последних очерков мемуарного цикла (1826 и 1831). Повидимому, составитель Вл. Орлов был связан ограниченным листажом книги. Жаль также, что читатель, желающий получить полное представление о Денисе Давыдове, должен будет ждать выпуска его стихов в «Библиотеке поэта». Пора бы издать однотомник произведений Давыдова.

Огромным достоинством вышедших «Военных записок» является их верность первоначальным текстам автора. Вл. Орлов проделал кропотливую исследовательскую работу над материалами, хранящимися в Ленинградском Военно-историческом архиве, и ликвидировал, насколько это было возможно, все поправки и переделки редакторов и цензоров.

Это важно потому, что Давыдову возвращена свобода мысли, восстановлены его резкие выступления против военной рутинной, поднимающие завесу над официальными и официальными описаниями, осмеивавшие горе-стратегов австрийской «пунктуальной» школы. Это тем более важно, что стиль Давыдова, то торжественно-величавый, то романтично-взволнованный, то памфлетно-иронический, представляет своеобразное единство формы и содержания. Сам Давыдов придавал существенное значение форме своих военно-исторических записей, говорил о «силе» и «душе периода». И с ним вполне соглашался Пушкин, писавший Давыдову в ответ на жалобы на редактора Сенковского: «Сенковскому учить тебя одесскому языку — все равно, что евнуху учить Потемкина».

Записки Давыдова дают превосходное изображение главных военных операций и, наряду с этим, живое, картинное описание частных эпизодов войны. Составитель книги в примечаниях оговорил свое несогласие с отдельными выводами автора. Иногда эти примечания представляются спорными:

«Давыдов. — пишет Орлов, — не понимал ку-тузовской стратегии и обвинял его в нерешительности».

Но существо дела — не в оценке психологических мотивов деятельности Кутузова, а в объективном значении решений главнокомандующего. Трудно сосчитать, что было экономичнее: решительное преграждение пути отступающей армии Наполеона и уничтожение ее зимой 1812 года, или продолжение войны в Европе еще два года, так это и получилось. Во всяком случае, смысл всех заключений Давыдова по кампании от Тарутна до Березины клонится не к умалению личных достоинств полководца, а к критической оценке «изморных» планов военного руководства с точки зрения суворовско-багратионовской стратегии.

Как критическая военная история, записки Давыдова, несомненно, остаются и для наших дней ценным документом интересного военного мыслителя. Достаточно указать на анализ действий Чичагова и Витгенштейна в 1812 году, на описание сражения под Прейсш-Эйлау и предшествовавших этому сражению маршей противников, наконец, на выпуклую и точную характеристику финляндского театра войны.

Самое любопытное в «Записках» Давыдова — живо написанные им, несмотря на фрагментарность, портреты ряда крупных военных деятелей эпохи. Рассказ о Суворове остается лучшей страницей русской литературы, посвященной гениальному полководцу. Без Давыдова мы не знали бы неустранимого спартанца Кульнева. Наконец, Давыдов сохранил для потомства черты одного из замечательных людей эпохи — А. П. Ермолова.

И здесь, вероятно в стремлении умерить читательское увлечение пылкими словами Давыдова, составитель сборника Орлов недооценивает общественно-политический смысл задачи, поставленной себе автором. По мнению Орлова, панегирики Давыдова в значительной мере объясняются родственными и дружескими отношениями между Ермоловым и Давыдовым. Это соображение не лишено оснований, но оно недостаточно и обедняет образ Давыдова.

В своей содержательной вводной статье В. Орлов правильно рисует либеральное фрондерство, свойственное Давыдову до конца его дней, хотя поэт-партизан был далек от политической активности даже правого крыла декабристов. Но и Ермолов не имел прямых, непосредственных связей с декабризмом, а между тем намечался в члены правительства после государственного переворота. Почему? Да потому, что в глазах дворянского общества, отделившего себя от александровско-аракчеевской бюрократии, Ермолов был деятелем такого типа, на котором могли сойтись почти все или очень многие. И несомненно, что Денисов как выразитель антиофициальной, антипридворной мысли не случайно и до и после 1825 года возвращается к фигуре Ермолова. До 1825 года Ермолов был надеждой (вспомним стихи Кюхельбекера 1821 года). После 1825 года он — опальный «проконсул Кавказа» — стал олицетворением прошедшего; ему, из оппозиции ко времени, придавалось значение знамени и воздвигался литературный памятник.

В некоторых случаях текст Давыдова остается совсем без примечаний и широкого читателя может ввести в заблуждение. Давыдов, например, метко характеризует Чичагова, попутно объявляет,

что в победе Сенинина при о. Тенедосе «было выказано более мужества, чем искусства». Эта колкость несправедлива. Искусства в победе при Тенедосе адмирал Сенинин, замечательнейший после Ушакова флотоводец, проявил не меньше, чем мужества. Историческую ценность и объективность «Записок» эта случайная фраза современника, знавшего флот по насильшке, конечно, не умаляет. Но обязанностью редактора перед советским читателем было восстановить честь большого человека и патриота.

Кстати, нашим историкам и литературоведам следовало бы извлечь из мрака времени мемуары военных моряков, чего заслуживают и Свиньин и Метакса, и Головини, и Броевский.

А Зоник

Георгий Шенем. «Техника стиха». Практическое стиховедение. «Советский писатель». 1940

Книга построена как заправский учебник по какой-нибудь точной науке: с разделами, подразделами и параграфами, с таблицами, схемами и чертежами, с примечаниями, исключениями и упражнениями. Такое оформление мотивировано учебным и сугубо-«техническим» заданием книги. «Задача этой книги, — пишет автор, — чисто практическая: помочь начинающему поэту овладеть элементарной стиховой техникой, — «поставить ему руку», как говорят пианисты».

Если от этого строго-«технического» уклона читатель что-нибудь выигрывает в методическом отношении, то в существе дела он сильно проигрывает. Чтобы представить учение о стиховой речи в виде свода технических правил, автор отбросил всю проблематику стиха, как специфического выражения смысла. Он совсем не затрагивает вопросов семантики стиха, стихового синтаксиса, стиховой интонации (за исключением нескольких слов об «enjambement») и главы «Выразительность стиха», посвященной вопросу о сильных и слабых ритмических долях).

Начисто отсутствует какая бы то ни было историческая перспектива. Автор излагает законы «классического» и разных видов «свободного» стиха так, как будто это рядоположные и равноправные технические системы — вне времени и пространства, вне истории русского стиха и поэтических направлений, даже вне стиля и жанра. Дается, скажем, классификация рифм. Читатель узнает, что есть рифмы тавтологические, омонимические, составные, усеченные. Но он не узнает даже того, что составные и усеченные рифмы характерны для Маяковского и невозможны у Пушкина. Учебник идеально безыменен. Все приведенные цитаты даны анонимно.

Из 130 страниц текста 110 заняты описанием стихотворных размеров, а «Эвфония», «Строфика» и «Выразительность стиха» уместились на 20 страницах. «Строфике», в частности, посвящено две страницы. В предисловии автор пишет, что для подробного изложения строфики он «не располагал местом». Он был так стеснен, что отказался, например, от объяснения, что такое сонет:

О сонете лучше вовсе не говорить, чем гово-

этих вскользь». Но так ли уж необходимо было уделить свыше ста страниц описанию размеров?

Большую долю места занимает описание пяти классических размеров разной стопы. Не надо думать, что размерам дается стиливая, жанровая, вообще историко-литературная характеристика. Нет, — автор говорит почти исключительно о «формах» и «модуляциях» каждого размера (определяемых местами пропусков ударения и словоразделов). Форм и модуляций оказывается несметное множество. Читатель должен, например, узнать, что бесцезурный пятистопный ямба имеет формы: 1. ЯЯЯЯЯ. 2. ПЯЯЯЯ. 3. ЯПЯЯЯ. 4. ЯЯЯПЯ и т. д. — всего 16 форм. Они иллюстрируются примерами и схемами (по Андрею Белому), — а для чего это нужно читателю, да еще начинающему, — автор не сообщает. Вместо всех этих «форм» нужно было бы только дать ясное понятие о том, что не все ударения метрической схемы осуществляются в реальном звучании, да на нескольких примерах показать разнообразие этого звучания в зависимости от распределения ударений и словоразделов в стихе.

Еще сложнее с ударениями лишними против метрической схемы. Вместо того чтобы кратко объяснить наличие дополнительных ударений и условия их появления в стихе (неметрическое ударение должно быть подчинено метрическому или отделено от него логическим перерывом), Г. Шенгели дает для каждого размера отдельные правила замены его стоп другими стопами: в том числе «двухударными» и «трехударными» — бакхиями, амфимахрами, тримахрами, спондеями и т. д.

Усвоить и запомнить эту премудрость начинающий читатель сможет лишь путем тяжелого труда. Между тем, перечисление всех «заменяющих» стоп не только методически бесплодно, но и научно несостоятельно.

В стиховедении достаточно прочно установлено, что стопа — условное деление, а не первичная метрическая реальность. Хорейческая стопа, скажем, есть название определенной части стиха, написанного хореем, — и в хорейском стихе не может быть ничего, кроме хореев.

Общий ритмический импульс выражается и в стопах с «неметрическими ударениями»: одинаковое сочетание слогов по-разному произносится и осознается в разных ритмических системах — и поэтому говорить о стопах ямба в хорее или наоборот — совершенно неправильно.

Наконец, признание наличия в стихе инородных стоп вносит в метрику полную анархию, ибо стих, истолкованный как сочетание хорейской стопы с тремя ямбическими может с таким же правом быть разрезан на одну дактилическую и три хорейских стопы и т. п. Шенгели и сам указывает, вразрез со своим анализом, что «в одной строчке, как правило, не сочетаются разные размеры» (стр. 76).

Описав классические размеры, автор обращается к так называемому «свободному стиху». Здесь бросается в глаза тенденция сводить свободный стих к классическому. Для этого вводятся понятия паузы, «словоизлишка» и «перебои». Где не хватает одного слога до схемы, — там постулируется наличие паузы. Где мало ординарной паузы, — вводится дэзияна. Где слогов больше, чем надо, — избыток объявляется «словоизлишком» и, в зависимости от числа лишних слогов, ему присваивается название «трисми», «квартоли», «квин-

толи» и т. д. Если все это не доводит стиха до схемы, — в нем находят «перебои».

Умеренное употребление этих приемов может быть, свои основания для стиха, слегка отступающего от классических схем, — но совершенно нелепо вгонять в классические схемы стихи, построенные на иных метрических принципах.

С помощью пауз, словоизлишков и перебои можно превратить любой свободный стих в классический стих любого размера. Скажем, Шенгели трактует стих

Раз он в море закинул невод
как пятистопный хорей с паузой после второй стопы:

Раз он в море \wedge закинул невод.
Но ведь таким способом из строки можно сделать и трехстопный анапест:

Раз он в море закинул \wedge невод

и четырехстопный дактиль:

Раз он \wedge в море закинул \wedge невод

и четырехстопный амфибрахий:

\wedge Раз он \wedge в море закинул \wedge невод

и вообще все, что угодно.

Вторую строфу «Нашего марша» Маяковского. Шенгели объявляет «любопытным образцом трехстопного дактиля» и вгоняет ее в такую схему:

Дней $\wedge \wedge$ бык $\wedge \wedge$ пег,
Медленна лет \wedge арба.
Наш $\wedge \wedge$ бог $\wedge \wedge$ бог.
Сердце \wedge наш барабан.

Зачем эти выдумки, когда строфа написана правильным трехударником?

Далее Шенгели кладет отрывок из поэмы «Ленин» на прокрустово ложе трехстопного анапеста, а отрывок из «Облака в штанах» вколачивает в схему четырехстопного анапеста. Конечно, получается множество пауз и излишков. Но для чего это делается? Что это поясняет в структуре стиха Маяковского? «Не следует думать, — пишет автор, — что мы как-то приравниваем дольник к анапесту, мы просто натягиваем свободную ткань дольника на жесткий каркас анапеста, чтобы ясно видеть, где ткань «морщит» (квартоли и квинтоли), где «дает трещину» (паузы). Таким способом учащийся может разобраться в реальной структуре дольника и уловить в ней известные закономерности» (стр. 105).

Как ему уловить закономерности, когда их не уловил сам автор и когда на самом деле в разбираемых стихах нет ни пауз, ни излишков и стих вовсе не «морщит» и не дает никаких «трещин»?

Г. Шенгели понимает, конечно, что на одних отступлениях от «правильных» размеров теорию свободного стиха не построишь; он признает наличие и «дольника» и «тактовика» и излагает в общем правильно принципы их строения. Между тем, принятая им система учета «излишков» и подстановки «пауз» делает ненужными какие бы то ни было другие принципы и сосуществовать с ними не может. В результате — нечеткость метрической квалификации «свободных стихов».

Тенденция везде видеть «замены» и «паузы», конечно, не случайна. Она восходит к книге автора «Трактат о русском стихе», в которой он, двадцать лет тому назад, оформил свои метри-

пятнадцатом» из однодневной газеты «Владимир Маяковский», Л., 1930), наконец включение в книгу большого очерка о Репине, вышедшего в 1936 году отдельным изданием и подвергнутого здесь лишь незначительным сокращениям. Многолетнее знакомство Чуковского с Репиным, превосходное понимание не только его мастерства, но и замечательных черт его индивидуального облика — его трудолюбия, искренности, упорства, скрупулезной требовательности и настоящего подвижничества в искусстве, наконец, большой выбор фактов, наблюдений, воспоминаний и подлинных писем художника, рисующих его в разные периоды жизни, — все это придает очерку Чуковского ценность неоспоримого документа и полностью оправдывает его переиздание.

Однако читатель не может пройти мимо того, что ряд фактов, фигурировавших прежде, теперь опущен, а некоторые приведены в урезанном виде. Поскольку речь идет о мемуарных свидетельствах, содержащих записи прямых высказываний писателей по тем или иным вопросам, постольку исчезновение или усекование отдельных, уже завоевавших определенную известность эпизодов не может обойтись без специальных объяснений.

Так, например, в вышеназванном очерке о Маяковском и Репине (очерке 1936 года) содержится пространная запись тех замечаний, которые Репин сделал по поводу шаржей Маяковского, говоря о реалистической манере его письма, о чуждости его футуризму и т. д. Не трудно заметить, что это высказывание Репина, перенесенное в книгу, потеряло ряд существенных элементов. Из очерка «Горький во «Всемирной» совершенно выпала вся история с неосуществленным замыслом горьковской поэмы о Васье Булаеве. Совершенно обойдены Чуковским его прежние свидетельства об отношении Маяковского к Некрасову и Пушкину (см. статью «Два поэта» в журнале «Смена», 1936, № 3). Если книги, издаваемые сейчас К. Чуковским, должны представлять собой полный свод его воспоминаний о русских писателях, художниках и т. д., то как понимать все эти факты: как случайный пропуск, простую ошибку или как «пересмотр» его прежних мемуарных свидетельств?

Кроме того, автор не совсем точно передает свою прежнюю оценку некоторых литературных явлений, что опять-таки обнаруживается при сравнении мемуаров с его давнишними книгами и статьями. Так, например, Чуковский утверждает, что в статье о футуристах, которую он писал в 1913 году, он отметил в стихах Маяковского, главным образом, поэтизацию «боли», человеческого страдания. Между тем, статья эта (опубликованная сперва в альманахе «Шиповник» в 1914 году, а затем в сборнике К. Чуковского «Лица и маски») содержит гораздо более противоречивую, насквозь импрессионистическую по своему характеру оценку творчества Маяковского, хотя в ней и наличествовали отдельные справедливые мысли (например, мысль о том, что Маяковский «им — футуристам — чужой совершенно», что «он среди них случайно», или соображения об урбанизме Маяковского, о том, что «город для него не восторг, не пьянящая радость, а распятие, Голгофа, терзавый венец»).

Разумеется, многое здесь объяснялось самой манерой критики и полемики, характерной для Чуковского в те годы, и потому было бы ошибочно вырывать из общего контекста его под-

черкнуто эмоциональных высказываний отдельные слова и обращать их против автора задним числом. Вообще, мемуарные записи, целью которых является описание встреч с выдающимися деятелями русского искусства, вовсе не обязывали К. Чуковского к пространным покаяниям в собственных литературных ошибках. Но если он уж сам об этих ошибках заговорил, следовало доказать до конца.

Ошибки эти были вовсе не результатом преднамеренной враждебности или снобистской неприязни к творчеству Маяковского, то есть того, чем действительно страдали критики-эстеты, пытавшиеся любыми путями дискредитировать поэта. В работах Чуковского, наоборот, явственно его симпатии к стихам Маяковского. Но самый метод критических суждений, их субъективизм, импрессионистичность, отсутствие твердой философско-эстетической почвы мешали Чуковскому правильно оценить поэзию Маяковского.

Нуждается в уточнении и другой вопрос: Чуковский пишет, что вскоре после статьи о футуристах (во всяком случае, не позже июня 1915 года, потому что пророчество Маяковского о «грядущем в венке революции» годе последовало за этим) он в одной из своих лекций говорил о Маяковском как о «поэте катастроф и конвульсий» и этим, так или иначе, предугадал революционный характер его творчества. Однако слова о «поэзии катастроф и конвульсий» известны читателям лишь по работе Чуковского, написанной в 1920 году и опубликованной частично в 1921 году в статье «Ахматова и Маяковский» (альманах «Дом искусств», 1921, № 1) и полностью в 1922 году в сборнике «Футуристы». Не произошла ли и здесь путаница, вследствие которой неточно передано отношение вспоминателя к поэту и неправильно датированы его оценки?

К. Чуковский является обладателем очень ценных материалов и богатых личных воспоминаний о писателях-современниках. Книга его написана превосходным языком и имеет ряд чисто литературных достоинств. Но недостаточная точность и полнота — это как раз тот дефект, который меньше всего допустим в мемуарном издании.

Именно поэтому хочется увидеть вторую книгу воспоминаний Чуковского свободной от этого недостатка.

И. Эвентов

Георг Гонн. «Гликерия Федотова». Изд. «Искусство». М.—Л., 1940

«Сценическое искусство есть искусство неблагородное, потому что оно живет только в минуты творчества, и, могущественно действуя на души в настоящем, оно неуловимо в прошедшем. Как воспоминание, игра актеров жива для того, кто был ею потрясен, но не для того, кому бы он хотел передать свое о ней понятие».

Так характеризует актерское искусство Белинский. Вот почему создать действительно ценную книгу о выдающемся актере прошлого труднее, чем написать монографию о писателе, художнике, композиторе. Мало здесь собрать и смонтировать материал, состоящий из воспоминаний, мемуаров, рецензий, статей. Надо сочетать исследовательскую работу с художественной изобразительностью, надо вдохнуть в эти мертвые материалы

жизнь, надо воссоздать творческий труд актера. Нужно быть художником, чтобы создать живой портрет актера. Увы, немногим это удается!

Монография о Федотовой выполнена добросовестно. Материал собран, по возможности, полно и хорошо обработан. Особый интерес представляют до сих пор не изданные мемуары самой артистки и ее письма, которые цитируются в книге. В приложении собрана вся литература о Федотовой. Здесь мы находим полный список ее ролей и подробные характеристики ее многочисленных гастрольных поездок. Пожалуй, в нашей театроведческой литературе мы не имели до сих пор такой старательной, добросовестной, в смысле подбора материалов, монографии об актере прошлого.

Но весь этот материал не согрет живой жизнью, книге не хватает выразительности. Вследствие этого читатель не получает ясного представления о творчестве Федотовой. Он не получает представления об исполнении ею отдельных ролей, не чувствует особенности ее игры.

Правда, в отдельных случаях на помощь автору приходят некоторые, сравнительно удачные воспоминания. Такими, например, воспоминания Д. Иванова, живо, художественно и ярко передающие игру Федотовой в «Медее». Однако Федотовой, в отличие от Ермоловой, в этом смысле не слишком повезло. Редко попадаются интересные описания игры Федотовой в отдельных ролях. И в таких случаях автор монографии оказывается почти беспомощным. При описании выступлений Федотовой в пьесах Шекспира и Островского он приводит многочисленные, часто противоречивые высказывания очевидцев и не сводит их воедино. Сколько-нибудь полной и отчетливой картины того, как исполняла Федотова эти роли, не получается. При огромном количестве разнородных материалов мы не видим творческого развития актрисы, изменения ее творческих приемов, ее художественного роста.

Между тем, роль Федотовой в истории русского театра была чрезвычайно значительной. Одна из любимейших учениц великого Щепкина, она явилась через несколько десятилетий первой учительницей Станиславского. Именно под влиянием Федотовой развивался юный Станиславский как художник. Под руководством Федотовой были поставлены первые спектакли знаменитого Общества искусства и литературы, которое явилось одной из важнейших составных частей будущего Художественного театра. Таким образом, здесь — непосредственная преемственность лучших сценических традиций в развитии русской театральной культуры XIX века. И огромна роль Федотовой как одной из хранительниц основ реалистического мастерства Малого театра.

Для исследователя чрезвычайно важно выяснить особенности сценического реализма Федотовой. Дело в том, что в самом Малом театре были различные оттенки реалистического искусства. Реализм Щепкина отличался от реалистического мастерства Прова Садовского. Мы знаем, что немало част сценической условности было в творчестве Щепкина, и именно это не позволило великому артисту создавать образы пьес Островского. К сожалению, автор книги ничего не даёт для выяснения этого вопроса. Он повторяет известные всем вещи о том, что типы Островского Щепкину не удавались, но не пытается объяснить причины этих неудач сколько-нибудь отчетливо и внятно.

Сложный путь Федотовой от мелодрам, в которых она выступала в свои юношеские годы, к большому реалистическому мастерству тоже не достаточно отчетливо выявлен в книге. Конечно, неверно считать, что Федотова чуть ли не с первых своих шагов была законченным мастером реалистического искусства. Кроме Щепкина, она училась и у Самарина, одного из крупных мастеров романтического театра. И мелодрама и романтика занимали большое место в ее творчестве, и к реалистическому искусству она пришла после долгой и сложной внутренней борьбы. В книге этот сложный творческий процесс намечен, но четко не показан.

И напрасно автор книги пытается иногда несколько модернизировать творчество Федотовой. При описании исполнения ею роли Катерины в «Грозе» совершенно не к чему вспоминать о «Добролюбовской трактовке» знаменитой пьесы Островского. В 60-е годы Федотова создавала еще отвлеченный романтический образ Катерины, резко отличный от иной, позднейшей ермоловской трактовки того же образа, возникшей, действительно, под влиянием Добролюбова.

Вообще, напрасно Гоян так упорно ищет какие-то оппозиционные, бунтарские мотивы в творчестве Федотовой. Их не было. Автору приходится их выдумывать. Так, совершенно неожиданно Гоян приходит к выводу, что в исполнении Федотовой роли Меден звучал протест против царизма, что вряд ли хотя сколько-нибудь соответствует действительности (это в сценической обработке античной драмы, сделанной А. Сувориным и В. Бурениным!).

Книге предпослано предисловие В. И. Немировича-Данченко, написанное с большой теплотой, глубиной и выразительностью. Некоторые места из этого предисловия являются интересными воспоминаниями о творчестве актрисы, имеющими большую историко-театральную ценность.

И. Березарк

Н. С. Анукин, В. Н. Всеволодский-Гернгросс и Ю. В. Соболев. «Хрестоматия по истории русского театра XVIII—XIX веков», под редакцией Г. И. Гояна. Изд. «Искусство». Л.—М., 1940

Вопрос об учебнике истории русского театра до сих пор остается открытым. Единственный учебник, — В. Н. Всеволодского-Гернгросса, напечатанный тринадцать лет назад, устарел, и многие его установки неверны. Появлению хрестоматии по истории русского театра надо всячески приветствовать.

Ценность ее не только в первом почете создания какого-то учебного труда¹ по русскому театру, но и в том, что хрестоматия содержит большое количество мемуаров и критических высказываний (особенно удачен подбор материала в 1-м и 2-м разделах 1-й части, по истории русского театра XVIII—начала XIX века). Достоинство хресто-

¹ Главным Управлением учебных заведений Комитета по делам искусств при СНК СССР хрестоматия рекомендована в качестве учебного пособия для учащихся театральных учебных заведений.

матри также в простом, верном принципе систематизации материала: он расположен по хронологическим отрезкам, в целом соответствующим основному ленинского деления этапов русской истории.

Большая ценность хрестоматии и в том, что она охватывает и материал по истории театров провинциальных, причем провинции отведено почти столько же внимания, сколько и столице (вся 2-я часть).

Таково общее впечатление от книги. Но при близком знакомстве с нею читатель столкнется с неравномерностью и в использовании материалов и в подходе к ним. Книгу составляли три автора, и это отразилось на ней.

В 1-й части (театры столичные) строго соблюден хронологический принцип. Интересен 1-й раздел,¹ где даны характеристики театров и игры актеров (целые фрагменты описания спектаклей). Единственным дефектом этой части является недостаточно полное освещение творчества великой трагической актрисы Е. С. Семеновой (материалом в «Цветнике» начала XIX века можно и должно было восполнять пробелы мемуаров). Жаль, что совсем опущена тема «Декабристы и театр» — тема, могущая дать этому разделу очень сильное политическое звучание.

Остальные разделы 1-й части² небрежны по подбору материалов. В трактовке тем есть стремление идти по линии наименьшего сопротивления, давать стандартные, часто устаревшие мнения без критического подхода к ним, без диалектического противопоставления им более разнообразных суждений. Поэтому совсем неверно характеризуются традиции таких прославленных театров, как Московский Малый театр и Александрийский театр середины и конца XIX века.

Может быть, авторы внимательнее, чем к трагикам, отнеслись к мастерам психологической, реалистической драмы или комедийных жанров? Но и тут встречаются примеры еще более странной небрежности. Совсем опущены имена Асенковой, Сосницкого (проходит только в материалах В. Н. Всеволодского), В. В. Самойлова (тогда как ссылки на имя артиста разбросаны по всей хрестоматии), С. В. Шумского, П. Васильева, М. Писарева, молодой Комиссаржевской (уже в конце 90-х годов сыгравшей свои лучшие образы). Не всегда удачен и подбор материала об актерах, более подробно освещенных хрестоматией. — безличные, ничего не говорящие воспоминания об И. С. Самарине, о юбилее Ермоловой (например, из претенциозной книжки Дорошевича «Старая театральная Москва»).

Наряду с этим встречаются прекрасные характеристики М. С. Щепкина и А. П. Ленского,

составленные из целого ряда высказываний, высказывающих этих артистов как исполнителей, как учителей, как театральных и общественных деятелей, дающих их суждения об искусстве. Характеристика П. М. Садовского дана несколько иным приемом — проще и короче. Она построена из двух резко-контрастных отрывков и дает полное представление о разнообразии творчества актера. Не такие удачные места еще резче подчеркивают соседние с ними неудачи, явившиеся результатом небрежности.

2-й раздел — «Провинциальный театр» — как и 1-й построен почти исключительно на мемуарном материале. Но тут дорого почти каждое незначительное высказывание, потому что действительно провинциальный театр недостаточно освещался до наших дней.

Материал подобран разнообразный и интересный: тут и крепостной театр, и характеристики театров различных городов русской провинции XIX века, и портреты антрепренеров — от «жучков» — темных дельцов — до таких высококультурных учителей и воспитателей театральной провинции, как Н. Н. Сивильников; тут и впервые в нашем театроведении появляющиеся портреты больших мастеров провинциального театра. Хрестоматия — первый опыт в данном отношении и уже этот почин нам ценен.

Но на читателя, привыкшего к строгой хронологии 1-й части, производит странное впечатление отсутствие какой-либо хронологической системы во 2-м разделе. Распределение материалов идет уже по темам, сбивая читателя. Вслед за описанием крепостного театра XVIII века он читает о Воронежском или Курском театре 70-х годов, затем опять встречается с антрепренерами первой половины XIX века и т. д.

Досадно и то, что в 1-м разделе мы встречаемся с образами Савиной и Стрепетовой в эпоху их расцвета, а во 2-й части читаем об их первых сценических опытах. В книге, заменяющей учебник, такая бессистемность недопустима. Следовало бы, объединив весь материал хрестоматии, разбить по хронологическим датам 1-й части, это помогло бы расставить материал еще яснее и наметить какие-то связи между столицей и провинцией.

Недостатком хрестоматии как учебника являются неточность и небрежность примечаний. Систематические комментарии к каждому отрывку или имени, дающие сведения о пьесах, о биографии артистов, о быте и нравах эпохи, были бы в этой хрестоматии-учебнике необходимы. Тогда книга стала бы настоящим учебником по истории русского театра.

Е. Карпинская

Автор В. Н. Всеволодский-Гернгросс.

Авторы: Н. Ашукин и Ю. Соболев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: И. А. ГРУЗДЕВ, В. А. КАВЕРИН, П. И. КАПИЦА, Б. А. ЛАВРЕНЕВ, И. В. ЛЕСОУЧЕВСКИЙ, М. А. СЛОНИМСКИЙ, Н. С. ТИХОНОВ.

Год издания 1941. Печатается к печати 12 III 1941 г. М1211. Тираж 20 000 экз. Авт. л. 21,38. Печ. л. 11³/₄. Тип. экз. на 1 печ. л. 78 000. Цена 5 р. Заказ № 704.

Типография № 2 Управления издательств и полиграфии Исполкома Ленгорсовета Ленинград, Социалистическая, 14.

О п е ч а т к и

<i>Стран.</i>	<i>Колон</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Следует читать</i>
30	2	6 св.	Дружко,	дружки,
32	2	8 сн.	Берет е за руки	Берет ее за руки
138	2	4 сн.	себя	тебя
153	1	20 св.	Неслов	Неелов

„Звезда“ № 2